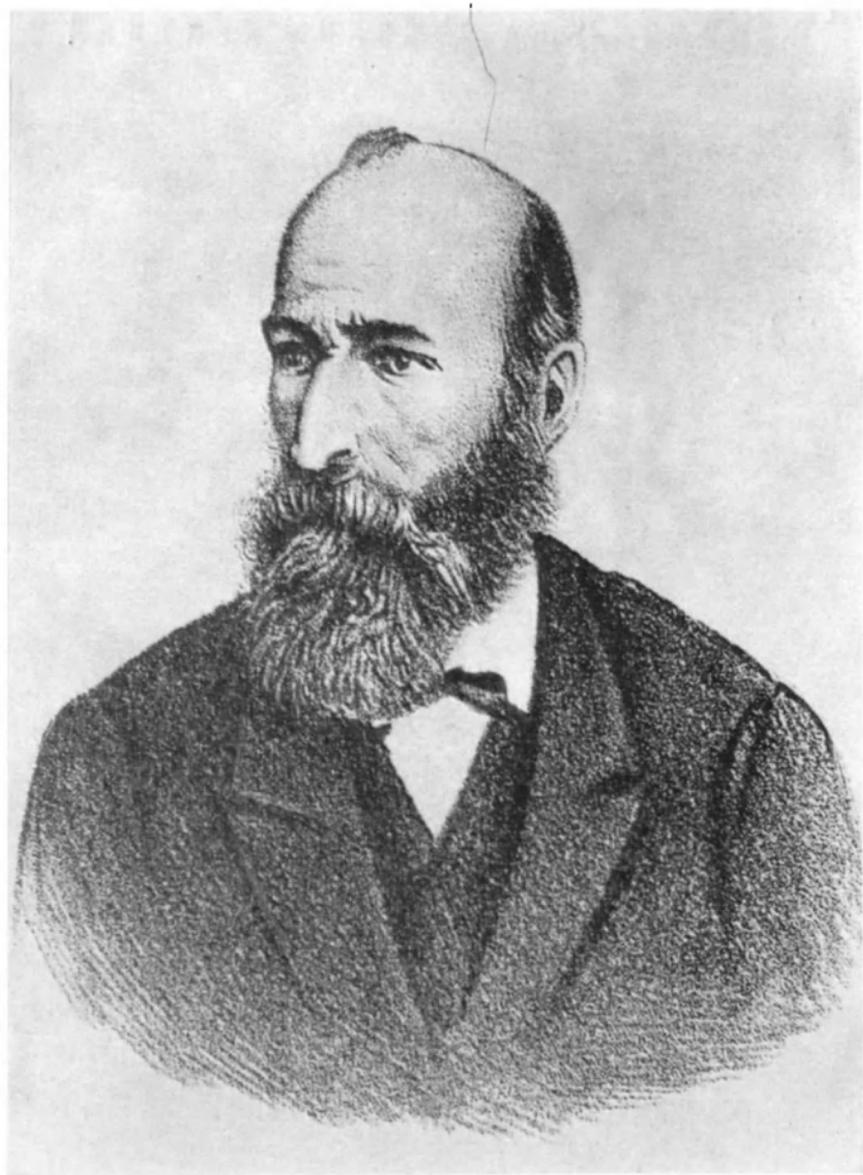


А.Н. АФАНАСЬЕВ



**НАРОД-
ХУДОЖНИК**





А.Н.АФАНАСЬЕВ

**НАРОД-
ХУДОЖНИК**

и

**Миф
Фольклор
Литература**



**МОСКВА
• СОВЕТСКАЯ РОССИЯ •
1986**

Составление, подготовка текста,
вступительная статья и примечания

А. Л. Налепина

Рецензент доктор филологических наук

В. П. Аникин

Художник

Е. В. Бекетов

Афанасьев А. Н.

А94 Народ-художник: Миф. Фольклор. Литература.
/ Сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. А. Л. На-
лепина.— М.: Сов. Россия, 1986.— 368 с., 1 л.
портр. — (Б-ка русской критики).

Александр Николаевич Афанасьев (1826—1871) — один из крупней-
ших фольклористов XIX в., составитель замечательного собрания рус-
ских народных сказок, автор фундаментального труда «Поэтические
воззрения славян на природу».

В сборник, подготовленный к 160-летию со дня рождения ученого,
включены его избранные статьи о народном творчестве и литературе,
воспоминания, письма.

А 4603010101—211
М-105(03)86 82—86

8РФ

Книжки Ваши надобно прятать, чтобы их не затаскивали в избы, а дети слушают их охотнее всех нравственных рассказов и повестей.

(Из письма Н. В. Елагина
к А. Н. Афанасьеву)

Сентябрьским днем 1871 года близкие и друзья провожали в последний путь Александра Николаевича Афанасьева, которому от роду было всего сорок пять лет... Не помогли ни заботы друзей, ни поездка под Самару «на кумыс» — от чахотки в те годы излечивались немногие. За год до кончины имя Афанасьева приобрело поистине всероссийскую известность. Это отнюдь не преувеличение, ибо год 1870 — время выхода его «Русских детских сказок», самого популярного издания дореволюционной России, своего рода хрестоматии домашней педагогики. Мысль об издании сборника сказок для детей подал крупнейший ученый-славист Измаил Иванович Срезневский, который писал Афанасьеву в 1855 году: «Перечитавши сам Вашу книжку («Народные русские сказки». — А. Н.), я не спрятал ее и от детей своих, и даже шестилетний мой Вячко заполз в нее своими глазенками... Вследствие этого я, в должности отца, обращаюсь к Вам с всепокорнейшей просьбой: нельзя ли вместе с этим изданием для ученых печатать сказок и для детей — голый текст, литературным правописанием, с переводом слов не общепонятных (под строкою) и с выпуском тех сказок, которые детям читать некстати?»¹

Это письмо И. И. Срезневского напечатал А. Е. Грузинский — первый биограф Афанасьева, располагавший материалами архива русского фольклориста. Опубликовал он и второе письмо Срезневского, датированное 1858 годом, где вновь звучит то же пожелание: «Заслуга Ваша, повторяю старую песню мою, была бы еще более, если бы Вы не забыли и деток наших (у меня самого есть их малая толика, из них четверо грамотных, потому я и говорю смело); но ученые — народ самовольный, пути им ведомы, яруги им знаемы — и потому будьте сами себе судьей»². Однако лишь двенадцать лет спустя пожелание маститого ученого, советами которого Афа-

¹ Цит. по ст.: Грузинский А. Е. А. Н. Афанасьев (Биографический очерк). — В кн.: Афанасьев А. Н. Народные русские сказки, т. I. М., 1897, с. XXXIX—XL.

² Там же, с. XI.

пасев дорожил и мнение которого высоко чтит, было воплощено в виде изящного издания с выразительными, понятными и взрослым и детям рисунками. Была ли сама идея издания сборника сказок для детей малоинтересна серьезному филологу или помешали иные обстоятельства — ответ на этот вопрос, может быть, так и остался бы неизвестным, если бы не архив Срезневского, в котором сохранились публикуемые в этой книге восемь писем Афанасьева. В письме от 18 ноября 1855 года Афанасьев отвечал на предложение Срезневского: «Мысль Ваша о том, чтобы при издании сказок иметь в виду и маленьких читателей, представлялась и мне... Но прежде, нежели приступить к этому изданию для детей, мне хотелось бы собрать поболее сказок и тщательнее их сличить с сказками других народов: надеюсь, что Вы одобрите мое намерение».

Собственно, в этом ответе со всей полнотой прозвучало творческое и научное кредо Афанасьева — «собрать поболее... и тщательнее их сличить...». Он словно чувствовал, что времени ему отпущено до обидного мало, что должен он это время обогнать, а порукою тому знания, талант и необычайная работоспособность. После его смерти не осталось работ неоконченных, успел он завершить исследование-эпопею «Поэтические воззрения славян на природу», которое и до наших дней вызывает неизменный интерес и самые разноречивые суждения.

Афанасьев был похоронен в Москве на Пятницком кладбище, что недалеко от нынешнего проспекта Мира, в общей ограде с могилами великого русского актера Михаила Семеновича Щепкина и кумира российского студенчества середины прошлого века пламенного историка Тимофея Николаевича Грановского. Здесь же находятся могилы и других близких Афанасьеву людей — Н. Х. Кетчера, Коршей, Станкевичей. Все эти люди, входившие в знаменитый московский кружок друзей Грановского, так и остались навсегда неразлучными.

Кончина Афанасьева стала для отечественной науки потерей невозполнимой, ибо был он не просто выдающимся исследователем (каких немало в русской науке), но ученым-мыслителем, намного опередившим свое время. Россия демократическая Афанасьева помнила и справедливо предрекала его трудам великое будущее. И. С. Тургенев в письме А. А. Фету от 8 января 1872 года так откликнулся на известие о кончине ученого: «Недавно А. Н. Афанасьев умер буквально от голода, а его литературные заслуги будут помниться, когда наши с Вами, любезный друг, давно уже покроются мраком забвения»¹.

¹ Цит. по изд.: Фет А. А. Мои воспоминания. М., 1890, ч. II, с. 246.

Афанасьев прожил пелегкую трудовую жизнь, полную забот и тревог. Он был известен при жизни, но истинная слава пришла к нему позже, в начале нынешнего века и особенно в наши дни, когда расширились горизонты науки и исследователи с полным на то основанием стали говорить «о предвосхищении Афанасьевым открытий ученых XX века, занятых восстановлением древних поверий и обычаев...»¹. Однако мифология была не единственной (да и не самой главной) сферой его деятельности. Истинным объектом его научных изысканий был русский народ с его извечной тягой к творчеству. За крестьянскими лохмотьями Афанасьев сумел разглядеть богатство Народа-художника, Народа-творца.

* * *

Кланяйтесь от меня богоспасаемому граду Воронежу, с которым у меня связано много светлых и темных воспоминаний отрочества и юношества.

(Из письма А. Н. Афанасьева к М. Ф. де-Пуле).

«Я убежден, что записки частного человека могут быть весьма любопытны, если он сумеет представить характеристичные черты того общества, какое в разное время окружало его детство, юность и старость», — этими словами начинает Афанасьев свои воспоминания, опубликованные П. И. Бартеневым в 1872 году в «Русском Архиве».

Родился А. Н. Афанасьев 11 июля 1826 года в маленьком городке Богучары Воронежской губернии в семье уездного стряпчего. Через два дня после его рождения, 13 июля 1826 года, в Санкт-Петербурге на валу кронверка Петропавловской крепости были проведены казни, «с пролитием крови не сопряженной», пятеро руководителей декабристского восстания. Впрочем, официальная Россия сообщила о казни с недельной задержкой, и кто знает, сколько прошло времени, пока это известие дошло до провинциальных Богучар. Событие это имело непосредственную связь с будущей судьбой сына уездного стряпчего, который станет тайным корреспондентом А. И. Герцена, и профили Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Михаила Бестужева-Рюмина, Сергея Муравьева-Апостола и Петра Каховского с обложки «Полярной звезды» будут вселять в него надежду в минуты горьких разочарований и невзгод.

Вскоре семья переехала в соседний уездный город Бобров, что расположен на реке Битюг. Недалеко от города находился известный на всю Европу Хреновской конный завод, где граф А. Г. Орлов-Чесменский в конце XVIII — начале XIX в. вывел ценные породы

¹ И в а н о в Вяч. Вс. О научном ясновидении Афанасьева, сказочника и фольклориста. — Лит. учеба, 1982, № 1, с. 159.

лошадей — орловскую верховую и орловского рысака. Именно это соседство создавало определенный противоречивый контраст: на одной стороне Битюга заштатный городишко Бобров, зато на другой — огромное сказочное имение Орлова с конюшнями, построенными самим Жилярди. Впрочем, битюги-тяжеловесы и легкие орловские рысаки Александра интересовали мало, куда интереснее было рыться в дедовской библиотеке: «...бывало, тайком от отца (мать моя умерла очень рано) уйдешь на мезонин, где помещались шкапы с книгами, и зимою в нетопленной комнате, дрожа от холода, с жадностью читаешь какого-нибудь «Старика везде и нигде», «Мальчика у ручья» Коцебу, «Разбойника поневоле». Такого полного наслаждения не испытывал я после, даже читая действительно художественные произведения»¹. Конечно же, привлекал сам процесс чтения, а не плаксивые романы и рассказы, суть которых кратко и метко определил К. Маркс — «дрянь в стиле Коцебу»². Путь к дедовской библиотеке, к счастью, лежал через русский фольклор, который и заложил в Афанасьеве основы эстетического вкуса: «Чтение это сменило для меня сказки, которые, бывало, с таким же наслаждением и трепетом слушал я прежде, зимой по вечерам, в углу темной комнаты, от какой-нибудь дворовой женщины». Впоследствии часть дедовской библиотеки, среди которой «больше всего было переводных романов, но попадались и книги серьезные, исторического и мистического содержания», составила ядро известной на всю книжную Москву библиотеки Афанасьева.

Авторитет отца в семье был огромен, дети буквально боготворили его. Это был демократ по убеждениям, воспитанный, по выражению Афанасьева, «на медные деньги» и понимавший значение образования. Все его семеро детей (четыре сына и три дочери) получили «полное воспитание», что было сопряжено со значительными трудностями, — ведь жалованье уездного стряпчего было невелико. «Отец, — вспоминал позднее Афанасьев, — ...уважал образование в других. Такое уважение, кажется, наследовал он от деда, который был членом библейского общества...»

Несомненно прав был советский исследователь Ю. М. Соколов, когда писал, что «не следует переоценивать культурность обстановки, в которой рос маленький Александр Николаевич»³, но в то же время нельзя и недооценивать ее уровень. Брат А. Н. Афанасьева Николай вспоминал: «Отец наш постоянно выписывал «Библиотеку

¹ Здесь и далее цитируются воспоминания А. Н. Афанасьева, помещенные в настоящем издании (с. 259—319).

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 32. М., 1957, с. 242.

³ Соколов Ю. М. Жизнь и научная деятельность Александра Николаевича Афанасьева. — В кн.: Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. М., 1936, с. XI.

для чтения» и у знакомых брал «Отечественные записки», «Москвитянина», «Пантеон» и «Репертуар русской сцены», да кроме того, было много оставшихся после деда книг исторических и литературных»¹.

С азами науки Александра Николаевича познакомили отцы Иваны, «люди, — как он пишет в своих воспоминаниях, — вовсе не злые; но, воспитанные в семинарии, они были знакомы только с сурым духом воспитания и вполне поясняли нам, что корень учения горек». Именно в эти годы будущий ученый получил первый в своей жизни социальный урок, именно здесь следует искать истоки стихийного атеизма Афанасьева, презрения к людям духовного звания. Не случайно в предисловии к сборнику «Русские заветные сказки», изданному анонимно в Швейцарии в 1872 году, Афанасьев писал: «Отдел сказок о так называемой народом *«жеребьячьей породе»*, из которых пока мы приводим только небольшую часть, ярко освещает и отношение нашего мужичка к своим духовным пастырям и верное понимание их»².

В 1837 году Афанасьев поступил в Воронежскую губернскую гимназию, где проучился семь лет. Система обучения в ней, конечно, разительно отличалась от системы отцов Иванов, но и здесь в чести были зубрежка и порка гимназистов. О гимназических годах Афанасьев рассказал в своих воспоминаниях весьма подробно, продемонстрировав незаурядный талант писателя. Они полны метких наблюдений, язвительных характеристик, но вместе с тем и трагических коллизий.

Подходить к гимназическим воспоминаниям Афанасьева только лишь как к мемуарам ученого, не учитывая, что они есть еще и литературные произведения, неправомерно. Такой подход, кстати, рождает целый ряд недоразумений, когда становится просто непонятным, каким же образом из гимназиста-зубрилы вырос уникальный ученый, гордость мировой науки. У гимназии XIX века было немало негативных качеств, но из ее стен выходили не только недоучки и фискалы. Она давала целостную систему знаний, пусть во многом еще не совершенную, но для учащихся мыслящих крайне полезную и необходимую.

Когда пристально вглядываешься в жизнь незаурядной личности, всегда хочется найти отправную точку, от которой следует вести отсчет его жизненных свершений, почувствовать первое движение души, побуждаемое скрытым еще талантом. Учился Афанасьев отлично, но интересы его были значительно шире учебных программ,

¹ Афанасьев А. Н. Из воспоминаний. — В кн.: Афанасьев А. Н. Народные русские легенды. Казань, 1914, с. XII.

² Цит. по кн.: Афанасьев А. Н. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева, т. I, с. 423.

что компенсировалось в полной мере всепоглощающим чтением. Брат ученого, вспоминая о его гимназических годах, писал: «Все это служило брату обильным источником для утоления его страсти к чтению, которому он посвящал все свое время, уделяя для отдыха лишь непродолжительные вечерние часы, да и какой-нибудь час после обеда. Чтением занимался он, очевидно, не ради простого только развлечения или приятного препровождения времени, потому что всегда имел при себе бумагу и карандаш и аккуратно записывал свои заметки и все такие записи тщательно сберегал»¹. О характере прочитанных книг можно лишь предполагать, но то, что это была не беллетристика, очевидно. Впрочем, не стоит недооценивать и значения изящной словесности. Возможно, пятнадцатилетнему гимназисту попался в руки том любимых им «Отечественных записок» за 1841 год, где было помещено стихотворение Е. А. Боратынского «Предрассудок», как нельзя более точно предсказавшее суть будущих мифологических изысканий ученого:

Предрассудок! он обломок
Давней правды. Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал.

Гонит в нем наш век надменный,
Не узнав его лица,
Нашей правды современной
Дряхлостного отца...

Разгадке «языка руин» Афанасьев и посвятил всю свою будущую жизнь.

* * *

...Опальный университет рос влиянием, в него как в общий резервуар вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее.

(Герцен А. И. *Былое и думы. Часть первая, гл. VI*).

В 1844 году Афанасьев поступил на юридический факультет Московского университета, выполняя волю своего отца, мечтавшего видеть сына преуспевающим юристом. Некоронованная столица России — Москва была в те годы центром университетской науки.

¹ Грузинский А. Е. А. Н. Афанасьев (Биографический очерк), с. IX.

Время пребывания Афанасьева в университете — закат «строгановского периода», когда идеи студенческого демократизма казались незыблемыми. Однако наступил грозный 1848 год, и царское правительство, напуганное размахом революционного движения в Европе, повело самое решительное наступление на университетские вольности. Впрочем, это был год окончания Афанасьевым университетского курса, но именно Афанасьев стал первой жертвой министра народного просвещения графа С. С. Уварова, когда тот приехал в сентябре 1848 года инспектировать Московский университет. Неудовольствие министра лекцией Афанасьева на тему «Краткий очерк общественной жизни русских в три последние столетия допетровского периода» закрыло путь молодому кандидату к профессорской кафедре.

Учился Афанасьев с интересом и уже на третьем курсе опубликовал в некрасовском «Современнике» свою первую научную статью — «Государственное хозяйство при Петре Великом»¹. Юридический факультет считался одним из наиболее престижных в университете. Здесь существовала сильная профессура — достаточно назвать имена П. Г. Редкина, К. Д. Кавелина, Н. В. Калачова. Однако Афанасьев посещал не одни лишь факультетские предметы. Существовали еще и так называемые «побочные науки», присутствие на лекциях по этим предметам было желательным, но отнюдь не обязательным. В частности, курс теории словесности читал С. П. Шевырев, русскую историю молодой С. М. Соловьев, а всеобщую историю средних веков кумир студенческой молодежи Т. Н. Грановский, на лекции которого ходили студенты всех без исключения факультетов.

Незаурядная личность, талантливый ученый, наиболее популярный профессор университета, лекции которого съезжалась слушать в буквальном смысле вся Москва, Грановский имел столь же широкий круг восторженных почитателей, как и суровых критиков. С одной стороны, он был увенчан олимпийским титулом «Пушкина истории», с другой стороны, осмеян Ф. М. Достоевским в романе «Бесы», причем ни у кого из читателей не возникало сомнений, что Степан Трофимович Верховенский имеет в качестве своего жизненного прототипа Тимофея Николаевича Грановского. Грановский оказал значительное влияние на формирование мировоззренческих позиций Афанасьева. Стихийный демократизм и антиклерикализм — эти качества были присущи многим студентам — выходцам из разночинно-демократической среды, и Афанасьев не составлял среди них исключения. Именно поэтому идеи Грановского находили столь живой отклик среди студенческой молодежи, а его знаменитый вы-

¹ Современник, 1847, № 6—7.

вод о том, что целью истории является «нравственная, просвещенная, независимая от роковых определений личность и сообразное требованиям такой личности общество»¹, привлекал своей решительностью и радикальностью. Оставаясь решительным либералом-западником, Грановский тем не менее стал для современников не только символом борьбы с «теорией официальной народности», но и олицетворением всего самого передового, что было в русском обществе. Каждый человек обязан способствовать осуществлению исторического закона — эта нравственная задача, воплощенная в чеканных строках Н. А. Некрасова: «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», стала смыслом общественной борьбы тех лет. Именно Московский университет стал центром этой борьбы, а кафедра Грановского, по выражению А. И. Герцена, «выросла в трибуну общественного протеста»².

В течение продолжительного времени в фольклористике и литературной критике господствовало ошибочное мнение о политической индифферентности Афанасьева. «Его призванием было работать пером» — этот вывод, сделанный первым биографом ученого А. Е. Грузинским, надолго «отлучил» Афанасьева от освободительного движения. Лишь благодаря усилиям советских исследователей — В. П. Аникина, В. И. Порудоминского, С. Г. Лазутина, В. Желваковой, Н. Я. Эйдельмана и других — историческая правда была восстановлена. Однако не стоит и преувеличивать политическую активность Афанасьева; все-таки на первом месте в его жизни стояла наука.

Афанасьев был, пожалуй, единственным русским фольклористом, не имевшим историко-филологического образования. Более того, к современной ему филологии он относился весьма скептически, усматривая в ее излишней эмоциональности препятствие к постижению научной истины. Не в «эмоциональности» ли следует искать истоки более чем ироничного отношения Афанасьева даже к некоторым единомышленникам — к Грановскому, например, — которое всегда удивляло биографов Ученого.

К филологам Афанасьев относился с большой долей иронии. Может быть, виновен в этом был профессор Степан Петрович Шевырев, читавший курс теории словесности. Заметки Афанасьева о Шевыреве язвительны и полны обличительного пафоса. Еще более уничижительная оценка дается им другому представителю филологической науки — профессору И. И. Давыдову («в сущности — пустоцвет»). Не намного более привлекательны портреты и других словесников. Конечно, никак нельзя назвать С. П. Шевырева чело-

¹ Цит. по кн.: Гершензон М. О. История Молодой России. М.; Пг., 1923, с. 213.

² Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. IX. М., 1956, с. 122.

веком передовых взглядов, это был классический тип реакционного профессора, но трудно поверить, что лекции этого незаурядного литературного критика, талантливого журналиста (это признавал даже А. С. Пушкин) и интересного поэта были скучны и неинтересны. Афанасьева не удовлетворяла существовавшая филологическая методология, балансирование между наукой и искусством, что в глазах историка-правоведа, привыкшего оперировать фактами с почти математической определенностью, выглядело занятием несерьезным, а значит, ненаучным. Сам Афанасьев к филологии пришел через право, и именно профессура юридического факультета являла для него эталон истинного ученого. «Они заставили нас, — вспоминал Афанасьев, — видеть в явлениях сего мира внутреннее развитие и в этом развитии признавать постепенность, показали нам, что ничто не возникает вдруг и что есть законы, которые нельзя обойти». Собственно, в этих словах — смысл научной методологии Афанасьева.

Как ученый Афанасьев сформировался в рамках так называемой историко-юридической школы, среди виднейших представителей которой следует назвать имена С. М. Соловьева, К. Д. Кавелина, Н. В. Калачова. Объектами исследований ученых этого направления русской науки были, как правило, государственные и правовые институты русской истории, которые, как полагали сторонники историко-юридической школы, не являлись чем-то обособленным от общеевропейского исторического процесса. Спецификой русской истории, полагали они, было некоторое отставание этого процесса. Эволюция в рамках существующей системы, а отнюдь не революционное ее изменение — таким мыслился им исторический путь страны. Совсем не случайно многие представители этой научной школы стали активными участниками «эпохи великих реформ». Однако в годы, когда Афанасьев разделял концепции этой школы, сторонники ее не входили в разряд лояльных российских граждан — императора Николая Первого пугал даже такой осторожный либерализм и лишенное каких-либо признаков радикализма западничество. Духовными наставниками Афанасьева в эти годы были С. М. Соловьев, суть исторических концепций которого определялась А. Н. Пыпиным так: «Понятие о народе, как организме, и об истории народа, как органическом развитии его исконных бытовых начал, в обстановке природных условий и внешних условий»¹, и К. Д. Кавелин, в те годы либерально настроенный адъюнкт университета, занимавшийся сравнительным изучением древнего и современного права. Напечатанная в «Современнике» первая статья Афанасьева «Государственное хозяйство при Петре Великом» (1847) —

¹ Афанасьев А. Н. Из воспоминаний, с. XIV.

это работа третьекурсника, который развивает идеи своих учителей. Во всяком случае, проводимая автором мысль о постепенной эволюции, закономерной смене одних государственных и хозяйственных форм другими, более совершенными, была не нова и не единожды высказана его старшими коллегами по историко-юридической школе. Как справедливо заметил Ю. М. Соколов, «умеренное западничество и сдержанный либерализм — вот то мировоззрение, с которым вступал молодой Афанасьев на научное поприще»¹. В сентябре 1848 года после лекции в присутствии министра народного просвещения графа Уварова, которая, как осторожно пишет Афанасьев в своих воспоминаниях, «вызвала несколько замечаний со стороны министра, с которыми, однако, я не догадался сейчас же согласиться»², молодой правовед начинает хлопотать о службе. Безуспешны были попытки получить место преподавателя законоведения в Практической коммерческой академии и в Лазаревском институте восточных языков. Некоторое время Афанасьев дает уроки русского языка и литературы в частном пансионе Эннеса, где воспитанники, по воспоминаниям одного из них, подметив робость и неуверенность молодого преподавателя, «со свойственной своему возрасту жестокостью мучили и тиранили его на уроках и часто доводили его до того, что он чуть не со слезами умолял их быть помирнее и посерьезнее в классе»³. И все же между учителем и учениками в конце концов возникло взаимопонимание — Афанасьев сумел создать атмосферу творческую и неформальную. К примеру, поощрял он самостоятельный выбор тем для сочинений, которые порою были столь неожиданны и дерзки, что изумляли даже самого Афанасьева. Так, один из его шестнадцатилетних воспитанников представил «Исследование о происхождении водки, называемой Ерофенчем». Имя этого «шалуна» будет в скором времени известно повсеместно — знаменитый русский доктор С. П. Боткин. Педагогическая деятельность Афанасьева была недолгой (всего один год), но добрая память о чудеке учителе еще долго жила среди воспитанников пансиона, один из которых с признательностью вспоминал: «Афанасьев был одним из лучших наших учителей, занимался с нами с увлечением и сумел во многих из нас посеять любовь и интерес к родной словесности...»⁴

В ноябре 1849 года Афанасьев при содействии Н. В. Калачова

¹ Соколов Ю. М. Жизнь и научная деятельность Александра Николаевича Афанасьева, с. XXVII.

² Афанасьев А. Н. Из воспоминаний, с. LXXXII.

³ Грузинский А. Е. А. Н. Афанасьев (Биографический очерк), с. XVI.

⁴ Там же.

получил место в Московском главном архиве Министерства иностранных дел. Именно здесь прошли лучшие годы напряженной научной работы, которая была для него единственным смыслом недолгой жизни.

* * *

Если разоблачить все метафорические образы, встречающиеся в народном эпосе, то все фантастическое, все загадочное в нем объяснится само собою; и надобно заметить, что в последнее время, при тех громадных успехах, какие сделала наука языкознания, ученые уже начинают выступать на эту настоящую дорогу.

(Из статьи А. Н. Афанасьева «Сказка и миф»).

В архиве Афанасьев проработал тринадцать лет и даже сделал определенную служебную карьеру: в 1855 году занял место начальника отделения архива, а позже и правителя дел состоявшей при архиве Комиссии печатания государственных грамот и договоров. Служба в архиве гарантировала финансовую независимость, давала возможность заниматься научными изысканиями и все более привлекавшей его журналистикой. Концепции историко-юридической школы и объекты предлагаемых ею исследований (государственные и правовые институты, нормы обычного права и т. д.) постепенно перестают быть в центре его научных интересов. И хотя Кавелин в письмах настойчиво советует — «Практический мир теперь первый и главный. Археологи по призванию, у которых, наконец, сложился этот смысл, пусть и работают, а Вы выходите на другую дорогу»¹, — именно «археология народного творчества и верований» все более и более занимает его. Мнение Кавелина Афанасьевым выслушивается, но не более того. Быть может, единственным местом в письме бывшего единомышленника, привлечшим пристальное внимание Афанасьева, была следующая приписка: «Я познакомился с Далем. 15 тысяч пословиц у него собрано. Это почетно. Да самый обильный и полный словарь местных наречий. Да географическая карта русских наречий. Как Вы об этом думаете?»²

Именно эта область науки и искусства более всего интересовала Афанасьева в тот переломный период его жизни. В те же годы он сблизился с семейством великого русского актера Михала Семеновича Щепкина, что также во многом повлияло на его научную судьбу.

¹ Афанасьев А. Н. Из воспоминаний, с. LXXXV.

² Там же.

В лице Щепкиных Афанасьев не только приобрел истинных друзей, но и строгих ценителей своих фольклорно-этнографических изысканий. Они познакомились в год окончания Афанасьевым университетского курса. А. Е. Грузинский, опубликовав в своем очерке об Афанасьеве куски из воспоминаний А. В. Щепкиной (жены Н. М. Щепкина), опустил, к сожалению, ряд заслуживающих внимания эпизодов, которые проливают свет на историю жизни и деятельности русского ученого.

Александра Владимировна Щепкина была сестрой русского литератора, Николая Владимировича Станкевича, литературно-философский кружок которого объединял в 30-е годы передовых людей России. Значительное влияние оказал Н. В. Станкевич на мировоззрение В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. П. Огарева, Т. Н. Грановского. В семье Станкевичей память о рано умершем брате была поистине священна; это чувство преклонения Александра Владимировна принесла и в семью Щепкиных, глава которой, Михаил Семенович, принимал самое активное участие в общественной жизни России. В доме М. С. Щепкина Афанасьев встречался с людьми известными и интересными — Н. В. Гоголем, С. Т. Аксаковым, Т. Г. Шевченко, И. С. Тургеневым, Т. Н. Грановским; вполне возможно, что знакомство Афанасьева с А. И. Герценом состоялось именно в доме Щепкиных в Москве, а не в Лондоне в 1860 году, ибо в пользу этой версии говорит следующий эпизод из воспоминаний о кружке друзей Грановского А. В. Щепкиной, опубликованных в 1915 году: «Особенно жалели об отъезде его юные посетители М. С. Щепкина, жалели о потере такого голоса в русской литературе¹. Они находили, что Герцен должен был работать на родине, несмотря на все препятствия и опасности, которые могли ожидать его в будущем. «Да, оставаться и работать, хотя под ножом!» — воскликнул один из них, очень горячий и еще мало испытавший тогда юноша, позднее известный собиратель русских сказок Ал. Н. Афанасьев². Если внимательно взглядеться в жизнь Афанасьева, то в ней можно найти немало эпизодов, подобных приведенному выше. Тогда совсем неожиданной не покажется и поездка в Лондон в 1860 году, обыск и увольнение со службы в 1862 году. Именно на отсутствие такого рода сведений сетовал в свое время Ю. М. Соколов: «К сожалению, точных и подробных биографических сведений о личном укладе жизни Афанасьева, об его ближайших друзьях и знакомых в нашем распоряжении не имеется³. Для друзей политические симпатии и

¹ Речь идет об отъезде Герцена за границу (1847 г.).

² Цит. по кн.: Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество. В 2-х т., т. 2. М., 1984, с. 290.

³ Соколов Ю. М. Жизнь и научная деятельность Александра Николаевича Афанасьева, с. LV.

антипатии Афанасьева были более чем очевидны, а о конкретных делах знал еще более ограниченный круг посвященных.

Список научных трудов Афанасьева, созданных в течение двух десятилетий, содержит около 150 названий, но поражает не количество, а тематическое разнообразие. Первой работой Афанасьева в области народной словесности была напечатанная в 1850 году в первой книжке «Архива историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Николаем Калачовым» статья «Дополнения и прибавления к собранию «Русских народных пословиц и притчей», изданному И. Снегиревым». В какой-то мере эта статья продолжала тему лекций профессора П. Г. Редкина, который особо подчеркивал на своих лекциях роль «устных юридических пословиц и поговорок» в становлении обычного права, а далее и законодательства. Таким образом, статья Афанасьева по своей проблематике не выходила за рамки историко-юридической школы, в пословицах и поговорках он прежде всего искал следы истории родового быта славян. Однако были в этой статье строки, которые прозвучали совершенно неожиданно для аудитории юридической: «Самый слог писателей пигде не может воспринять столь крепкую силу и научиться столь метким оборотам, как при изучении языка народного и устной народной литературы — в сказках, песнях, пословицах, поговорках, загадках, присловьях, присказках и прозвищах». Это был уже шаг к филологической науке, к фольклористике, и надо сказать, что движение это с каждой новой статьей Афанасьева приобретало все большую силу. В том же издании была напечатана и другая статья Афанасьева «Дедушка домовой», где в центре был уже не филологический, а уж тем более не юридический анализ, а исследование славянских языческих верований. Таким образом, уже в первых двух публикациях был определен круг научных интересов Афанасьева — фольклористика и этнография, которые, правда, для самого автора существовали как неразрывное целое.

Для Афанасьева круг исследуемых им проблем имел вполне определенное название — «археология русского быта», и надо сказать, что «раскопки» его не переставали удивлять современников. Может быть, отсутствие специального филологического и исторического образования, даже определенный дилетантизм, на который указывал еще Ю. М. Соколов, в какой-то мере «помогали» исследователю, давая возможность полного самовыражения, ибо он был «человек со стороны». Пусть он недостаточно точно разбирался в филологических премудростях, но филологического чутья ему было не занимать, да, сверх того, юридическая наука наградила его сверхточным научным инструментарием, который, как казалось, не позволял совершить ошибки.

В том же 1850 году «Отечественные записки» Андрея Краевско-

го печатают его статью «Об археологическом значении «Домостроя», где этот памятник древнерусской литературы анализируется как этнографический источник. Более всего здесь Афанасьева привлекала возможность увидеть реальные черты «частного быта наших предков» и более объективный источник для этого трудно было представить.

Именно с этой статьи началась изнурительная многолетняя борьба Афанасьева с цензурой, которая как раз против «реальных черт» категорически возражала. Еще большим цензурным ограничением подверглись статьи под общим названием «Историческое развитие вопросов о призрении в России», три из которых были вовсе запрещены. Опытный издатель «Отечественных записок» А. Краевский в письмах наставлял Афанасьева: «Вы должны избегать рассказа о фактах печальных и... возмутительных для души, любящей видеть старину в розовом цвете. Если же указание такого факта неизбежно, то подле него сейчас должно поставить какое-нибудь утешительное оправдание, хотя бы забежав столетия на два, на три вперед. Когда Вы станете на эту точку зрения и будете держаться на этой линии, как говорит купец в комедии Островского, тогда Вы сделаетесь цензурны. Если нет — нет»¹.

Цензурному запрещению подвергались даже статьи по славянской мифологии, которая все более и более интересовала Афанасьева. Такая участь постигла, к примеру, узкоспециальную статью «О загробной жизни по славянским преданиям», которая, по мнению цензоров, слишком много говорила о язычестве и подрывала устои христианской религии. Если вспомним советы, которые давал Афанасьеву Краевский, — «Больше рассказывайте, с указанием на источник, или, еще лучше, словами источника, а менее рассуждайте. Цензура боится рассуждений»², — то объяснима определенная громоздкость афанасьевских статей, их перегруженность цитатами, сносками, иноязычными текстами и т. д.

Появление в 1851—1855 годах в различных популярных и специальных изданиях целой серии статей о дохристианских верованиях и мифологических воззрениях древних славян стало по существу своеобразным манифестом русской «мифологической школы», которую иногда еще называют «школой Афанасьева». Вслед за «Дедушкой домовым» в этом ряду стоят статьи «Ведун и ведьма», «Религиозно-языческое значение избы славянина», «Колдовство на Руси в старину», «Зооморфические божества у славян», «Несколько слов о соотношении языка с народными поверьями», «О значении рода и рожениц», «Мифическая связь понятий: света, зрения, огня,

¹ Грузинский А. Е. А. Н. Афанасьев (Биографический очерк), с. XX—XXI.

² Там же, с. XXI.

металла, оружия и жолчи», составившие основу трехтомного труда «Поэтические воззрения славян на природу». Странников историко-юридической школы эти работы во многом озадачили. Еще бы, наряду с анализом эволюции родового быта (тема традиционная для школы Соловьева — Кавелина), их автор искал следы уже исчезнувшей индоевропейской мифологической системы в конкретных живых реалиях русского быта. Слова Кавелина из рецензии «О ведуне и ведьме» нагляднее всего демонстрируют истоки разногласий между учеником и учителями: «Удивительно! автор обращается к индийским верованиям, чтобы объяснить поверье о доении коров»¹.

Как это ни странно, но время подтвердило правоту и того, и другого. Сегодня индоевропейские истоки славянских древностей не оспариваются никем, но в то же время стремление видеть индоевропейские корни везде и всюду, что характерно для мифологов XIX и XX веков, подмечено Кавелиным верно. Остается согласиться с Ю. М. Соколовым, который, ясно понимая слабость критики Кавелина, все же находил в ней и рациональное зерно: «Он правильно указал на предвзятость теории, повсюду, даже в самых простых бытовых фактах, усматривавшей сложную религиозную символику, на дедуктивность метода, подгоняющего разнородные факты под одну схему, на измену строго историческому мышлению, требующему рассматривать явления, как мы бы теперь выразились, стадильно»².

Поиски индоевропейских корней неизбежно привели Афанасьева к постановке проблем общего методологического характера: 1) теории происхождения мифа и 2) методы его изучения. Многие были заимствованы Афанасьевым из Я. Гримма; в особенности привлекала предложенная последним методика сравнительного изучения мифов и та важная роль, которую играло в этом сравнительное языкознание.

Особенно близок Афанасьев-теоретик к Ф. И. Буслаеву, идеи которого Афанасьевым плодотворно развивались. Собственно, в буслаевском тезисе — «Слово есть главное и самое естественное орудие предания. К нему, как к средоточию, сходятся все тончайшие нити народной старины, все великое и святое, все, чем крепится нравственная жизнь народа»³, — суть афанасьевской теории возникновения мифа. «...В основу мифологических разысканий полагается [...] твердое и всестороннее изучение языка, потому что в нем кроется и зародыш (зерно) басни и ее разгадка», — писал Афанасьев в 1860 году, причем этот тезис будет основополагающим и в его глав-

¹ Отечественные записки, 1851, № 6.

² Соколов Ю. М. Жизнь и научная деятельность Александра Николаевича Афанасьева, с. XXXV.

³ Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства, т. I. Спб., 1861, с. 1—2.

ном теоретическом труде — «Поэтические воззрения славян на природу», в первых строках которого будет заявлено еще более определенно: «Богатый и, можно сказать, единственный источник разнообразных мифических представлений есть живое слово человеческое, с его метафорическими и созвучными выражениями. Чтобы показать, как необходимо и естественно создаются мифы (басни), надо обратиться к истории языка». Почему именно история языка, т. е. диахроническое его изучение, мыслится Афанасьевым как единственно возможное? На этот счет ученый категорично утверждал: «Материальное совершенство языка к его историческим судьбам находится в обратном отношении: чем древнее изучаемая эпоха языка, тем богаче его материал и формы, и благоустроеннее его организм; чем более станешь удаляться в эпохи позднейшие, тем заметнее становятся те потери и увечья, которые претерпевает язык в своем строении». По Афанасьеву, путь человеческого слова — это путь утрат и упадка, забвения «первоначальной связи понятий», отчего первоначальный смысл слова затемнялся настолько, что начиналась его мифологизация. Именно на этой стадии особую роль начинает играть «метафорическое уподобление», которое «получило для народа все значение действительного факта и послужило поводом к созданию целого ряда баснословных сказаний».

Именно миф, или, как его еще называли в те годы, «баснословие», лежит, по мнению Афанасьева, в основе всех без исключения фольклорных жанров. Их возникновение было связано с «раздроблением мифических сказаний», а также с низведением «мифов на землю и прикреплением их к известной местности и историческим событиям»¹. Примерно по той же схеме мыслилась Афанасьевым и эволюция языческих верований. Гарантом научной объективности вроде бы служила набиравшая силу сравнительная филология, но как это ни странно, именно провозглашавшаяся мифологами методика давала возможность уж слишком произвольного, а иногда и фантастического толкования памятников фольклора и этнографии². Афанасьев действительно предугадал многое, что подтверждено современной наукой, но еще более в его этнографических трудах научных «вольностей», на которые, к примеру, не решался Ф. И. Буслаев, считающийся основоположником «мифологической школы». Все-таки в мифологических изысканиях Афанасьева было более поэзии, чем науки, и это было чутко уловлено многими писателями и художниками, обнаружившими для себя (и прежде всего в обобщающем

¹ Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1865, с. 13.

² Более подробно о «мифологической школе» см.: Академические школы в русском литературоведении. М., 1975. (Гл. I «Мифологическая школа», написанная А. И. Баландиным).

мифологическом труде Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу») мощный источник поэтических образов. Ученые были более сдержанны в своих оценках. Так, знаменитый славист И. В. Ягич считал, что эта книга Афанасьева «останется на долгое время еще богатым источником для разнообразных справок и блестящим памятником его широкого знакомства с подходящей литературой славянских трудов»¹.

«Поэтические воззрения славян на природу» имели прямое отношение и к семейству М. С. Щепкина, в гостеприимном доме которого многие положения этой книги были впервые сформулированы. Кто знает, может быть, этот труд Афанасьева и вовсе не состоялся, если бы не Дмитрий Михайлович Щепкин, талантливый предтеча Афанасьева на мифологическом поприще. А. В. Щепкина вспоминала: «Афан.[асьев] был хорошо знаком с Забелиным² и познакомил нас с ним с 1854 года. [...] В семье Мих.[аила] Семен.[овича] Щепкина Афанасьев проводил целые вечера с большим сыном М.[ихаила] Сем.[еновича] Щ.[епкина] Дмитрием Мих.[айловичем], занимавшимся мифологией восточн.[ых] народов,— Египта преимущественно. Часто, когда мы с Николаем М.[ихайловичем] заходили в комнаты его брата, Дмитрия, мы встречали там Афан.[асьева] и Забелина, и вместе с Дм.[итрием] Мих.[айловичем] они предавались горячим толкам о сравнительной мифологии, разгорая фантазию друг у друга. Как говорили тогда слушавшие их споры, Афанасьев уже начинал тогда работать над Мифами Славян»³. Мысль о создании обобщающего труда о русской мифологии пришла к молодому магистру физико-математических наук Дмитрию Щепкину еще в конце 40-х годов, и именно на эти годы приходится его интенсивные изыскания в области санскритских, египетских, греческих и индийских древностей. Когда отрывок из труда Д. М. Щепкина был показан Я. Гримму, последний писал автору: «Сообщенное мне Вами введение к русской мифологии написано, сколько я вижу, с большою основательностью и ученостию. Главное же дело — в самом труде. Если труд этот будет соответствовать введению, то, без всякого сомнения, он представит много нового и полезного»⁴. Преждевременная смерть в 1858 году не позволила автору завершить свой труд, но даже посмертная публикация свидетельствует, что пути научного поиска у Щепкина и Афанасьева во многом совпадали, что оба за-

¹ Ягич И. В. История славянской филологии. Спб., 1910, с. 516.

² Забелин Иван Егорович (1820—1909) — русский историк и археолог.

³ ЦГАЛИ СССР, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 341 (фонд Грузинского А. Е.).

⁴ Щепкин Д. М. Об источниках и формах русского баснословия. Вып. 1—2. М., 1859—1861, с. XVI.

нимались решением «общей исторической задачи мифа в частных границах русской басни»¹. С большой долей уверенности можно сказать, что огромный массив собранных Щепкиным материалов по мифологии Востока так или иначе нашел свое отражение и в капитальном труде Афанасьева.

Однако истинное значение Афанасьева для фольклористики и этнографии заключалось в его собирательской деятельности. Год 1855-й — выход в свет первого выпуска «Народных русских сказок», именно подлинных, а не книжных, где слово народа, его художественный лик были отчетливо явлены всем — и друзьям и недругам великого народа. Последний, восьмой выпуск вышел в 1863 году, но за эти годы выпуски неоднократно переиздавались. Россия с упоением читала сказки своего народа; это было узнавание себя, своего собственного народного характера. Сказки Афанасьева были ответом демократической России на призыв А. И. Герцена, который в 1851 году с горечью писал: «Мне кажется, что слишком много занимаются Россией императорскою, Россией официальной и слишком мало Россией народной, Россией безгласной»². Пусть многое еще было несовершенно в этом издании сказок, но это было первое издание истинно народных текстов, и таким оно навсегда останется в истории нашей культуры. К многочисленным свидетельствам в споре, который продолжается уже более столетия: об истинности опубликованных Афанасьевым текстов, — добавим еще одно, почерпнутое из неопубликованных воспоминаний А. В. Щепкиной: «К людям он относился участливо, и такое же теплое чувство проявлялось у него и к русскому народу, который он изучал в его сказках, песнях и верованиях. Не раз говорил он о трудности собирания сказок: «Вот, думают, что это легко, — что выслушал, — и записал, а не знают, сколько тут надо сличать каждую сказку с другими вариантами, решать, что выкинуть и что оставить, составив одну из нескольких вариантов, и как притом надо вычистить язык, исключив все грубое, шероховатое». Это подлинные слова Афан[асьева], насколько я запомнила их, слышавши один раз. Афан[асьев] живо относился к сказке, он видел в ней доброе направление народа, требование справедливости, идеал добра...»³

Сказки появились в момент зарождения общественного интереса к жизни простого народа и имели большой резонанс не только в России, но и за рубежом, Академия наук присуждает Афанасьеву за это издание Демидовскую премию, а Географическое общество —

¹ Щепкин Д. М. Об источниках и формах русского баснословия, с. XXI.

² Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. VII. М., 1956, с. 308.

³ ЦГАЛИ СССР, ф. 126, оп. 1, ед. хр. 341 (фонд Грузинского А. Е.).

золотую медаль. В 1860 году в Москве в издании Щепкина и Солдатенкова выходит еще один сборник Афанасьева «Народные русские легенды», но его судьба будет не столь счастлива, как у сборника сказок.

Небольшой тираж, всего в 1200 экземпляров, был раскуплен в течение трех недель, что объяснялось не столько художественными достоинствами книги, сколько ее полузапретным содержанием. По свидетельству А. Е. Грузинского, за книгу платили в пять раз дороже ее истинной стоимости, ее читали даже дамы, так как пронесся слух, что книга эта будет изъята и запрещена. Книга содержала 33 народных рассказа о жизни святых и Христа, что не могло не взволновать церковные круги. Эти тексты говорили о христианстве с точки зрения народа, и народная оценка была, прямо скажем, нетрадиционна. Митрополит Филарет назвал эти легенды оскорбляющими «благочестивое чувство, нравственность и приличие», сказал, что «необходимо изыскать средство к охранению религии и нравственности от печатного кощунства и поругания...»¹. Средство такое было найдено, и второе издание книги было цензурой запрещено более чем на пятьдесят лет. Сам Афанасьев с горьким юмором рассуждал о судьбе своего опального труда: «А Вы знаете, как человечество падко на все запретное. Я убежден, что на Руси самая плохая и нелиберальная книга может иметь успех, если только, хоть для шутки, подвергнуть ее запрещению, и наоборот, самое умное и самое либеральное сочинение может остаться едва замеченным, если только наперед будет известно, что оно не противно правительству... Никак не могут понять, что в этих народных рассказах в миллион раз больше нравственности, чем в проповедях, преисполненных риторикой»².

Не удивительно, что текст следующего сборника — «Русских заветных сказок» был тайно переправлен за рубежи России. Правда, вышел в свет он в 1872 году, когда его автора уже не было в живых. «Народные русские сказки», «Народные русские легенды» и «Русские заветные сказки» — это три лика одного народа, который Афанасьев любил и боготворил.

Помимо фольклора и этнографии, много сил отдал Афанасьев библиографии и литературной критике. Если мифологические и фольклористические исследования его обильно цитируются, а иногда и перепечатываются, то критико-библиографические труды известны лишь специалистам. Между тем несколько не устарел его фундаментальный труд «Русские сатирические журналы 1769—1774 годов. Эпизод из истории русской литературы XVIII века», где не только воспроизведены уникальные тексты, которые, не будь Афанасьева,

¹ Грузинский А. Е. А. Н. Афанасьев (Биографический очерк), с. XXIII.

² Там же, с. XXII.

канули бы в вечность, но и дан детальный анализ любимой исследователем литературной эпохи. Знаменитая статья Н. А. Добролюбова «Русская сатира в век Екатерины», где речь шла о сатире как о новом качестве русского критического реализма, не только явилась откликом на этот труд Афанасьева, но и была построена на фактическом материале из этой книги. Журнальной сатире XVIII века был посвящен и ряд газетных статей Афанасьева («Два слова о журнальной сатире прошлого столетия», «Сатирические издания девяностых годов» и некоторые другие).

Не было в XIX веке знатока литературы века Екатерины более авторитетного, чем Афанасьев, который буквально выуживал из книжных развалов у Сухаревой башни бесценные издания. Впрочем, Афанасьев-библиофил — это тема для особого разговора.

В 1858 году Афанасьев вместе с Н. М. Щепкиным предпринимает издание «Библиографических записок», где Афанасьев неожиданно раскрылся не только как талантливый журналист, но и как вдумчивый текстолог. На страницах этого издания были впервые опубликованы и прокомментированы тексты, которые позднее вошли в академические собрания наших великих писателей. Каптемир и Ломоносов, Фонвизин и Новиков, Карамзин и Жуковский, Бортнянский и Батюшков — вот далеко не полный перечень имен писателей, материалы для биографии которых увидели свет на страницах «Библиографических записок». В первом же номере издания были опубликованы письма А. С. Пушкина к брату, Льву Сергеевичу, а всего материалов, так или иначе связанных с жизнью и творчеством поэта за время существования «Библиографических записок», было напечатано за пятьдесят.

Н. Я. Эйдельман в книге «Тайные корреспонденты «Полярной звезды» обратил внимание на сходство материалов, которые появлялись в изданиях Афанасьева и Герцена почти одновременно. Определенно существовала постоянная связь между Москвой и Лондоном, и то, что по цензурным соображениям не проходило в Москве, вскоре появлялось на страницах герценовских изданий.

Выступал на страницах своего издания Афанасьев и как журналист, причем журналист язвительный, в чем читатели настоящего сборника имеют возможность убедиться. Особой резкостью отличались статьи, подписанные «И. М.—къ». В письме к библиографу Г. Н. Геннади от 3 июля 1858 года Афанасьев писал: «Таинственные буквы И. М.—къ означают Вашего покорнейшего слугу, только держите это про себя, потому что под ними должно идти все задирательное»¹. Пожалуй, лучше всего о значении «Библиографиче-

¹ Цит. по ст.: Порудоминский В. И. Я любил Пушкина еще больше... — В кн.: Прометей, т. 10. М., 1974, с. 210.

ских записок» для русской культуры сказал сам Афанасьев: «Свой труд приносим мы бескорыстно русской науке в чаянии, что будет же время, когда сумеют оценить это по достоинству»¹.

Летом 1860 года Афанасьев впервые отправляется за границу со своим родственником художником В. Ф. Аммоном. Они посетили Германию, Швейцарию, Италию. Была и кратковременная остановка в Лондоне, где, как установлено современными исследователями, состоялась тайная встреча с А. И. Герценом.

В 1862 году на квартиру Афанасьева неожиданно нагрянула полиция. Был произведен тщательный обыск, перерыты все рукописи ученого. Правда, ничего компрометирующего полиции найти не удалось, но печать политической неблагонадежности (особенно после поездки в Лондон) сделала невозможным его дальнейшее пребывание на государственной службе в архиве. Поводом для обыска послужил неожиданный визит на московскую квартиру Афанасьева эмигранта В. Кельсиева, который тайно возвратился в Россию с фантастическим планом вовлечения раскольников в революционное движение. Визит этот так бы и остался тайной, если бы не письмо Кельсиева с упоминанием о встрече, которое было перехвачено русской полицией. После увольнения со службы в жизни Афанасьева наступили тяжелые времена — приходилось распродавать уникальную библиотеку, чтобы как-то облегчить тяжелое материальное положение. Особенно удручала невозможность найти какую-либо работу. Лишь через четыре года удалось ему получить место секретаря в думе. Затем работа в мировом съезде, коммерческом банке (это уже за год до смерти). Новые должности отнимали все время, и остается удивляться, как сумел он в эти тяжелые годы окончить свой огромный труд — «Поэтические воззрения славян на природу», проникнутый духом оптимизма, веры в духовные возможности человека.

Можно говорить о значении трудов Афанасьева для современной науки, можно указывать на имеющиеся в них натяжки и вольности, но смысл жизни и деятельности этого честного ученого, одного из «наиболее симпатичных имен в истории русской науки, посвященной исследованию русской народности и старины»², видимо, не столько в трудах, им опубликованных, сколько в делах, им совершенных. Именно благодаря таким людям, как Афанасьев, «безгласная Россия» заговорила языком чистым и ясным, и голос ее стал слышен во всем огромном мире. Демократ по своим убеждениям, «сторонник решительных освободительных преобразований в Рос-

¹ Цит. по ст.: Порудоминский В. И. Я полюбил Пушкина еще больше..., с. 217.

² Пыпин А. Н. История русской этнографии, т. II. Спб., 1891, с. 186.

сии»¹, Александр Николаевич Афанасьев открыл всему миру душу великого народа-труженика, народа-воина, народа-поэта. Именно о таких ученых мечтал один из его любимых поэтов XVIII века — М. В. Ломоносов:

Везде исследуйте всечасно,
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет...

После работ Афанасьева русская фольклористика преобразилась качественно, вышла на мировые рубежи. Значение его исследований непреходяще; знаменательно, что и в наши дни они вызывают самые горячие споры.

А. Л. Налепин

¹ А н и к и н В. П. Александр Николаевич Афанасьев и его фольклорные сборники. — В кн.: Народные русские сказки. М., 1982, с. 8.

СТАТЬИ



**ДОПОЛНЕНИЯ И ПРИБАВЛЕНИЯ К СОБРАНИЮ
«РУССКИХ НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦ И ПРИТЧЕЙ»,
ИЗДАННОМУ И. СНЕГИРЕВЫМ**

В настоящее время уже понятно все важное значение тех исторических материалов, которые сохраняются в народных преданиях, обычаях и поверьях. Вот почему ревностно приступили к собиранию их и стали думать о правилах, которым бы подчинить издание их в свет. В кругу подобных трудов книга г. Снегирева необходимо обращает на себя заслуженное внимание. Он сделал попытку составить возможно полное «Собрание русских народных пословиц» и выполнил свою задачу, если не без недостатков, более или менее присущих всякому труду, то (надо заметить) и не без значительных достоинств. Книга его составляет лучший сборник пословиц, сравнительно с прежними их изданиями, которые и менее полны и более извращали простонародную форму материалов этого рода обновлениями и добавками*. Но и без отношения к ним собрание пословиц г. Снегирева есть важная заслуга в нашей исторической литературе. По своей полноте оно дает превосходный материал для объяснения многих сторон нашего быта. Это богатый источник для определения логических приемов и моральных убеждений русского человека, так точно, как и для уяснения различных сторон его жизни современной и прошедшей. В подтверждение наших слов обратим внимание на те пословицы, которые характеризуют древнейший, первоначальный быт славянских племен. От этой глубокой древности, скрытой за многими веками, еще донеслись до нас обломки в песне и пословице, и только по таким обломкам можем мы изучать старину и воссоздавать ее типические черты.

Песня рассказывает нам о разрозненности славян-

* Заметим только, что слово «притча», помещенное издателем в заглавии, совершенно лишнее, потому что притчи в его книге не встречаются. Может быть, он разумел под этим названием что-нибудь другое, а не то понятие, которое с ним обыкновенно соединяют. Притча есть народная басня, проникнутая духом библейского рассказа: напр., *горшок и притча Дария царя Персидского*. Прочие материалы, напечатанные г. Снегиревым под именем притч, несколько не притчи, но загадки (*трое, четверо, кум и сын*) и две народные басни (*замыслы и благоразумие*), не имеющие характера притчи. (Здесь и далее примеч. А. Н. Афанасьева.)

ских родов и семейств в частном, так сказать, гражданском быту, когда брак был умышкою (похищением) или куплею, когда род сурово и подозрительно смотрел на всякого *чужого*. Пословицы разъясняют нам другую сторону той же первоначальной жизни. Они представляют общинный, так сказать, публичный быт тех же родов и семейств, когда старики сходились подумать, порассудить и решить дела о взаимных отношениях, или правильнее — ссорах и распрях. *Худой мир лучше доброй ссоры*: потому не всякая ссора кончалась дракою, и всякая драка имела исход. Разрозненные роды и семьи в домашнем, частном быту нередко соединялись там, где дело касалось общей безопасности, общего наряды. Ссоры не только разъединяли родичей, но и сближали их между собою, заставляя сходиться для совещаний на родственные собрания — мирские сходки, веча. *Рать* (война, драка, ссора) *стояла до мира* (*мира*), *а мир* (*мир*)¹ *до рати* — не только в смысле того успокоения, которое следует за усобицею и раздором, но и в смысле той мирской сходки, того *мира*, на котором усобица и раздор заканчивались общим приговором о *мире* или *перемирии*. Оттого *мир* был *дело великое*, или, по другому наречию, *громада великий человек*. *Мир* (громада) был собрание *старших* родичей, уважаемых за свои лета по естественному чувству крови, которое ставило старика молодому вместо отца. Такое непосредственное чувство, сродное первоначальному состоянию человека, еще не знакомого с анализом, долго сохранялось в нашей истории. Когда сознание осветило эти отношения, они успели уже перейти в обычные установления, освященные давностью, и получить законное основание. Русский человек — человек патриархальных преданий и верований. Он очень хорошо понимает, что *свой своему поневоле друг*; у него везде родня, так что *родни не перевесишь до Москвы*. Многие забыла народная память из старинной жизни и ее событий; но твердо запомнила, что *старших и в Орде почитают**. К этому чувству крови присоединилось, но уже впоследствии, как шаг вперед, понятие о большей опытности старого человека. *Где старья, там и статья*. Отсюда объясняется начальный смысл пословицы: *кто хочет много знать, тот скоро состарится* (или: *будешь много*

* Новое доказательство, что монголы не нарушали обычного родового порядка Руси.

знать, скоро состареешься). Содержание ее вовсе не то, что наука (о которой долго у нас не знали) убивает здоровье и силы; напротив, смысл тот, что знания приобретаются опытом жизни, испытанием судьбы, бывалою в различных обстоятельствах. Эта практическая наука, которая тем полнее фактами и выводами из них, чем долее длилась самая жизнь. Подобный же смысл скрывается и в пословице: *век живи — век учись*, т. е. жизнь дает человеку уроки опытности и обогащает его знаниями вместе с его физическим возрастом. Время изменило значение этих пословиц, как и многих других. Вот почему старик считался *лучше семерых молодых: старый ворон даром не каркнет*.

Из таких-то стариков, умнейших по понятиям того времени, составлялся мир, который стоял до вражды родичей. В чем же заключалась его власть, в чем выражалась его деятельность? По пословицам он страшно силен: *мир зинет, камень лопнет или лес гинет; мира никто не судит, а судит один бог. Глас народа — глас божий. Вали на мир, все снесет*. Итак, мир имел какую-то безграничную верховную власть, без всякой возможности апелляции на него и суда над ним. Но если и можно искать в этих выражениях элемента юридического, то единственно под родовыми определениями. Вглядываясь в процесс развития народного чрез нарождение, видим это яснее. Русская история представляет любопытнейшее и знаменательное явление: в ней возможно следить развитие общества почти от первой семейной четы. Конечно, здесь нет и не может быть ощутительных доказательств; но доказательства чистого мышления не менее важны в данном вопросе, потому что они подтверждаются последующими записанными фактами нарождения и разложения княжеской семьи. Чрез нарождение от одной четы происходит *семья*; из одной семьи разрождаются несколько и составляют *род*, который в свою очередь размножается в несколько родов, образующих *племя*. Связь племени есть связь родственная, воспитанная природою и ее физиологическими требованиями. Пока жива эта связь (а это легко и возможно только при незначительной массе населения и при наибольшей ее непосредственности), тогда старший — сначала только по летам; потом и по рождению от старшего, управляет племенем. Племеначальник держит в своих руках власть, с одной стороны,

полную, строгую, с другой, мягкую, слабую, как всегда власть родительская, еще не принявшая юридического характера: он является для всех младших членов племени *вместо отца*. Власти его подчиняются, как власти старшего, но ее смягчает и влияние обычая, который от всех родичей требует преследования общего интереса*, и собственное чувство, говорящее о близости родства. Когда население увеличилось и отношения необходимо запутались, тогда семьи примкнули к новым центрам, более близким для них по кровному физиологическому счету. Каждая семья потянула к своему роду, на которые распалось племя. В роде пределы были теснее, и связи чувствовались живее: инстинкт родственный здесь был крепче. Между разъединившимися родами начинаются ссоры: «и вста род на род и быша между ними усобицы». Причина понятна, хоть Нестор² и умалчивает ее. С разъединением родов и с запятованием, кто старше в племени, каждый род выставил своего старшего и считал его вправе занять место племеначальника. В этом лежала собственная личная выгода рода, ибо тогда он сам поступал в старшие роды, в *большие*. Никто не хотел уступить, ни один род не хотел захудать; а решить их спор было труднее, нежели спор между князьями Рюрикова дома. Здесь должна была существовать во столько же большая запутанность, во сколько самое население было обширнее княжеского рода. Самые усобицы родов должны были происходить в больших размерах, нежели усобицы княжеские, потому что они велись за свои собственные интересы, а не за интересы членов владетельного рода. Наряд нарушился. Для его восстановления надо было прибегнуть к общему замирению, чтобы решить спор на общем родовом совете. После распри прибегали к *миру* и собирали *мир*: в этом и заключалось назначение *мира* и его деятельность. Он должен был замирить роды и восстановить наряд решением вопроса: кому быть *вместо отца*, т. е. *избранием* племеначальника. До избрания этого последнего *мир* заступал его место и получал его власть. Впоследствии, когда от беспрестанных споров такая общинная форма управления приобрела более постоянства, освятилась давностью и прошедшими примерами, тогда, вероятно, возникло и слово *вече* (вечать,

* Указываем на отношения князей Рюрикова рода к В. князю.

вещать, возвещать, повесть); ибо задачу всенародного собрания стало не одно умирение родов, но и вопросы их внешней безопасности и внутренней управы во всякое время. Власть мира, веча, почти поглотившая власть племеначальника, была и велика, и неопределенна, или, лучше, власть эта определялась силою мира, а сила мира зависела от согласия его членов и их единодушия. Но согласие и единодушие трудно было найти. Во 1-х, роды или представители их — старики приносили на вече свои прежние стремления. Каждый род хотел удержать за собою почетное название большего, старшего. Итак, борьба только изменяла форму: из открытой усобицы она переходила под узаконенную форму веча, на котором продолжались прежние притязания. Во 2-х, мир не мог иметь других определений, кроме родовых, которые только и были доступны чувству тогдашнего человека. Искусственного, юридического никто не понимал. Но родовые определения требовали преимуществ старшего пред младшим, а за это-то и шли споры. Следовательно, оставалось прибегнуть к равенству родичей и решить выбором: *кого все излюбят*. Нужно было единогласное решение стариков, потому что все они считались одинаково равными на вече, — и только тогда дело кончалось мирно, когда все станут на одном. Тогда — *что миром было положено, тому так и быть*. Если не соглашались несколько человек, то они унимались силою: от миру никто не прочь. В Новгороде таких ослушников топили, а дома их грабили. Но для того чтобы все излюбили *одного*, надо было чем-нибудь особенно ему отличиться, приобрести на родичей значительное влияние и родиться счастливым; ибо кровь говорила слышнее всего. Оттого согласие бывало редко: на вече спорили. Оно было шумно: родичи волновались, и вечники (*горланы*) брали *горлом, а не горбом*. Пословицы живо изображают такое состояние веча: *на одном вече, да не одни речи; мирская молва, что морская волна (народ — волна)*. Припомним, кстати, известия о Новгородском вече и о теперешних мирских сходках. Изучение современного крестьянского быта во многом может пояснить глубокую старину. От шума, споров и брани естествен был переход к насилиям и драке. Вече распадалось на две и более частей, друг другу враждебных. Вероятно, сколько родов было на вече, столько образовывалось и особых частей;

разве только слабые роды присоединялись к той или другой стороне. Принимались за камни, дубины и пр., и не было правды, а начиналась общая борьба, которая оканчивалась торжеством силы. Естественное право крови заступалось правом кулачным, правом силы. Потому-то пословицы говорят: *мир силен, как вода, а глуп, как свинья; мирская слеза велика (едка)*. В это время всякий родовой распорядок рушился: *в поле съезжаются, родом не считаются*. Усобища продолжалась до обессиления той или другой партии, за чем следует мир, или до совершенного разъединения родов, когда они расходятся *особе* на разные территории.

Кроме пословиц, в издании г. Снегирева встречаются еще присловья и поговорки. Если, говоря строго, и надо различать пословицы от присловий и поговорок, то справедливость требует заметить, что собрание этих последних не менее важно, как и собрание пословиц, а обнародование их есть обнародование материала, особенно полезного для филологии. Самый слог писателей нигде не может воспринять столь крепкую силу и научиться столь метким оборотам, как при изучении языка народного и устной народной литературы — в сказках, песнях, пословицах, поговорках, загадках, присловьях, присказках и прозвищах. Этим приобретается та сжатость и вместе та пластичность выражения, о которых много говорено, но для чего мало сделано, хотя, впрочем, даже и тем, что сделано, еще не воспользовались. Чтобы нагляднее указать на силу и меткость народного языка, приведем несколько замеченных нами особенных оборотов и выражений устной речи. О негодности чего-нибудь говорят: *в подметки не годится*; о непостоянстве и скором подчинении чужому влиянию: *куда ветер подует*; о неисполнении обещаний: *кормит завтраками (от завтра) и откладывает в долгий ящик*; о невозможности и бесплодности какого-нибудь дела: *вчерашнего дня искать*; о строгости: *в ежовых рукавицах держать*; также *из воды сух вылез*; *концы в воде схоронил*; *по чужой дудке плясать*; *курам (на) смех! старому воробью по колено*; *выеденного яйца не стоит*; *с овчинку небо показалось*; *пьянее вина**. Сюда

* Про большое ненастье говорят: «такое было ненастье, что добрый хозяин собаки со двора не сгонит (вар.: на двор не выгонит)», про маловажность какого-либо проступка: «за это только три пятницы молока не есть».

же отнесем и обычные сравнения нашего разговорного языка: *бьется, что рыба об лед; что к стене горох; как к корове седло; что с гуся вода; как снег на голову; как гора с плеч (долгой); как собака палку (любит); как сыр в масле; как кошка с собакой; как камень в воду*, и проч. Думаем, что знать такие обороты и выражения с должною подробностью необходимо и для филолога и вообще для писателя. Здесь скрывается основная причина, почему, напр., язык Кольцова так пластичен и выразителен, так разнообразен и свеж[...].

ДЕДУШКА ДОМОВОЙ

Дедушка домовой занимает в наших преданиях почетное место: верования о нем до сих пор сохраняются в народе довольно яркие и подробные, с которых еще не совсем стерся языческий отпечаток: причина заключается в самом значении этого мифа.

Вера в домового тесно связана с языческим обожанием огня (небесного — в образе *Дажьбога*¹ и *Перуна*² и земного — в образе *Сварожича*³) и умерших предков. Такая связь и придала особенную крепость и знаменательность вере в домового.

Славянин-язычник, обоготворяя силу света и тепла как высшую благотворную силу в природе, как условие всякой жизни, естественно, должен был перенести поклонение этой силе и в сферу домашнюю, в круг семьи. Он с благоговением следил за всеми проявлениями священной для него стихии огня и всюду поворачивался перед нею с мольбою; но огонь необходим также на домашнем очаге, для удовлетворения самым настоятельным потребностям жизни физической (для тепла и приготовления пищи), среди которых главным образом и вращался тогдашний человек. Обожая солнце, молнию и огни, разводимые под открытым небом, он обоготворил *очаг, огнище*, как священное место той стихии, которая все вызвала к жизни и вечно поддерживает эту жизнь. Солнце производит весну и лето; без очага человек подвергается губительному влиянию холода и должен отказать себе в самых первоначальных удобствах относительно пищи. О языческом обожании очага ясно свидетельствуют народные предания наши и

западных славян: обряды над бадняком и многообразные гадания по пламени, углям, золе и лучинам как нельзя лучше подтверждают такое положение. Сначала поклонялись самому очагу; но с дальнейшим развитием язычества привзошли сюда новые верования, слились с верованием первоначальным, — и олицетворились в пластическом и наглядном образе *домового*. Что действительно обожание очага олицетворилось в образе домового — на это прямо указывают сохранившиеся до сих пор обряды. При переходе в новый дом *свекровь* (или *старшая бабка* и даже *нянька*) *топит печь* в старом доме. Истопивши, весь жар она выгребает из печи в *печурку* и дожидается полдня. У нее заранее приготовлен *чистый горшок* со скатертью. *Ровно в полдень по солнцу свекровь кладет в горшок горячие уголья* и накрывает его скатертью; потом *растворяет двери и, обращаясь к заднему куту, говорит: «Милости просим, дедушка, к нам на новое жилье»*. После того она отправляется с горшком на новый двор, где *хозяйин с хозяйкою встречают дедушку-домового с хлебом-солью у растворенных ворот*. Свекровь стучится в вереву⁴ и спрашивает: «Рады ли гостям?» *Хозяева с низкими поклонами отвечают: «Милости просим, дедушка, на новое место»*. Свекровь идет в хоромы; впереди ее *хозяйин несет хлеб-соль, сзади провожает молодая хозяйка*. В избе свекровь *ставит горшок на загнетку⁵, берет скатерть и трясет ею по всем углам, как будто выпуская домового; затем высыпает все уголья в печурку; горшок разбивают и зарывают ночью под передний угол дома*. В этом обряде ясно сохранилась не только связь домового с очагом, но прямое указание на то, что первоначальное представление домового был домашний огонь и что олицетворение этого огня в образ человеческий совершилось уже позже. Чтобы солнце приняло образ Дажьбога, молния — Перуна, очаг — домового, необходимо было человеку прожить и подвергнуть действия своих божеств собственному анализу; только тогда человек переносит на них формы своего тела и своих деятельных сил, — разумеется, формы наиболее совершенные, идеальные. Таким образом, семья, при всяком новом переселении, переносила за собой своего пената, свой охранительный огонь. В горшке, закрытом скатертью (платом), несла его *старшая в семье* женщина, как заведовавшая хозяйством и оча-

гом. С благоговением встречала семья у ворот священный огонь с хлебом-солью и поклонами. Со скатерти отряхали святыню, чтобы самый дух ее переселился на новое жилье. Горшок, уже освященный присутствием пената, разбивали, потому что употребить его в дело домашних, обиходных нужд было нельзя: это было бы великое преступление. Самые черепки, как нечто священное, зарывали в *передний угол* дома, особенно уважаемый у простолюдина. Передний угол и теперь у него украшается образами. На то же первоначальное значение домового указывает следующий обряд, совершаемый ежегодно: 28 января после ужина оставляют для домового на загнетке горшок каши, который обкладывается вокруг горячими угольями: прежде всякое приношение клали, по всему вероятно, прямо на огонь; обкладывание вокруг горшка есть явление позднейшее. В Польше домовый называется «выгорище» (от гореть, выгорать; сравни с *огнище*). Таким образом, в домовом видим олицетворение очага.

Но, сверх того, с домовым связывается еще поклонение душам умерших предков. Что славяне обожали умерших предков — на это есть самые достоверные свидетельства. Заметим, что такое обожание необходимо условливалось их патриархально-родовым бытом, который на все накладывал свой отпечаток, ибо он все проникал и всему давал основу. Помимо кровных отношений человек не мог представить себе никаких других нравственных отношений. Здесь заключается причина, почему языческие верования славян получили ясный оттенок родовых убеждений. В слове Христолюбца⁶ сказано: «молятся роду и рожаницам» и ставят «беззаконная трапеза менимая роду и рожаницам». Совершение жертвоприношений при погребении умерших, возлияния на могилы предков и ежегодные угощения их в доме потомков* прекрасно подтверждают классическое известие Христолюбца. На связь домового с поклонением теням предков указывает постоянно придаваемое ему имя *дедушки* (иногда *батюшки*). Имя это, как синонимическое в убеждении простолюдина, заменяет для него имя «домового», и как оно указыва-

* Возлияние на могилы совершаются *вином* и *медом*; родственники, помня умерших предков, зарывают в могилы *яйца*, зовут покойников к себе кушать *хлеб-соль* и накрывают для них особые места за столом.

ет на почтительные родственные отношения, то употребляется всего чаще. О связи домового с поклонением роду говорят и его характер и обряды, в честь его совершаемые, на что укажем ниже.

Теперь является вопрос: на каком языческом веровании основано то сближение очага с душами умерших, которое встречаем в мифе домового? Почему домовый явился антропоморфическим олицетворением очага и рода (т. е. душ умерших предков)? По верованиям славян душа человека представляется в образе огня; огонь этот бросается Дажьбогом в виде молнии, с которою связывается верование в силу творческую и плодородную. Оттого Дажьбог дед всех людей; оттого, по выходе из тела, душа теплится свечкою на могилах или носится в виде блуждающих огоньков*. В этом веровании лежит объяснение, почему души умерших предков сливались для потомков с стихиею светлую — с огнем; почему домовый, представитель очага, слился с дедушкою, представителем рода. Этому слиянию помогла вера в огненное представление души, близкое к очагу: и душа и огонь на очаге суть частицы того небесного огня, какому славянин поклонялся в Дажьбоге и его детях; по существу своему оба эти представления сходились. Значение того и другого в среде рода или семьи было так тождественно, что соединение их в одном мифе домового, в одном образе пената было необходимо. Огонь на очаге было семейное божество, которое доставляло человеку первоначальные удобства жизни и охраняло счастье дома и семьи, как божество светлое и потому благодетельное. То же охранение семейного мира и счастья, те же заботы о домашних и верховное покровительство их принадлежало старшему в роде или семье. По свежести патриархального физиологического чувства старшего глубоко уважали, считая всякое слово его за священный приговор: его устами говорило самое божество. Умирая, предки не покидали потомков; они невидимо надзирали за ними, хранили их счастье и спокойствие; души их не расстава-

* *Воскресать* происходит от крес — огонь (кресать). У лужичан тап⁷ в воскресенье четвертой недели поста ходят на Тодесберг с зажженными факелами и, помянув умерших, тушат факелы и возвращаются назад с песнями: «Смерть мы потушили, новую жизнь зажгли».

лись с родным кровом, и для потомков они сливались с очагом. Душа соединялась с стихиею огня, возженного на очаге.

Когда с дальнейшим развитием религиозной системы славянин дошел до человеческого олицетворения своих верований, тогда явился типический образ *домового*; на него перешли все благотворные понятия, соединяемые прежде с очагом, и все качества домовитого хозяина — патриарха, каким был старший в роде или семье. Следовательно, все доброе и почетное, по языческим и родовым убеждениям тогдашнего человека, было перенесено на домового. Как дедушка, он есть самое старшее и почетное лицо в семье домовладыки, к которой он и принадлежал по восходящей линии: эта родственная связь для древнего человека не была искусственною; напротив, ей вполне верили, ее чувствовали. Домовладыка, который становился *вместо старшего*, не считался настоящим владельцем дома и его распорядителем, эти права принадлежали домовому-дедушке, оттого во многих местах удавалось нам слышать, что его прямо называют *хозяином*. В самом деле, домовый есть идеал хозяина, как его понимает русский человек: он видит всякую мелочь, беспрестанно хлопочет по хозяйству, там поправит, здесь пособит; он любит приплод домашних птиц и животных и не терпит излишних расходов, за которые сердится: словом, домовый — хлопотлив, расчетлив, домовит и кропотлив. Он смотрит и охраняет дом *пуце хозяйского глаза*; радеет о хозяйском добре *пуце заботливого мужика*, бережет скот (коров, лошадей, овец и проч.); заплетает у лошадей хвосты и гривы, завивает в бородах у мужиков косы: этим выражается его любовь. У домового, как это бывает почти у всякого поселянина, есть своя любимая лошадь, которую он холит, чистит и подсыпает для нее побольше овса. Домовый, как расчетливый хозяин, не считает грехом утащить из чужих (соседних) сеновалов корм для своих лошадей. Он надзирает за домашними птицами, особенно за курами, за овином, огородом и проч. Когда водяному приносят в жертву гуся, то наперед отрывают гусиную голову и приносят на птичий двор; там вешают ее *для того, чтобы домовый не узнал в гусях убыли и не рассердился*. Домовый не дает и лешему потешиться в хозяйском саду, и ведьме не позволяет задаивать коров: он устраняет всякий убы-

ток и противодействует всякой нечистой силе*. В Пензенской, Саратовской губернии у мордвы сохранился весьма знаменательный обряд: там родственники приносят умершему *яйца, масло, деньги*, и проч., при этом они говорят: «Вот тебе, Семен, на. Это принесла тебе Марфа, береги у нее скотину и хлеб. Когда я буду жать, корми цыплят и гляди за домом»**. Здесь умершим предкам поручается то же самое, чем заведывает домовый. По такой, глубоко уважаемой патриархальным человеком связи домового с душами предков это домашнее божество пользовалось и пользуется особенным уважением, вследствие которого боятся без нужды произносить имя домового, заменяя его названиями: *он, хозяин* и преимущественно *дедушка*. Здесь заключается объяснение, отчего в то время, как христианство рушило многие и важные в язычестве верования — домовый до сих пор сохранил к себе любовь простолюдина; когда стерлись многие предания — предания о домовом сохранили еще свои краски. В его существовании трудно разуверить крестьянина. Деятельность домового ограничивается, однако, пределами той семьи, к которой он принадлежит, как старший в роде; он смотрит только за благом *своего* дома, *своей* семьи, в границах которых заключается его владычество и обожание. Потому он и назван *домовым* и даже *дворовым*: здесь выражается не только значение домового, как божества домашнего, но и то пространство, которым определяется поклонение ему. Место, где живет домовый, находится за печкой, по связи его с очагом. Сядет ли изба, треснет ли в ней бревно или деревянный стол, лавка и проч. — шалит домовый: понятно почему? — все эти явления объясняются *теплотою*, которая сушит сырое дерево.

Все выраженные нами положения подтверждаются и еще более объясняются филологическими соображениями. Имя древнего божества *Чур* (пан — Чур), сохранившееся в преданиях и заклинаниях, *удаляющих от человека все недоброе и всякую нечистую силу*: «Чур меня, чур нашего места», — имя это значением своим объясняет связь веры в огонь с верою в души предков. *Чур* на санскр. значит жечь, курить; оно служит корнем

* Понятно, почему в Литве называют домового — *доброхочий*.

** У нас существует верование, что покойники за поминки ниспосылают на дом своих родных благословение.

словам *чурка, чурбан*. Чурбан (чурбак) есть обрубок дерева, толстое полено; его клали на домашний очаг и на нем разводили хранительный огонь. У других славян слово чурбан заменяется словом *бадняк*. Над этим поленом, которое поддерживает на очаге огонь, совершаются до сих пор некоторые обряды. Накануне Рождества Христова, в горах Крoации и Далмации, в Герцеговине⁸ и у черногорцев бывает *бадний день*. Поселяне отправляются в лес рубить дубовые чурбаки (бадняки); привозят их домой и вносят в избу; вносящих осыпают зерновым хлебом, с желанием счастья. В Герцеговине везут бадняк на шести быках. Нарочно приглашенный гость посыпает избу и сам от других осыпается зерном. Бадняк кладут в печь и зажигают. Когда он разгорится, гость берет кочергу и ею разбивает головню так, что от нее летят искры. При всяком ударе он приговаривает: столько рогатого скота, столько лошадей, столько коз, овец, кабанов, ульев, счастья и успеха; потом разгребает золу, и все присутствующие бросают туда по несколько денег. У черногорцев бадняк, *украшенный венками*, кладут на очаг, льют на огонь *масло и вино* и бросают туда же горсть *соли и муки*. Когда бадняк загорится, то его огнем зажигают лампаду и свечи пред иконами и начинают молиться. Таким образом бадняку (или очагу) приносят в жертву *масло и вино*, которым делают возлияния на могилы умерших, *деньги, хлеб и соль*, которые жертвуются и домовому. Выше мы видели, что каша, приносимая в жертву домовому, обкладывалась огнем. Первоначально всякое приношение клали прямо на огонь, который *пожирал* приносимое ему в дар: отсюда произошло и самое название *жертвы* (жечь, жрать: «жрачу у роши и у воды», жрец, жертва). Кормление есть уже позднейший вид жертвоприношения, ибо для него необходимо очеловечивание божеств, что в развитии язычества совершается нескоро. Слово *чур* связывается со словом щур, сохранившемся в названиях *пращур, прапращур*. Следовательно, в обожании Чура видим то же поклонение очагу и роду, как и в обожании домового, это одно божество. Из заклятий «чур меня, чур места» ясно видно охранительное значение этого божества; оно защищало семейный мир и счастье в границах своего владычества, которое определялось владением семьи или рода, живущего вместе. Вот по-

чему призвание в помощь этого божества прогоняет всякую злобную силу; вот почему предание сохранило с ним значение бога — хранителя семейных полей, пашен и *межей*. То же приписывается и домовому: он охраняет границы владений рода или семьи. На такое значение домового указывают жертвоприношения, совершаемые в честь его, и другие обряды, связанные с именем домового; эти обряды главным образом отправляются *по всем углам дома и двора*, следовательно, по границам владений семьи. Не только член семьи или рода, но всякий пришлец чужеродный, как скоро входил под кров известного дома*, считался под защитой домашнего очага. Оттого нарушить гостеприимство — у славянина было оскорбить души предков и то светлое божество огня, которое всему дает плодородие. В черте семейных или родовых владений всякий получал освящение. Отсюда объясняется и тот обычай, почему в Герцеговине обрядом в бадний день заведывает гость. Присутствие гостя почиталось особенною милостию богов, которые приводят гостей под известный кров и для их угощения ниспосылают обилие. У теперешних горских народов, живущих в родовом быте, гостю часто передаются права старшего в семье.

Вследствие тесной связи домового с *своею* семьей необходимо строго различать предания о домовых *своем* и *чужом*. В настоящее время это сделать довольно трудно; не говоря о том, что собиратели материалов не делали такого различия, самые народные предания во многом смешали сказания о домовых своем и чужом. Свой домовый постоянно добр; он связан с семьей узами родства, крови и поэтому хранит ее от зла, благодетельствует ей. Когда умирает кто-нибудь из членов семьи, он *воет* ночью, выражая тем свою родственную печаль. В совершенно других отношениях может он находиться с другими родами и семьями, к которым не чувствует он родственного тяготения. К чужим семьям домовый равнодушен; он даже на их счет улучшает положение своей семьи: по наивному представлению преданий, он таскает своим лошадям сено из чужих сеновалов, перезывает к себе птицу с чужого двора и пр. К чужим семьям, у которых есть свои хранители-пена-

* Дым у Нестора значит дом; изба (истба, истопка) происходит от слова *топить* (печь).

ты, домовый почти всегда питает чувство неприязненное. Поэтому *чужой* домовый есть существо разрушительное; он старается повредить домашнему счастью и семейному миру. Чужой домовый всегда *лихой*. Вот почему его боятся и произносят против него заклинания: в заговорах просят покровительства светлых божеств неба «от черта страшного и от *чужого* домового». Домовые разных семейств нередко вступают между собою в *борьбу*, и один из них может другого обессилить, изгнать из владений и сам поселиться на его место в чужом доме. Потому при переходе на новоселье всегда перезывают с собою своего домового; а в предостережение, чтобы *злые люди* (враги) не напустили в новый двор *лихого* домового, вешают на конюшню *медвежью голову*. Все это делается для того, замечает г. Сахаров⁹, чтобы *лихой* домовый не вступал в *борьбу* с добрым за жилье и не обессилил его. В этом знаменательном предании сохранилась родовая вражда славян, о которой г. Гюльот и летописи и народная память (в песнях и поговорах). Эта вражда родов и семей была перенесена в убеждения религиозные и прикреплена к домовому, как *представителю* родового старейшинства. Понятна его неприязненность к чужеродцам; понятна мольба против чужого домового. Такая родовая или семейная особенность домового выражается в его пристрастии к известному цвету шерсти: один домовый любит белый (серый) цвет, другой — карий и т. д. С этим, вероятно, соединилась память о вкусе и привычках умершего родоначальника. Какой цвет любит домовый, тот идет *ко двору, к семье*; другой цвет — идет к чужому двору, и потому ему противен. Вот почему крестьянин старается держать лошадей, кошек, собак той шерсти, *которая ко двору*; другой шерсти лошадей домовый заедит и забьет под ясли, а кошек и собак перекусает*. Когда *чужой* домовый пересилит *своего* (*нашего*), тогда начинает он *выживать* семью из дому, делает ей всякое зло и беды. Он щиплет скот и птиц, стаскивает хозяина с телеги, саней и постели, раздевает его во время сна, у лошадей отнимает корм и спутывает им гривы, хлопает дверьми, наваливается на спящих, щиплет до синего пятна и вообще всякому делу мешает. Тогда хозяин спрашивает домового: к добру ли все это или к худу? Домовый

* Шерсть в наших поверьях играет большую роль.

отвечает ночным беспокойством, которое означает, что он *выживает семью из дому*. Чтобы прекратить эти беды, прибегают к молебну и окроплению св. водою *по всем углам* избы и двора или водят *по всем углам медведя*, стригут его шерсть и обкуривают ею весь дом: этот обряд совершают с заговариваниями. Важно в этом случае участие медведя, оно сходится с тем обрядом, в котором употребляется медвежья голова, а следовательно, и этот обряд также имеет в виду отогнать *чужого* домового. Но кроме таких средств, с *лихим* домовым (под которым должно разуметь *чужого* домового) управляются еще 1 ноября; тогда берут *помело*, садятся на лошадь, нелюбимую домовым, ездят на ней по двору и машут по воздуху помелом, приговаривая: «*Батюшка* домовой, не разори двор, не погуби животину»; иногда помело обмакивают в деготь, *чтобы отметить домовому лысину, после чего он убегаёт со двора*. Ясно, что крестьянин предпринимает эту меру не против *своего*, а против *чужого* домового; иначе нельзя было бы согласить благотворного охранительного значения домового и глубокого уважения к нему с этою мерою изгнания. Сверх того, изгнать своего домового, как старшего в роде, было бы величайшим грехом в быту патриархальном; словом — это невозможно. Изгоняется домовый *лихой*, т. е. чуждый, не связанный с семьею родственною связью и враждебный ей: ему-то отмечают лысину, т. е. кладут на него знак помелом. Такой обряд совершается 1 ноября, когда совершается празднество и жертвоприношение *своему* домовому. Мы думаем, что это отличие своего домового от чужого может послужить для объяснения того загадочного верования, по которому, с одной стороны, души умерших обоготворялись, как божества светлые и добрые, а с другой, представляются пугающими живых людей и приносящими для них несчастье и беды. В домовом обожались предки, и если каждый род (каждая семья) ограничивалась поклонением своему роду, то естественно, что души чужих предков представлялись в таком же отношении, в каком представлялся чужой домовый. Роды спорили и враждовали между собой; представителями их интересов и, следовательно, их взаимной борьбы были старшие в родах; по наивному младенческому пониманию первоначального человека, умирающие переносили за гроб те же при-

вязанности и те же ненависти. Души чужеродцев были враждебными для потомков своих врагов; они пугали их в образе мавок¹⁰ и делали им всякое зло.

Но бывают случаи, когда домовый становится *злым* (лихим) и в отношении к своей семье. Такое состояние, как ненормальное, есть *временное*. Причинами этой перемены в характере домового бывают: а) неуважение к нему, в) тоска по прошлому и мена шкуры домовым.

Неуважение к домовому, кроме других случаев, главным образом выражается в лишении его разных приношений. Последние состоят в следующем: 28 января оставляют для него после ужина на *загнетке* горшок каши; ровно в *полночь* домовый выходит *из-под печи и ужинает*. Если хозяйка позабудет сделать это, то из доброго он делается лихим. Тогда можно унять его только *кудесами* (отсюда *кудесник*, объясняемый у Памвы Берынды¹¹ *чаровник*), которые совершаются так: *в полночь колдун зарезывает петуха, выпуская кровь его на голик*, и этим голиком выметает *все углы* в избе и дворе с заговорами — *до пения последних петухов*. 20 августа поят лошадей через серебро и потом скрытно кладут монету *в конюшне под яслями*, от чего лошади добреют, не боятся лихого глаза *и бывают в милости у домового*. Вспомним еще встречу домового с хлебом-солью на новом жилье. Таким образом, домовому приносили в жертву кашу, которая составляет необходимую принадлежность при поминаниях, деньги, которыми чествовали бадняк и которые зарывают в могилы, и петуха. *Петух* был самую любимую жертвою домового; чтобы утишить его справедливый гнев, *зарезывали кочета*, и он умиловлялся: становился по-прежнему добрым*. Причина такого посвящения этой птицы домовому понятна: пением своим кочет приветствует восхождение солнца, этого божественного благотворного светила, пред которым славянин упал с религиозным благоговением**.

Пением петуха крестьянин и теперь определяет продолжение ночи, оставшейся до утра; оно, предвещая свет, прогоняет темную, нечистую силу***. Петух был

* Жертвоприношение петуха названо кудесами позже, когда языческие обряды стали стираться, и вследствие того прежние мольбы и жертвы получили характер чар и заговоров.

** В окрестностях Спб. на Аграфену-Купальницу, когда празднуют, Солнцу *сожигают белого петуха*.

*** Крик петуха прогоняет нечистых.

птицею солнца, этого небесного огня, а потому и птицею домашнего очага и домашнего. Как домашнему приносился петух, так эта же жертва приносилась и умершим, по связи душ с очагом. Об этом принесении петуха в жертву умершим у славян прямо говорит Лев Диякон¹². Из самого обряда жертвоприношения уже ясна связь домашнего и петуха с огнем. Кровь из птицы выпускают на *голик*, который принадлежит к обыкновенным атрибутам кухни и печи*; каша, приносимая дедушке, ставится на *загнетке*.— Домовой считается поэтому покровителем *кур*. В честь его 1 ноября совершается особенное празднество, известное под именем *куриного праздника* или *куриных именин*. В этот день родственники и хорошо знакомые дарят друг друга курами, и эти дареные куры *содержатся в почете: их никогда не убивают, а яйца от них почитаются целебными*. В этот день собираются в *овине*, где *старший* член семьи *рубит у кочета голову* топором; ноги кочета бросает он на верх избы, *чтоб водились куры*; а *священное мясо съедают целою семьей за столом*. Известно, что куры начинают зимой нестись к Рождеству; потому-то 1 ноября в честь домашнего совершалась жертва, чтобы куры водились и неслись. Жертвоприношение, как видно из преданий, совершалось *старшим из семьи*, место которого в позднейшее время заступил *знахарь, ведун, колдун*. Религиозное богослужение в семье принадлежало родоначальнику, старшему; он обращался с мольбами и жертвой к очагу; от того за ним оставалось имя *огнищанина (жреца от жреть — греть, гореть)*.

Когда забывали в урочное время ставить домашнему жертву, он делался *лихим*: люди заболели, скот худел, со всех сторон грозила напасть. Это было наказание за презрение охранительного божества, за неуважение душ предков, что по тогдашним убеждениям составляло самый тяжкий грех. Но кроме того, свой домашней становился *лихим* и от другой причины. По народным преданиям, сохранившимся у нас, *30 марта* домашней *бесится с ранней утренней зари до полночи, пока запоют петухи*. В это короткое время он никого не узнает из своих домашних; потому ночью боятся подходить к окну, а домашний скот и птиц с захождением солнца запирают. Вдруг *встоскуется* домашней *невесть почему*,

* Вероятно, первоначально кровь брызгали прямо на пламя.

говорят простолюдины, и злятся на все; лошадей забьет под ясли, перекусает собак, коров от еды огобьет, все раскидает, подкатывается под ноги и пр. Бывает с ним такая перемена или потому, что *с весною спадает с домового старая шкура, или находит на него чума, или захочется ему жениться*. Отчего же бесится домовый в это время года? Различные объяснения, какие находим этому верованию у простолюдинов, с одной стороны, указывают на затемнение языческих преданий, с другой, на различные условия бешенства домового, оставшиеся в памяти поселян — одно в одном месте, другое в другом. Бешенство домового объяснится само собою, если припомним его связь с душами умерших предков. С весною, когда природа призывалась к новой и полной жизни, покойники, по народному преданию, начинали скорбеть о своей прежней жизни и желать свидания с своими потомками. Весной, по Стоглаву, *жгли солому и кликали умерших**. Домовой также тоскует о прошлой жизни: ему хотелось бы жениться! Такая тоска по жизни тем сильнее была, что совпадала с самым свежим, юным развитием сил природы. С первым весенним месяцем животворные силы возрождаются с большою стремительностью; леса и поля *одеваются новою зеленью*. Солнце, при повороте своем на лето, *наряжается в праздничный сарафан и кокошник*. В таком мифе выражено возрождение теплой творческой силы солнечных лучей; то же верование о возрождении с весною было перенесено от огня небесного на *очаг домашний*. В декабре месяце, когда совершается поворот солнца, уже кличут весну; самый декабрь назывался *просинец* (просинеть, прояснеть)**; в конце его с торжественными обрядами возжигали бадняк и приносили очагу жертвы. Но это было первоначальное празднество в честь первым обнаружившимся условиям жизни в природе. Весна собственно начиналась с марта, с него начинался и языческий год славян; в марте повторялось кликанье весны и начинались летние праздники. В ста-

* С 1 марта начинается у всех славян (у запад.— с *факелами*) посещение могил. На Радунцу¹³ умершие сами посещают своих родных.

** Сobotка, слово, употребляемое вместо коляды, у поляков значит радостный огонь; «на коляду огонь частное достояние домашнего очага; каждый дом должен иметь свой особый огонь. На нем гадают».

рину у нас 1 сентября *старик* тушили *старый огонь* в печи, а с зарею разводили *новый* чрез трение *сухого дерева*: такой огонь назывался *Царь (Князь) — огонь, живой огонь*. Любопытно, что с этим обрядом сходится переселение в новый дом, которое также бывало первого сентября. Мы думаем, что обряд этот, вместе с празднованием новолетия, был перенесен к 1 сентября от марта, вследствие христианского влияния*. Таким образом, как в декабре торжественно возжигали бадняк, в знак просветления (просинения) неба и всей природы; так в марте тушили на очаге *старый огонь* и возжигали *новый*, в знак возрождения творческих сил жизни. С зарею, с этим первым светом весеннего солнца, трением добывали *живой огонь* *старшие* в семье и полагали его на очаг. Когда очаг олицетворился в домовом, тогда это возрождение выразилось в нем *переменою шкуры*. Облекая идею в форму пластическую, снятую с видимого, внешнего мира, ум человека придавал своему олицетворению все признаки, которые связываются с даваемою им формою в действительности жизни. Это часто не только не объясняет, но затемняет для потомков ту мысль, которую живо понимали предки. Из всех преданий видно, что домового представляли себе в образе человека, но покрытого шерстью (мохнатого): отсюда объясняется, почему прикосновение мохнатого означает в гаданиях счастливую и богатую жизнь, отчего вывороченный тулуп и куньи или другие хвосты употреблялись на свадьбах и в других случаях, как вернейшее охранительное средство против чар и бед. Менял шкуру *домовой* в *состоянии болезненном*, на что указывают примеры из жизни различных линяющих животных, и то предание, по которому бешенство домового объясняется поразившею его чумою. Итак, *домовой* в эпоху возрождения сил природы чувствует большую полноту собственных жизненных сил и начинает тосковать по прошлому: тоска его выражается в разрушительных действиях и начинает высказываться понемногу вместе с поворотом солнца. Еще 2 января предпринимают меры для сохранения курников; в этом месяце его задобривают жертвою; в феврале он заезжает уже лошадей. Впоследствии вместе с этою

* Это подтверждается еще тем, что в последний вечер сырной недели, приближающейся к марту, считают грехом разводить огонь и зажигать свечи.

ближайшую причину тоски и бешенства домового соединили мену шкуры.

Но кроме дедушки-домового, есть предания и о других языческих божествах, носивших почетное имя *дедушки*. Водяной постоянно называется дедушкой; тем же названием чествуют иногда и лесовиков. Все это указывает на влияние родового быта в области религиозных убеждений славян и на то знаменательное явление, что славянин всюду — и в лес и на мельницу (к воде) — переносил свою веру *в род*. Остановимся на *водяном*, который сохраняет близкое сходство с домовым. Славяне обожали стихии и между ними воду; домашний колодец, ключ, источник, у которого селился род, был священным семейным божеством, подобно очагу, только в другой стихии. Это обожание с дальнейшим развитием язычества олицетворилось в образе *водяного-дедушки*, с которым, следовательно, связалось поклонение роду*. Владычество водяного явственнее всего обнаруживается на водяной мельнице, следовательно, там, где семья поселилась близ воды, где ей необходима сила воды. Водяной живет близ мельничного колеса и храпит хозяйство и покой мельника и рыбака. Это также идеал заботливого хозяина: он бережет поселянина в бурное время на воде, перезывает рыбу из *чужих* рек в *свою*, стережет летом гусей, смотрит за бреднями и пр. Летом водяной бодрствует, а зимой спит, ибо зимою лед оковывает воду. Весною, когда начинается новая жизнь, когда домовый меняет шкуру, водяной просыпается *голодный и сердитый*. В этом предании прекрасно выражена мысль о пробуждении от зимнего сна природы; с полным разгулом несется река, ломая оковы льда и напором полой воды и льдин снося мосты, чаши, мельничные снасти и пр. В это время водяного ублажают убиением лошади, которой голову обмазывают медом, а в гриву вплетают *красные ленты, черную свинью и гуся*. Как домовому посвятили кочета, так водяному был посвящен гусь, которого приносили в прощальный дар дедушке-водяному в половине сентября, когда начинаются ощутительные признаки зимы и птица домашняя оставляет воду. Жертвоприношение и теперь в некоторых случаях соверша-

* Верование *в род*, высказывающееся в дедушке-водяном, имеет близкую связь с преданиями о мавках и русалках.

ет *старший*. Неуважение к водяному, непоставление ему жертв влечет за собою наказание: он разгоняет и замучивает рыбу, изводит гусей, ломает плотину и пр. Первоначально, когда роды жили «особе», каждый род, вероятно, имел свою воду и своего водяного, как имел и своего домового; ибо самые обыкновенные житейские нужды требовали поселения у воды. Но после, когда роды стали приходить в более близкие отношения и селиться вместе у одной реки, тогда естественным путем водяной стал привязываться к семейной или родовой мельнице, следовательно, предания о злом водяном, заговоры против него и обряд его изгнания должно относить к *чужому* водяному, тем более что в родовом быту *чужой* и *неприятельный* (враждебный) синонимы.

ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ «ДОМОСТРОЯ»

Русская история недавно приобрела драгоценный памятник «Домостроя». Сохранившись во многих списках, он составлял принадлежность библиотек и кратко обозначался в каталогах рукописей. Библиографы не знали или забывали его важное значение — и памятник этот был недоступен для занимающихся наукою. Во «Временнике», издаваемом императорским Московским обществом истории и древностей российских (1849, № 1), покойный член этого Общества, Д. П. Голохвастов¹, впервые обратил внимание ученых на «Домострой» и напечатал его по четырем спискам, но не вполне. Кроме 64-х глав, изданных г. Голохвастовым, в списках «Домостроя» находятся два любопытных дополнения: а) «Книги во весь год в стол ествы подавать» и в) «Указ свадебному чину». Дополнения эти были сообщены г. Забелиным и напечатаны во «Временнике» (1850 г.) № 6; сверх того, «Указ свадебному чину» еще прежде был издан г. Сахаровым («Сказки русского народа», т. II, кн. 6, стр. 107).

Полное заглавие памятника по одному списку такое: «Книга, глаголемая Домострой, имеет в себе вещи, зело полезны, во учение и наказание всякому христианину, мужу и жене, и чадом, и рабом, и рабыням». Из этого краткого указания на содержание уже виден высокий интерес памятника. Он превосходно раскрыва-

ет перед нами домашнюю, обиходную жизнь русского человека XVI и XVII столетий, во всей ее безыскусственной простоте, со всеми ее правилами благоразумия и приличий. Здесь рассказаны и отношения членов семьи, и система воспитания, и все хозяйственные заботы (как заботиться о прибыли, смотреть за амбарами, ледниками, поварнями и проч., как ставить мед и пиво, солить и заготавливать впрок, как обращаться с слугами и т. д.). О столько интересном домашнем быте наших предков до сих пор мы знали только по сказаниям иноземцев, не всегда правильно передававших дух эпохи, потому что судили они о фактах по современным им понятиям — и отчасти по Котошихину², который, однако ж, не коснулся весьма многих сторон, может быть, мелочных, но необходимых для воссоздания полной характеристики прошлых веков. «Домострой» ничем не пренебрегает; оттого здесь в каждом слове веет духом прошедшего. Мы воспользуемся этим памятником и представим, в одной общей картине, домашний быт русского человека XVI и XVII века. Самый «Домострой» заключает в себе множество повторений и отступлений, скучных для читателя-неспециалиста, тем более что содержание «Домостроя» систематизировано чисто внешним образом. Г. Голохвастов признал «Домострой» сочинением знаменитого попа Сильвестра³ на том основании, что последняя глава этого памятника носит заглавие: «Благословение от Благовещенского попа Сельвестра, возлюбленному моему, единокровному сыну Анфиму». В одном из списков, принадлежащих г. Погодину, в 1-й главе сказано: «Благословляю я, грешный Сельвестр, и поучаю, и наказую, и вразумляю единокровного сына своего Анфима и его жену, Пелагею, и их домочадцов». Впрочем, решительно все равно, кто бы ни написал «Домострой», личных воззрений в нем не найдете: здесь записаны и переданы житейские правила благоразумия, общие целой эпохе. Последнее ясно доказывается характером самого памятника.

Действительно, «Домострой» был настольною книгою наших предков: он представляет сборник наставлений и правил, извлеченных из действительного быта и данных для жизни практической, как последнее слово современной мудрости. Как отвлечение от действительности, наставления и правила «Домостроя» носят

на себе характер своего века; как возведение действительности в нравственное определение для всех и каждого, наставления и правила эти являются наиболее развитыми, наиболее совершенными. В образах *доброго* отца-хозяина, *доброй* матери-хозяйки, *доброго* мужа, *доброй* жены, *добрых* детей и *добрых* слуг — «Домострой» рисует идеалы, как они представлялись тогдашнему человеку: это надо помнить. Но идеалы эти не только не чужды действительному быту, напротив, тесно с ним связаны: в них высказались лучшие воззрения современников, а самые формы и дух принадлежат тому веку. Последнее и дает «Домострою» особенную ценность.

На всем древнем быту нашем, особенно в сфере домашней, частной, от XV до XVIII столетия, лежал тип религиозный; во всяком шаге старого человека замечается религиозный обряд, во всякой мысли — освящение. Он ничего не начинает и не оканчивает без церковного напутствия и благословения: это потребность ума и сердца, которую встречаем мы и во дворце царей, и в домах бояр и всех сколько-нибудь зажиточных людей, которым, собственно, и подает наставления «Домострой». Некоторые иностранцы именно с этой стороны представляют нам набожную жизнь русских царей. Обыкновенно вставали они рано, часа в четыре утра. Когда царь оденется и умоется, к нему приходил духовник с крестом, благославлял его и давал поцеловать крест. Затем дьяк вносил в крестовую комнату икону с изображением того святого, который праздновался в настоящий день, и ставил ее вместе с другими; перед иконами ярко горели лампы и восковые свечи. Здесь совершал царь свою утреннюю молитву, после которой духовник окроплял его и образа святою водою, ежедневно присылашеюся из разных монастырей, ближних и дальних. Потом царь шел с боярами в дворцовую церковь к утренней и обедне; остальное время посвящалось государственным делам. То же подтверждают и Выходные Царские книги. Редкий день пропускал царь, чтобы не быть в церкви во время обедни и вечерни; он постоянно посещал церкви во время храмовых праздников и выслушивал здесь заутреню, обедню и всенощную; несколько раз в году цари наши, в сопровождении бояр, совершали пышные и торжественные походы (нередко пешком) в монастыри, на богомолье. Походы составляли

одну из самых характеристических сторон древней Руси, как это прекрасно раскрыто в интересной статье г. Забелина⁴. В дополнение к этой статье мы можем указать на 1-й том царских писем, изданных Археографической комиссией, где помещена полная переписка царской семьи XVII века во время похода к святым местам кого-нибудь из ее благочестивых членов. Цари часто совершали походы, по обещанию, «пешими стопами» и потому медленно, останавливаясь по селам отдыхать,— тем более, что дороги были дурные. «А идем, государь, мешкотно (пишет царь Михаил Федорович патриарху Филарету⁵), потому что дожди и снега идут многие и грязи великие», или «Для великово непогодья и грязей произволили есмя в Ростове дневати». С каждой стоянки путешественники извещали в Москву своих родных о своем походе и здоровье; вместе с тем нередко посылали бояр спрашивать о здоровье родных, оставшихся в Москве; а те от себя отправляли с подобным же поручением бояр к путешественникам. Таких посылок требовало приличие, и они почитались за особенный знак внимания. Нередко посылали при этом и подарки. Так, Михаил Федорович пишет к Филарету: «Да челом бью тебе, Государю, 220 яблок, и тебе б, Государь; пожаловать, велеть принять и кушать на здоровье» или: «Да челом бью тебе, Государю, 15 калачиков». В праздничные дни патриарх посылал к царю на дорогу протопопа с просвирой и святой водою. На пути к Троицко-Сергиевской лавре, куда особенно часто ходили наши цари на богомолье, в некоторых селах были устроены для царской семьи дома. В 1622—1623 годах дома эти за старостью были переделаны и поправлены; Михаил Федорович исправлял здесь во время похода в лавру новоселье: «Изволили есмя в Братошине (и в Воздвиженском) в новых хоромех быти новоселью». Патриарх присылал по этому случаю царю образ, хлеб и соболи. Михаил Федорович любил, останавливаясь на пути, потешаться рыбною ловлей: так, он посылал с дороги Филарету Никитичу «своей царские потехи рыбные ловитвы белужку, да пять осетров, да девять стерлядей»; в некоторых письмах пишет он, что «хочет потешиться в полях». Помолившись мощам св. Сергия⁶, царь возвращался в Москву, где ему приготовлялась встреча. На последнем стану встречали царя, царицу и их детей крутицкий митрополит и архимандриты с образа-

ми, а под Москвою — гости, гостиная и суконная сотни и черных сотен и слобод люди с хлебами и соболями; «и хлебы Государь принимал и отдавал на дворец, а соболи отдавал назад». По селам царское семейство встречали крестьяне с хлебами. Любопытны письма о встрече Филарета Никитича, когда он возвращался из похода. Вот письмо Филарета Никитича к царю: «Писали, Государь, ко мне твои Государевы бояре, а мои приятели, Иван Никитич Романов, да князь Иван Борисович Черкасской, да князь Борис Михайлович Лыков, а пишут с приложением и со многим челобитьем, чтобы им меня встретити, где им я велю: и о том, как вы, Государь, произволишь? а добро бы им, Государь, меня встретити верст за 8 или за 7. А будет, Государь, бояре и все меня похотят встретити и все думные, и вам бы, Государю, добро им поволити меня встретити от Белого города версты за 3 или за 4». Кроме того, патриарха встречали митрополит Крутицкий и черные власти в селе Танинском. В одном письме царя к Филарету читаем: «Написано, Государь, в твоей грамоте, что хотел ты быти к Москве в Троицын день: и в Троицын день тебе, Государю-отцу нашему и богомольцу, быти к Москве не вместитца, потому что день торжественной великой, а тебе, Государю, служити невозможно, в дороге порострясло в возку, а не служити — от людей будет осудно». В продолжение года было несколько праздничных дней, сопровождавшихся особенными религиозными церемониями: таковы действия новолетия, страшного суда и других; в праздники царь разделял свой обед с патриархом и властями.

Тот же характер замечается и в частном быту других лиц. Бояре и окольные, по известию Котошихина, имели свои домовые церкви и своих священников. Комнаты во дворце и у бояр были украшены иконописными изображениями; царь содержал нескольких нищих во дворце — «верховые богомольцы»; бояре имели своих нищих. Вообще в древней жизни на всех слоях общества замечается характер однообразия. Если было различие, то оно условливалось только политическим положением, большим или меньшим материальным благосостоянием: одни жили богаче, другие беднее; одни имели такие права и знали такие удобства жизни, каких не знали другие. Но дух и формы быта оставались везде одинаковы. Как строился боярин, так строился

и крестьянин; у первого комнаты были больше и светлее, но расположение их основывалось на одинаковых технических приемах. Одни обычаи и поверья жили во всех сословиях; так, свадебные обряды в царской семье и в простонародье были до малейших подробностей тождественны и т. д.

«Домострой» верно отразил в себе этот общий тип религиозный, лежавший на всяком явлении прошлой жизни. Советуя прибегать и припадать ко святительскому чину, он при всяком случае старается учить благочестию. По увещанию «Домостроя», крест, иконы и мощи должно целовать «по молении, перекрестясь, дух в себе удержав и губ не разеваючи»; просвиру «вкушати бережно, крохи на землю не уронити, а зубами просвир не кусати, якоже прочий хлеб: уломываючи невелики кусочки класти в рот, ести губами и ртом не чавкати»; целуясь с кем-нибудь «о Христе», также надо «дух в себе удержав, а губами не плюскати». «Поразсуди (говорит «Домострой»), человеческие немощи: нечувственного духа гнушаемся — чесночного, хмельного, больного и всякого смрада: кольми мерзко Господеви наш смрад и обоняние». Вот наставления Сильвестра сыну: прибегай всегда с верою к церквам божиим, не просыпай заутрени, не прогуливай обедни, не пропускай вечерни; заставляй служить в дому твоём всякой день часы, павечерницы и полуношницы.

Вот как представляет нам «Домострой» семью и домашнюю жизнь своего времени: хозяин-господин должен утверждать свою жену, детей и прислугу «в законном жителстве и в страхе божием» — «наказующе ни нужею, ни ранами, ни работою тяжкою; *имеюще яко дети* во всяком покое: сыты и одеты, и в теплой храме (хоромах), и во всякой устрой». Это любопытное место прямо указывает на власть отца в семье и подчинение этой власти не только слуг и детей, но и жены: все они уравниваются пред этою патриархальною властью, как дети; отсюда понятна та тесная связь слуги с господином, о которой находим свидетельство еще у Маврикия⁷; ибо слуги принадлежали к семье господина, на что прямо указывает и название *домочадцев* (домочадцев — уменьшительное от *чада*, дети младшие). Господин с женою, детьми и домочадцами должны были ежедневно сходиться вместе в общую молитву: встав рано поутру, они сходились слушать заутреню и часы, а в

воскресные дни и праздники призывали духовных лиц и служили молебен; вечером снова собирались и слушали вечерню, павечерню и полуношницу, клали по три земные поклона и расходились спать.[...]

Господин — отец есть владыка семьи, которому все члены обязаны слепым повиновением и послушанием; непослушание влечет наказание. Власть эта, однако ж, была растворена родственною любовью и кровною привязанностью. После утренней молитвы жена советовалась с мужем о домашних нуждах; в это время приходил ключник и получал приказания о всяком обиходе, о ествах, питье и проч. Жена спрашивала мужа о разных семейных делах и домохозяйстве, как что делать, и во всем должна была ему «покоряться и творить по его наказанию». «И увидит муж, что непорядливо у жены и у слуг, ино бы умел свою жену наказывать всяким рассуждением и учить. Аще внимает — любить и жаловать. Аще жена по тому научению и наказанию не живет, ино достоин мужу жена своя наказывати и ползовати страхом *наедине, и понаказав — и пожаловати и примолвити; а мужу на жену не гневаться; а жене на мужа.* И слуги и дети тако же, посмотри по вине и по делу, наказывати и раны возлагати, да наказав пожаловати; *а государыни (хозяйке) за слуг печаловаться,* по рассуждению. А только жены, или сына, или дщери слово или наказание не имеет, не слушает и не внимает и не боится, и не творит того, как муж или отец или мати учат — ино плетью постегать, по вине смотря; *а побить не перед людьми, наедине:* поучити, да примолвити и пожаловати, а никак не гневаться ни жене на мужа, ни мужу на жену. *А про всяку вину по уху, ни по виденью (глазам) не бити, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колоть, никаким железным или деревянным не бить:* это с сердца или с кручины так бьет — многи притчи от того бывают: слепота и глухота и руку и ногу вывихнут, и перст и главоболие и зубная болезнь; а у беременных жен и детем повреждение бывает во утробе; а плетью с наказанием бережно бити: *и разумно, и больно, и страшно, и здорово.* А только велика вина и кручиновато дело — ино плеткою вежливенко побить за руки держа, по вине смотря, *да поучив, примолвити: а гнев бы не был, а люди бы того не ведали и не слышали.* Из этого ясно, что «Домострой» был защитником

и проводником лучших, более мягких отношений в семье, хотя он и вполне разделяет убеждения своего века о смысле и пользе наказаний. Он не позволяет такого обращения мужа с женою и детьми, от которого бывают *притчи*; требует, чтоб наказание совершалось наедине, бережно, вежливенько и чтобы посторонние о том ничего не знали; следовательно, «Домострой» защищает от поругания чувство стыда. Самые наказания рассматриваются им с точки зрения чисто патриархальной. По увещанию «Домостроя» наказание должно быть знаком родственного участия и любви, и потому должно чуждаться всякого личного произвола. Наказывай без гнева, говорит «Домострой», и после наказания приласкай и пожалуй виновного. Таким образом, наказание, в убеждениях людей того времени, представлялось практическим учением, наставлением. Отец более жил, более видел и знал. Отец, по тесной родственной связи, не мог не желать членам своей семьи добра и счастья. Следовательно, во всех отношениях, его воля — священна, его совет — полезен, его требование — благоразумно. Юноша еще неопытен; если он ослушивается — то заслуживает наказания, которое вместе с возмездием служит уроком на будущее время; жена также неопытна, потому что менее соприкасается с общественностью и заботами о средствах жизни. Слово *наказывать* получило в нашем языке три значения: приказывать, учить и наказывать в тесном смысле, как ясно видно из употребления его во многих памятниках (наказ, наказная грамота; «наказуй ему добро» и др.). Отец дает совет или приказывает; его слова служат наставлением, учением, наукою; неисполнение этих слов влечет наказание, с подтверждением исполнять сказанное прежде. Самое слово учить значит в нашем языке еще наказывать, бить: доказательства можно найти во многих народных песнях. Таким образом, в наказании выражалось желание выучить добру, а желание такое указывало на особенную родственную любовь.

Дети обязаны были уважать и беспрекословно слушаться наставников и родителей: «Аще ли кто злословит, лаает или бьет отца и матери, от церкви и всякой святыни да отлучится и лютою смертию и градскою казнию да умрет». Патриархально-родственные основы в частном быту XVI и XVII столетий были очень свежи и живы. Воспитание детей завершалось браком, кото-

рый особенно уважался, как подпора рода. «На совершене возрасте добрые люди женят сынов своих *по своей версте* (местнический термин), а дочерей отдают замуж», для чего с самого малолетства готовят для последних приданое. «Разсудны люди (говорит «Домострой»), от всякого приплода на дочь откладывают... а у полотен и ширинок (платков), убрусов (полотенцев), рубашек по вся годы ей в *опришной сундук* кладут, и платье, и саженье, и монисто, и святость (образа), и суды оловянные и медные» и пр. Дочери растут, а вместе с этим прибывает и приданое, и как сговорят замуж — «ино все готово». До самой свадьбы родители обязаны были строго и **тщательно** смотреть за нравственностью дочери; после **обязанность** та переходила к мужу. «Аще бо отдаши **дщерь** свою без порока, то яко дело совершиши, и **посреди собора похвалишися**». Во время свадьбы, на пиру молодых приданое выставлялось на показ гостям, чтоб они видели, «чем наделил родимый батюшка с матушкой в замужество», несколько ранее смотрел приданое по росписи тысяцкий. «Весь тот чин и порядок (по свидетельству «Домостроя») устроен *старыми людьми* не даром, а с добрым смыслом, чтоб лихие люди не сказали: что-де у молодой есть?»

Муж являлся в семье главою: ему принадлежала власть высшая, распорядительная; он вел счет прихода и расхода; в его руках были деньги, и он распоряжал покупкою. Собственно заботы о внутреннем домашнем хозяйстве, со всеми его мелочами, надзор за слугами, кухню и амбарами, были делом жены. Проснувшись рано утром, она задавала **девкам** дневную работу; а потому ей нужно было самой хорошо знать, как заниматься рукоделием, как варить, сеять муку, замесить, испечь, сколько и для чего нужно припасов. Начиная всякое дело (готовить пищу, шить и пр.), должно вымыть руки, поклониться перед иконами три раза и прочесть молитву. Хорошая, домовитая хозяйка и сама встает рано, да шьет золотом и шелком, и слуганок рано будит, да дает ткать холсты и полотна, которыми одевалась целая семья.

Чрезвычайно интересны правила бережливости и экономии, передаваемые «Домостроем»; от них так и веет современною этому памятнику жизнью. Можно, впрочем, заметить, что многие из этих правил до сих пор считаются непогрешимыми в отдаленных местах

России. Когда будешь печь хлеба, говорит «Домострой», тогда заставляй и платья мыть: «ино и дровам не убыточно», а когда печешь хлеба, тогда можно и пироги начинить; станешь ли кроить белье и платье детям, загибай матери по швам и в подоле: подрастут дети — можно будет отпустить; а обрезки собирай в маленькие мешочки и прячь на случай: может, и пригодится. Главное правило: «по приходу и расход держать». Это одно. Сверх того, необходимо, чтоб «всякому рукоделью у мужа и у жены всякая бы порядня и снать была своя и плотницкая, и портново мастера, и железная, и сапожная, и у жены бы всякому рукоделью и домовитому обиходу была порядня своя. Ино, что себе ни сделал, и никто ничего не слыхал. В чужой двор не идешь ни по што». Таким образом, у всякого домовитого хозяина было все свое; в семье между многочисленною прислугою были даже свои ремесленники: портные, сапожники, кузнецы, плотники; семья сама себя одевала и обшивала: все было самодельщина. Ясно, что ремесла заключались в отдельных семьях, ограничивая их естественными потребностями и находясь вне всякого соприкосновения с обществом; следовательно, они не были и ремеслами в истинном смысле. Такое состояние поддерживалось исключительностью быта или, лучше, неразвитостью общественных отношений. Входить в сношения с чужим человеком считали и опасным, и не так выгодным. За чужой труд надо заплатить. На том же основании старинный человек боялся и купли: свое казалось ему дешевле, ибо не требовало из кармана денег: расчет, как известно, не совсем верный, но с первого взгляда представляющийся самым справедливым и весьма понятный там, где промышленность еще в неразвитом состоянии. В старину покупал только тот, кто не имел ни вотчины, ни поместья. Таким, говорит «Домострой», надо все припасы (хлеб, мясо, капусту, рыбу, огурцы, грибы, фрукты и проч.) покупать в годовой запас и засекал в лед глубоко, покрывая лубками: покупать разом на целый год — будет дешевле, нежели по частям. Нужно ли сжарить баранины — покупай целого барана и зарежь его дома: овчины можно скопить на шубу, «а бараний потрох прибыль на столе, потешенье; у порядливой жены и у лоброго повара много промысла: из грудины ушное нарядит; почки начинит; лопатки изжарит; ножки яички начинит; печень, изсек-

ши с луком, переланкою обвертев, изжарит на сковороде; легкое молочкою с мукою и яички приболтав нальет; а кишечки и проч. И так делати, ино из одного барана много прохладу». Закупки для дома делал или сам хозяин, или посылал дворецкого и ключника, выбирая для того выгодное время, когда бывает товару большой привоз. «Коли бывает чего много и дешево — в те поры и закупить на весь год; а не в пору купити — двой деньги дати». Притом надо уметь и торговаться по-долее. А сторговавшись и заплатив деньги, не худо «и почестку учинить продавцу хлебом-солью и питьем, смотря по купле: в том убытку нет; дружба, да вперед познать: всегда мимо тебя товару доброго не продаст и лишнево не возмет». Впрочем, гораздо лучше избегать купли, «у промышленного мужа и жены всегда прохлад и себе, и семье, и гостям: *по што в торг — и ты в клеть*». Если водить дома гусей, уток и кур — то на целый год с годовым запасом. Домовитая хозяйка не затруднится, как и чем их кормить: она собирает крохи, объедки, высевки, отруби, гущу и пр. и тем кормит не только домашнюю птицу, но и лошадей, и коров, и свиней, и собак: «себе не убыток, а приплоду и прохладу много, а не в торгу куплено». А когда хозяин сам покормит лошадь таким кормом: «ино будет то ей за овса место».

При покупке годовых запасов естественно, что многие припасы должны были портиться. «Домострой» и в этом отношении хочет соблюсти экономию: лучшие припасы «блюсти вдаль, а что попортилося, ино наперед изводити (есть) и в заим давати и милостыню, и нужным (больным), а толко много, ино упродать; а который свежей, сухой в береженье стоит — ино то вдаль блюсти». То же говорит «Домострой» и о фруктах, «залитых в патоку».

Мы заметили выше, что на хозяйке лежали все мелочные домашние заботы. Она должна была смотреть за чистотой и опрятностью в доме, чтоб комнаты, лестницы и крыльца — все было «измыто, и выскреблено, и вытерто, и сметено», столы и лавки были бы вытерты, ковры по лавкам разостланы, а на печи выметено: «спать на ней хорошо». Она обязана была наблюдать, чтоб сосуды были вымыты, чтоб в сундуках и коробах все было уложено «хорошенько, и чистенько, и беленько»; лучшее же платье и монисты держала бы в осо-

бых сундуках, за печатями и замками, а ключи от них хранила бы в ларце. Перед крыльцом надо было класть сено, а перед дверьми рогожку, чтоб всякий проходящий мог вытереть свои грязные ноги. Воду хранить в чистоте; для домашних животных, коров, собак и кур и проч. иметь особые суда, «а чистых судов не погани-ти». За всем этим хозяйка должна была надзирать каж-дый день, и детей своих и слуг учить «добром и лихом, а не имеет слово — ино ударить». Так, например, если что нехорошо сварено или испечено: «и о том бранить на повара и на хлебника или на жены, которые стря-пают», припасы выдавать по счету, чтоб все было бережно и не раскрадено; а «на погреб и на ледник, и в сушило, и в житницы без себя никою не пускати», и сколько чего будет выдано, то записать на память. Также считать и записывать все, что будет куплено.

Двор должен быть огорожен крепко и ворота всегда затворены, на ночь запирать их замком; а собак иметь «сторожливых», хозяин вместе с женою должен каж-дое утро и каждый вечер осматривать: целы ли замки на амбарах, чуланах и проч.

Дворовых людей стараться держать рукодельных, ни воров, ни бражников и ни чародеев, и заставлять их беречь господское платье, а которые не берегут, у таких «нечювственников» отбирать его и хранить у се-бя; а когда будет надо — на то время выдать. А дер-жать дворовых людей в чести, грозе и дозоре, чтоб хозяйки слушались и повиновались ей во всем: достав-лять им все необходимое и заботиться о них, *яко же-на о своих чадах и о присных*. «Домострой» советует иметь дворню по силе, то есть по состоянию. В рассмат-риваемую нами эпоху было в обычае окружать себя многочисленную дворню, что отчасти условливалось необходимостью иметь при себе самых разнообразных мастеров и ремесленников. В XVII веке этот обычай так был укоренен, что самое приличие требовало мно-гочисленной дворни, и чем она бывала больше, тем больше придавалось известному дому важности и весу. Котошихин говорит, что бояре и ближние люди держа-ли при себе от 100 до 1000 дворовых людей обоего по-ла. «А только людей, говорит «Домострой», держать у себя не по силе и не по добыткам, а не удоволити ест-вою и питьем и одежею: ино тои слуги, мужики или женки, или девки, у неволи заплакав и лгать, и красть...

и в корчме пити». Доверять слугам «Домострой» не советует; он требует, чтоб хозяйка держала себя в некотором отдалении от слуг и пустошных и пересмешных речей с ними не говорила бы. Надо запрещать слугам, чтоб они вести из дома в дом не переносили: «Где в людех были и что видели недобро, тово дома не сказывали бы, а что дома деется, того бы в людех не сказывали». — «А который ненаказанный (т. е. которому не делано наставления) и нечувственный раб или рабыня, куда его пошлют, и толко где его не почтят и пити не дадут, и он на подворье вся нелепая сказывает про мужа и про жену. *А где люди лукавы и глупого слугу подпоят и из ума выводят, и спрашивают про государя и про государыню* (господина и госпожу), и безумный все говорит, что и невместно сказати, и лишнее прилыгает». Когда посылаешь куда-нибудь слугу, то надобно наказать, что ему говорить и что сделать; а чтоб не забыл, то отпустивши воротить назад и спросить: что тебе приказано? Если посылаешь что с слугою, то не худо посылку смерить или счесть и запечатать: «ино безгрешно». Любопытен рассказ, как должен был входить в чужой дом посланный от своих господ слуга: подойдя к воротам, он должен был поколотить в них легонько; а в сенях вытереть грязные ноги, высморкать нос и откашляться; затем «искусно сотворити молитву, а только аминя не отдадут, ино и в другое и в третье молитва сотворити, побольше первого; а ответа не отдадут, ино поколотиться. И как впусьят, вшед св. иконам поклониться и от государя челобитье и посылки править — ино в ту пору носа не копать перстом, ни кашлять, ни сморкать, а стоять вежливенько». За добрую службу можно слугу *пожаловать питьем и ествою, и своим платьем*, а за лень — побить; не берут побоя, «ино накормив да с двора спустить (здесь говорится о наемных), чтоб иные на такова дурака глядя не испортились».

Волхвов с кореньями и зельями, которые составляли принадлежность этой эпохи, и баб-торговок, промышленявших не совсем приличным ремеслом, «Домострой» советует не принимать. Вместо суеверных средств, употреблявшихся в болезнях, он предлагает молитву и молебны.

Посмотрим теперь на обеды и пиры наших предков. «Домострой» говорит, что обедать надо в пору — не ра-

но и не поздно; за столом сидеть, сохраняя молчание или ведя приличную беседу, а кушаний не хулить: «Не подобает глаголати: гнило или кисло, или пресно, или солоно; но подобает похваляти, как дар божий». Жене тайно от своего мужа не есть и не пить. Хозяин мог жаловать добрых слуг кушаньем и питьем с своего стола, а у хозяйки «мастерицам и швеям *потому же: сама за столом их кормит и подает им от себя*». Вот прямое свидетельство, что в других слоях общества существовали те же подачи, которые встречаем при царском столе и которые там раздавались боярам, как выражение государева благоволения. Кушанья были у зажиточных людей многочисленны, но при этом много значило приготовление: одну баранину могли приготовить на множество разных блюд; то же должно сказать и о других мясных яствах. За стол являлась целая вереница ботвиней, лапшей, штей, ухи, взваров и проч. Самою любимую и употребительною приправою служили лук, чеснок, шафран, перец и даже чабер. «Домострой» представляет целые книги с означением, в какой день и что подавать в продолжении года. У бояр ежедневно выдавалась роспись, что готовить к столу, как это видно из росписей столового обихода боярина Б. И. Морозова. Великий пост и особенно страстная неделя соблюдались строго; за стол подавали: хрен, редьку, грибы, капусту, гретую с маслом, икру, кисель и проч. «А кои люди подвижные к богу», те еще более воздерживались. Масло, приправлявшее постные кушанья, было ореховое или конопляное. Кушанья, заменявшие пирожное, были сладкие пироги, оладьи, сырники, манты, хворост, кундубы, такмачи, левашники; упоминается «долой пирог подóвой *Ворсуновьевской*». Десерт главным образом состоял из редьки, арбуза, дыни, яблок и ягод, заваренных в сладкой патоке: «а сладки живут вишни в патоке перепущенной», также из пастил и проч. В конце одной росписи Морозова прибавлено: «слугам тож». Когда случалось давать большой пир, то для отпуска кушаний за стол приставляли особенного «добрého человека», а у поставца, у питья и судов, другого, также «добрého бережного» человека. Сходство с порядком тогдашних царских столов самое близкое: причина заключалась не в подражании дворцовым обычаям, а в одних исторических основаниях всего быта, во всех его сторонах. Если *молодые* собирались сделать

пир (*свадебный отвод*), то должны были призвать *старого* человека, угостить его по среднему наряду, подать ему хлеб-соль на полотенце и просить, чтоб он позвал на пир родственников молодой четы и знакомых; родных звать *по старшинству*: кого прежде, а кого после. Назначение, кого пригласить на пир, зависело от молодого, а молодая не имела здесь голоса: «ино то не женское дело; да и не стать в слух при людях своим умом наказывать. *На то есть глава — муж законный*». Молодые встречали гостей с поклоном и усаживали их по старшинству, чтоб было не обидно. Молодой угощал (чествовал) родню женину, а молодая — родню мужнину; а сами за стол не садились: «будет в людях покор». Обходя с чарою, молодой должен был говорить: «*ум наш не созрел*; буде что состряпано и сварено не по обычаю, ино нам прости для радости и молодости. *Состареемся — научимся*». Старой гостье подносить чару при всех: «ей та чара не в укор»; а молодую гостью вызвать после обеда, будто на совет, в другую комнату да там одной и поднести чару с поклоном и почетом: «а то все делай в утай, чтобы было без зазора и без укора от злых людей». После обеда хозяйка «уряжает» стол *ествами сахарными*, сладостями и вареньями, а «молодому знать свое дело: усаживать гостей у поставца и чествовать их напитками вдоволь и по разуму на славу и почесть». «*Всему тому (по отзыву «Домострой») есть обычай испокон века, да и дело то не писаное, а уложено старыми людьми недаром* и должно вершиться без всякия порухи, что не было на смех и позор».

В гости часто ходить «Домострой» не советует; но необходимо посещать родных в дни крестин, именин и больших праздников; жена может идти в гости не иначе как с позволения и по разбору мужа. Собираясь в гости, а равно и в праздничные дни — наряжались в лучшие платья; у женщин при этом большую роль играли белила и румяна. Когда женщина отправится в гости или к ней придут гости, то беседу вести о рукодельях и домашнем устройении, а «дурных и пересмешных» речей не слушать; чего не знает сама, о том спрашивать других вежливо; а после обо всем рассказать мужу. Пьяного питья женщине надо остерегаться: «*пьяный муж дурно, а жена пьяна в миру не пригоже*». «Егда зван будеши на пир (говорит «Домострой»), не мози упиватися до пьянства, ни поздно сидети; занеже

во множестве пьянстве и в должем сидении **бывает брань и свара и бой притчею**. «Напившись пьян, не дойдешь и до дома спать, а на пиру где пил, там и заснешь, и платье на себе загрязнишь и колпак или шапку потеряешь; а будут в мошне деньги — вынут». «А от людей срамота, и молвят: где пил, тут и уснул». Если и поедешь домой пьян, то не доберешься до дому, а заснешь на дороге, и «соймут с тебя все платье, не оставят и срачицы (сорочки)». В старину любили веселиться и пить, а потому наперед заботились о мерах предосторожности: во время пира назначался хозяином особенный «бережный» человек, который обязан был смотреть: «не окрали бы чего (на дворе), и *гостя пьяново беречи, чтоб не истерял чего и не избился*, и брань бы не была ни с кем».

Такую полную картину частного быта наших предков, с их набожностью, уважением старших, с их приличиями и любовью повеселиться, рисует нам «Домострой». Надеемся, что из этого обозрения ясно раскрывается важное значение этого драгоценного памятника; подтверждение его свидетельства другими источниками, например, букварями, Котошихиным и проч., прекрасно говорит за действительность быта, изображаемого «Домостроем».

РЕЛИГИОЗНО-ЯЗЫЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗБЫ СЛАВЯНИНА

Славянин вследствие естественных условий, определивших первоначальное развитие его быта, был по преимуществу человеком *домовитым, семейным*. В кругу родной семьи или рода, который представлялся тою же семьею, только разросшеюся, проходила вся его жизнь, со всем ее обиходом и со всеми торжествами; в семье сосредоточивались самые живые его интересы и хранились самые заветные предания и верования. Оттого *изба*, в которой жило семейство славянина, имела для него великое значение. Как место, свидетельствующее о быте предков, изба должна была пользоваться и особенным почетом; но, кроме того, изба была местом пребывания пената и совершения различных религиозных обрядов. Любопытно проследить те языческие верования, какие славянин связал с своим жилищем.

Свидетельствуя о первоначальном быте славян, Нестор говорит, что они жили родами; каждый род на своем месте — особе, то есть разъединенно. Отдельный род представлялся сожитием вместе нескольких семей, связанных кровными узами родства и властью единого родоначальника. Поздние остатки от такого патриархального быта, принадлежавшего глубокой древности, до сих пор встречаются в некоторых славянских племенах, мало или вовсе не испытавших влияния цивилизации. Еще теперь жилища сербов представляются рассеянными по долинам и холмам; каждое жилище составляет свой отдельный мир, и сообщения между этими жилыми местами довольно затруднительны. Сербские семьи, принадлежащие к одному роду, живут вместе: каждый сын приводит свою жену под отцовский кров, получая отдельную комнату, *но для всех, и для старых и для молодых, очаг и стол один.* Все члены огромной семьи живут, как рой пчел в одном улье; разделы неизвестны. В Славонии¹ сохраняется тот же патриархальный быт. Члены семейства живут нераздельно — *вместе, под управлением одного домовладыки (господаря),* потому там часто встречаешь *семейство, состоящее из шестидесяти и более душ и проживающее в одном доме.* Каждая соединенная браком чета живет в особенной клети; но так как *клетки построены без печей,* то на зиму все перебираются в одну общую теплую избу, причем каждая чета переносит и свою кровать, таким образом, в избе собирается кроватей до двенадцати и более. Господарь и хозяйка (родоначальник и жена его) управляют домом, распределяя между всеми его членами различные занятия; имущество составляет общую собственность. О славянах фриульских² мы имеем следующее любопытное известие: большею частью они живут, не разделяясь, по нескольку женатых сыновей и замужних дочерей вместе. *Изба у них всегда черная, закоптелая от дыма* (то есть курная); утром и вечером, когда топится печь, она *наполняется дымом.* *Кругом избы стоят лавки, а в середине или в стороне каменный помост, на котором раскладывается огонь.* Над этим помостом или очагом висит котел, в котором готовится для всего семейства общая пища: Рядом с такою теплою избою стоит другая, без печи и с постелью. Вспомним житье великорусской крестьянской семьи, и мы найдем много общего с приведенными нами

описаниями. «У русских,— говорит покойник Пассек³,— есть семейства из пяти и шести женатых братьев, которые с женами и детьми живут в одной избе или, по крайней мере, на одном дворе; все заодно работают и все повинуются или старшему брату, или отцу, или даже деду, который часто едва двигается с места, но не отрекается от семейной власти, от своего первенства. Все невестки в послушании у одной старшей или у самой матери их мужей». Таким образом, в избе помещается несколько поколений. Избы у русских крестьян часто попадают курные: дым выходит в волоковое окно или в растворенную дверь. Большая печь в углу и полати составляют необходимую принадлежность всякой избы.

Из представленных сейчас указаний наглядно раскрываются некоторые характеристические черты древнейшего первоначального быта славян. Они селились разьединенными, обособленными родами. Каждый род, соединявший в себе несколько родственных семейств, помещался в одной избе или, если слишком размножился, в нескольких холодных срубках (клетях), построенных вблизи теплой избы или даже пристроенных к ее стенам. Во всяком случае очаг оставался *единый* для всех, а приготовленная на нем пища составляла *общий* обед и ужин. Явление это весьма знаменательно. В отдаленное время язычества огонь, разведенный на домашнем очаге, почитался божеством, охраняющим обилие дома, спокойствие и счастье всех членов семьи или рода. От огня, возжигаемого на очаге, обожание должно было перейти на самый очаг; оба эти понятия действительно слились в одно представление родового пената. Таков характер первоначальных народных верований, которые чужды строгого анализа и обыкновенно сливают явления, хотя различные, но почему-либо тесно связанные между собою. Старинная загадка, означающая *печь, огонь и дым*, все эти понятия представляет в близкой родственной связи. Загадка эта произносится так: *мать толста, дочь красна, а сын под облака ушел**.

* Славянин все представления свои облекал в патриархальные родственные формы: самые божества света являлись ему одною семьею:

Красно солнце — то хозяин в дому,
Светел месяц — то хозяйка в дому,
Часты звезды — то малы детушки.

В глубокой древности каждый род у славян имел *своего* пената, и этим пенатом был *очаг*. Разумеется, если род делался через нарождение слишком велик, то несколько семей могли отделиться от него и основать свое особое жилище с своим очагом.

В религиозном значении очага кроется филологическое и археологическое объяснение многих слов и понятий, принадлежащих нашему языку и тесно связанных с предметом настоящей статьи. Создаваясь в эпоху образования языческих верований, слово запечатлело в себе характеристику древнейших представлений. Название *изба* первоначально означало только ту *теплую* часть жилища, в которой был поставлен очаг; а потому необходимо отличать избу от *светлицы* (*клетки*); последняя всегда строится через сени, насупротив первой*. *Изба*, в древнем языке Нестора — *истопка* (*истба*), происходит от глагола *топить* (из-топить). Славянин дал своему жилищу название от того священного, в глазах язычника, действия, которое совершается на очаге. Точно так же слово *дым* у Нестора и даже теперь в некоторых провинциальных наречиях употребляется в значении дома, жилища**. Такое название, кроме религиозного смысла, обращает на себя внимание по своей меткости, потому что избы у славян долгое время были *курные* (без труб). В связи с этим название *огнищанин*, означающее главу рода, происходит от слова *огнище* (*огниско*), которое во многих славянских наречиях употребляется в смысле *горна, очага*, а в лужицком и польском в смысле *дома, жилища*. Огнищанин — владетель дома, или, еще ближе, владетель очага. От этих данных мы приходим к тому простому заключению, что вся *изба* в глазах славянина-язычника получила особенное освящение от очага. Большой или меньший почет к различным частям и атрибутам избы условливался большею или меньшею связью их с этим пенатом, охраняющим счастье целого дома. Очаг домашний был самое священное место; от него религиозный характер перешел на все жилище, в стенах которого возжигался на очаге обожествленный огонь. Изба для славянина

* Светлица делается *холодною, без печи, с красными окнами; над потолком ее земли не насыпают*. Здесь кладут у нас спать в первую ночь молодых. У других славян для новой четы пристраивают холодную клеть; для каждой семьи нужен особый угол.

** *Дымовник* — труба, *дымоволок* — окно.

была поэтому не только домом, в обиходном смысле этого слова, местом жилья; она представлялась ему таинственным капищем, в котором пребывало благодетельное светлое божество очага и в котором совершались обряды в честь этого пената. *Изда была первым языческим храмом.* Оттого слова *хоромы* (дом, жилище) и *храм* (освященное место богослужения) — филологически тождественны.

Действительно, первые жертвоприношения, первая мольба и первые религиозные очищения совершались в избе, пред очагом, что довольно ясно подтверждается остатками дошедших до нас обрядов. Огонь в домашней печи можно поддерживать только *приношением* разных сгораемых материалов, *пожираемых* пламенем: отсюда простым и естественным образом явилась *жертва* очагу. Наиболее торжественным жертвоприношением чтили очаг при повороте солнца на лето, когда зажигали в домашней печи с особенными обрядами бадняк*, а в разведенный огонь бросали хлебные зерна и лили масло, *испрашивая обилия в доме и плодородия* в жатвах и стадах**. Затем вся семья садилась за стол, и вечер, по неперемому обрядовому закону, оканчивался пиром. После ужина разбивали о землю опорожненные горшки, чтоб (по народному объяснению) *прогнать из дому всякий недостаток****. Горшок, в котором переносят на новоселье горячие уголья очага, также разбивается: как освященная участием в религиозном обряде, посуда эта должна быть изъята из обиходного употребления. По всему вероятно, из этих обрядов родилась примета, по которой разбить на пиру что-нибудь из посуды предвещает *счастье*****. Что первоначальные жертвоприношения принадлежали очагу — это убедительно доказывается тем фактом, что атрибуты кухни и очага — кочерга, помело, голик, ухват, лопата, сковорода и проч., получили значение орудий жертвенных и удер-

* У истрийских славян⁴ на Иванов день *кормят* чурбак, а потом его бросают в огонь.

** Связь очага с идеей плодородия наглядно выражается в следующем обряде: в Малороссии, во время сватовства, невеста *сидит у печи и колупает глину*, выражая тем свое желание выйти замуж.

*** Еще до сих пор накануне Рождества, вечером, хозяин дома садится на покуте, с правой руки его жена, а вокруг дети — и целю семьей съедают кутью из пшеницы или ячменя и взвар из сушеных плодов — яблоч, груш и вишен.

**** Примета эта смешалась со свадебным обрядом *бить посуду*.

жали это значение даже до позднейшей эпохи языческого развития*. Огонь очага *прогоняет нечистую силу* холода и мрака, а потому пред этим родовым пенатом производилось религиозное *очищение*, освобождающее от враждебных влияний *темной* силы. Так, от лихоманок и других болезней в простонародье лечат больного перед *печью, окуривая его дымом*, или дают больному выпить и умыться наговоренной воды, смешанной с *углем и золою*. Той же водой смывают у дверей притолки и косяки, чтоб не могли забраться в избу лихоманки и другие болести. Жертвоприношения и очищения должны были сопровождаться и в самом деле сопровождалась мольбою и другими обрядами язычества: гаданием и судом. При народном врачевании читаются над *золою и углем* заговоры — эти старинные прошения, обращенные к божествам; при возжении бадняка *молят очаг* о ниспослании урожая и довольства; по *пламени* очага, по расположению дров, *горящих в печи*, по *искрам*, разлетающимся от удара *кочергой*, по *головням, золе и зажженным лучинам* гадают о будущем богатстве, плодородии и счастье; наконец, до сих пор сохранился следующий обряд, по которому узнают виноватого: созывают всех подозреваемых в проступке и дают им *зажженные лучины* одинаковой меры: чья лучина скорее сгорит, тот виноват. Обожевленная стихия огня сама произносит в этом случае приговор, который почитается вполне истинным.

Изба, служившая первоначальным местом совершения религиозных обрядов, кроме постоянного пребывания в ней очага, освящалась еще нисхождением в нее других светлых богов. Сила жертвы и молений была так велика, что божества, призываемые славянином, оставляли небо и нисходили к нему в избу вкушать от жертвенных приношений, сжигаемых на очаге, и помогать в беде человеку. Славянин глубоко верил в силу заповедного слова своей мольбы и не раз обращался к небесным божествам света с таким призывом: «Месяц ты красный, *сойди в мою клеть*; солнышко ты привольное, *взойти на мой двор*», или: «*Сойди*, ты, ме-

* См. об этом в моей статье «Ведун и Ведьма» (в альманахе «Комета», 1851), и в «Архиве» г. Калачова (статья «Дедушка домовой») — о голике, на который брызгают кровью петуха, и помеле, которым изгоняют чужого домового. В этом последнем издании, в той же статье, смотри о других жертвенных обрядах в честь очага.

сяц, сними мою скорбь и *унеси ее под облака*». Отсюда родилось верование, что в избе может таинственно присутствовать вся боготворимая сила природы, или, по выражению старинной песни:

*Чудо в тереме показалось:
На небе солнце, в тереме солнце,
На небе месяц, в тереме месяц,
На небе звезды, в тереме звезды,
На небе заря, в тереме заря —
И вся красота поднебесная.*

Известно, что через трубу посещал избу *огненный змей* (персонификация молнии).

Таким религиозным значением избы легко объясняется славянское гостеприимство. Всякий странник, гость, вошедший под кров избы славянина, вступал под защиту очага. Нанести ему обиду — значило нарушить уважение к святыне избы, этого первоначального храма. Даже враг, преступник, прибежавший к очагу, оставался неприкосновенным, потому что пролить кровь в избе представлялось самым ужасным грехом. У горцев враг-убийца, случайно зашедший под кров обиженного им рода, принимается с обычным почетом, несмотря на то, что долг требует кровавой мести; но когда он оставит гостеприимный кров — вдали от избы, его настигает пуля местника*.

При дальнейшем развитии язычества, когда начался антропоморфизм, очаг олицетворился в *дедушку-домового*, которого народ представляет себе так: домовый** любит принимать разные виды; но обыкновенно он является плотным, не очень рослым стариком, в коротком смуром зипуне или синем кафтане, с *алым* поясом — иногда же в одной рубахе; у него порядочная седая борода; волосы острижены в скобу, но косматы и застилают лицо; голос суровый и глухой; он любит браниться и употребляет при этом выражения чисто народные. Кто в этом изображении не узнает типа русского мужика? Миф, воплощаясь в образ, следовал живой действительности и до сих пор остался ей верен. Самое название *домового* уже показывает, что это пе-

* Все другие объяснения славянского гостеприимства — добродушием, желанием узнать новые сведения от бывшего человека и проч. — ничего не объясняют. Любопытно, что о гостях гадают по горящим в печи дровам.

** Другие названия: домовик, постень, лизун, в Сибири — соседко, в Архангельске — хозяйнушка.

нат — охранитель дома, каким в первоначальной форме являлся очаг. Оттого в каждом доме и бане, на каждой мельнице и винокурне непременно есть свой домовый. Тождество домового с очагом доказывается многими дошедшими до нас поверьями и обрядами; кроме того, характеристические черты их религиозно-языческого значения одинаковы. При переходе в другой дом хозяева, призывая домового на новоселье, берут из печи старого своего жилья горячие уголья и переносят их на новый очаг. Представления, нераздельные с очагом, должны были необходимо перейти на домового, как на его персонификацию. Так, домовый главным образом живет под или за *печкою*, куда *кладут для него маленькие хлебцы*; домовый *любит высекать огонь*; он не боится *мороза* и потому ходит без шапки. Увидеть домового в шапке — самый *худой и печальный* знак. Если домовый давит, то чувствуешь, как на все тело налегает что-то *жаркое*. Наконец, видимая связь домового с очагом высказывается в том поверье, что домовый чаще всего принимает вид *грубочиста**. Как все божества света и тепла представлялись у славян покрытыми шерстью (руном)** , так и домовый. Народ верил, что домовый *весь оброс мягким пушком*; даже *ладони и подошвы у него мохнатые*; только лицо около глаз и носа *нагое*. Мохнатые подошвы его обозначаются зимою по следу; а ладонью домовый гладит по ночам спящих, которые чувствуют, как шерстит его рука. Если домовый гладит *мягкою и теплою* рукою, то предвещает *счастье и богатство*, а если *холодной и щетинистой* — то быть *худу****. С таким представлением домового косматым находится в связи следующее поверье: кто хочет видеть домового, тот может видеть его на Пасху в *коровнике* или *хлеве*, где он сидит в углу притаившись.

Как представителя стихий света и тепла домового языческое верование сблизило с *петухом*. Петух — птица, приветствующая восход солнца; своим напевом она как бы призывает это животворящее светило и про-

* У финнов домовый представляется *белой кошкой* или *белой женщиной*, которая *освещает собою всю избу...* по поверью литовцев, домовый, будучи оскорблен, *зажигает дом*.

** Шерсть сохраняет *теплоту*.

*** Сличите: если *петух* поет вечером в необыкновенное время, то надо снять его с насести и ощупать ноги: *теплые ноги* — к гостям, *холодные* — к покойнику.

гоняет нечистую силу мрака, ночи. По крику петуха простой народ считает время и заключает о вёдре и непогоде. Слово *куром* (творительный от *кур* — петух) в летописях употребляется для означения того раннего времени, когда запевают петухи. В Малороссии кочета называют *певнем*, потому что пение (крик) его народ считает за самый существенный признак*. В языческой религиозной системе петух признавался птицею солнца и очага, как земного представителя солнечной теплоты и света. Что петух был символом очага, его атрибутом — ясно свидетельствуют некоторые народные пословицы и загадки, эти сохранившиеся обломки древнего мифического языка. Загадка: «*Красный кочеток по нашестке бежит*» означает *огонь*; загадка: «*Красненький петушок по жердочке скачет*» означает *горящую лучину*; загадка: «*Пивень спива поки з заранья, а дали спыть, аж потие*» — означает *печку, очаг*. Ясно, что слова *кочет, петух, певень* служили метафорическим обозначением *огня, печи, очага*. Основанием такому обозначению послужило древнейшее языческое верование. У скандинавов петух также считался символом огня, на что указывает старинная датская поговорка о пожаре: «*Красный петух на кровле поет*». У нас существует весьма знаменательная поговорка: «*И петух на своем пепелище храбрится (на своем пепелище и курица гребет)*». Здесь прямо высказана тесная связь петуха с *пепелищем*, под которым разумеется изба и очаг; сравните: *огонь — огнище, пепел — пепелище***. Теперь становится вполне понятным, почему домовый нисколько не стесняется петушиным криком, которого так боится вся нечистая сила***.

* В одной народной песне сказано:

Ах вы, петухи, петухи,
Петухи *рано-певчие*,
Вы не пойте по утру рано,
На заре рано на утренней,
На всходимом красном солнышке.

** Если у кур искривляются от болезни шеи, то, по поверью, вертит у них шею *домовой*. В мифологиях других народов петух почитается выше всех животных, потому что *первый* восхваляет бога, то есть восходящее солнце; когда петух перестанет петь — тогда наступит страшный суд, потому что голос петуха уже не вызовет солнца и вселенною овладеет нечистая сила вечной *тьмы*.

*** Постель мертвеца, тотчас по смерти его, выносят в *курник* на три дня для *отвевания петухов*: пение петуха, прогоняющее нечистую силу, отстраняет зловредное влияние смерти (*очищает*).

Домовой; мифический образ очага, принял на себя все религиозно-языческое значение последнего; он явился благотворным пенатом, охраняющим счастье дома и живущей в нем семьи, блюстителем ее интересов и защитником ее благосостояния. Как настоящий *хозяин*, именем которого чтят его в народе, домовый присматривает за всем в доме*, сочувствует и семейной радости и семейному горю. Когда умирает кто-либо в семье, домовый *воет* ночью, выражая тем свою печаль; смерть хозяина он предвещает наперед, садясь за его работу и *надевая себе на голову шапку*.

Обожанием очага обуславливалось совершение особенных, религиозных обрядов при закладке нового жилья и при переходе на новоселье. Место, избранное для жилья, требовало освящения, потому что всякая изба назначалась быть капищем родового пената. Надо было, чтоб охранительная сила этого пената перешла в новоизбранное место. Между нашими крестьянами еще недавно сохранялся следующий обряд, очевидно принадлежащий глубокой старине: перед постройкою дома, *ради будущей счастливой и здоровой в нем жизни, хозяин с хозяйкою* приходили на место, назначенное для нового жилья, *отрубали у петуха голову и зарывали ее в том пункте, где определялось быть переднему углу*. Обряд этот совершался *тайно***; в нем нельзя не увидеть жертвоприношения очагу (домовому), совершавшегося перед постройкою новой избы. В жертву закалили петуха, самую почетную и любимую домовым птицу; пролитием ее крови освящалось избранное место и призывалось на него покровительство пената. Иза таким образом строилась на петушьей голове***, которая полагалась в переднем углу. Здесь необходимо

* Простолюдин боится много говорить о домовом и никогда его не бранит. По народному представлению, домовый хотя и любит проказить, но отличается добротою. Если он полюбит дом, то служит хозяину и его семье, ровно в кабалу пошел. По ночам он смотрит за хозяйством и, расхаживая по двору, стучит и хлопает. Хочет ли домовый уведомить о чем спящего хозяина, он толкает его и будит. Домовой более любит лошадей *серых* и *вороных*, а чаще обижает *соловых* и *буланых*. У нелюбимой лошади он отнимает корм, сбивает гриву колтуном, забивает ее под ясли, в подворотню и т. п.

** Мясо петуха, должно думать, съедалось.

*** Припомним сказочное выражение: «пзбушка на *куррих* ножках».

указать на значение этого угла. Вообще славянин питал особенное уважение ко всем *углам* избы — и понятно почему: углы обозначают собою те главные пункты, в которых сходятся стены избы; углы определяют ее границы, а в этих границах только и ощущается благотворное влияние от теплоты и света очага. Отсюда объясняется, почему обряды, совершаемые по углам дома и даже двора, народ связал с верованиями в домового, охраняющего пределы семейных или родовых владений. Так, чтоб умиловить домового — *по всем углам* избы и двора обкуривают медвежьей шерстью, с произнесением заговора. Обряды эти имеют в виду водворить в доме порядок и спокойствие. Но два угла: *задний*, в котором поставляется *печь*, и *передний*, диагонально противоположный первому углу, пользовались самым большим почетом. Названные два угла представляют те главные точки, которыми обозначалось пространство будущей избы: определив точку *очага*, необходимо было определить еще точку того переднего угла, о котором сейчас сказано — и границы избы, исконно строившейся четверугольником (клеткою, *клетью*), получали известность. Такой передний угол называется *большим* и *красным*, то есть главным, светлым, и пользуется особенным уважением. Место на лавке в переднем большом углу называется также *большим* и *княженицким*; сюда сажают самых именитых гостей, старших родственников, молодого князя и молодую княгиню после венца; в этом углу стоит всегда стол, за которым совершается трапеза; когда семья садится обедать или ужинать, то *большое место* занимает старший в семье: дед, отец или старший брат. Встречаем еще в избе название *кут* (по-кут); название это придается *углу* у дверей, *углу* напротив *печи* и тому месту перед *самою печью*, где стряпают и которое отделяется иногда занавеской или перегородкой. За этой перегородкой наряжают к венцу жениха и невесту. В одной свадебной песне поется:

Во столовой новой горнице,
Как в *кути*, за занавеской,
Тут сидела красна девица.

Слово *куток* означает в народном словаре *угол*. Как с *большим углом*, так и с *кутом* одинаково связываются предания о домовом. Слово *кут* употребляется еще

в значении дома, подобно словам *огнище, дым*. Так, у сербов существует название *кутянин*, однозначительное с названием *доматин*, то есть хозяин, владыка дома. Кутянин происходит от слова *кутя* (древнеславянское: *куща*) — дом*.

В переднем углу, как сказано выше, совершалось при закладке избы жертвоприношение; в нем зарывали черепки от того горшка, в котором переносились в новый дом горячие уголья с старого очага. От совершения таких обрядов передний угол в глазах язычника получил еще большую важность. Из одного источника с сейчас указанными поверьями образовались и следующие приметы: если трещит *передний угол* дома — трещит он к *покойнику*; если трещит *задний угол*, значит, выживается из дому кто-либо живой**. Любопытно, что треск переднего угла бывает к покойнику, а домовой, по народному поверью, воем предвещает в семействе покойника***.

После того как дом был выстроен, вся семья переходила на новоселье и переносила с собой священный огонь своего очага. Такое перенесение очага совершалось торжественно. Старший в роде выгребал из печи старого дома весь жар в чистый горшок и покрывал его скатертью, потом растворял дверь и, обратившись к *заднему куту*, призывал домового: «Милости просим, дедушка, на новое жильё». В новом доме встречали того, кто нес горшок, или, правильнее, самого домового, у растворенных ворот, с *хлебом и солью*. Принесенные уголья высыпали на очаг; горшок разбивали, а черепки его зарывали в переднем углу. Этот обряд оставался в обыкновении до позднейшего времени. При перенесении избы с одного места на другое совершался подобный же обряд: ночью, когда на небе высоко стоят *стожары* (созвездие Плеяд), *старший* в семействе брал *непочатый хлеб* и с *поклоном клал его на месте старого двора* и произносил *просьбу, чтоб домовый с хлебом, солью и довольством перешел на новое жильё*. В некоторых местах до сих пор, при переселении в новый дом,

* В куту ставят на разостланной соломе кутью.

** Литовцы для своих домовых зарывают по *углам* дома одежду.

*** В Белоруссии языческий обряд перед постройкою дома заменился христианским освящением первых трех или четырех венцов сруба. У болгар, при закладке дома, убивают какое-либо животное.

прежде всего вносят в него *икону, хлеб-соль* или *квашню с растворенным тестом, кошку, петуха и курицу*; затем входит в избу семья, обращается к *красному углу* и *молится*. В этом последнем обычае замечается уже христианское влияние (перенесение иконы); тем не менее он важен, потому что подробности его указывают на прежний характер обрядового перехода на новоселье. Сверх того, участие здесь кошки, петуха и курицы — видимые остатки язычества. Петух — птица очага, и принесение ее служило символическим знаком перехода самого божества (домового) в новое жилище. Обряд этот даже намекает на совершившееся при перенесениях жертвоприношение этой птицы, подобно тому, как совершалось то же жертвоприношение при закладке дома. Кошку переносят *собственно для домового*, приговаривая: «Вот тебе, хозяин, *мохнатый* зверь на *богатый* двор»*. Поверья народные сохранили многие указания на связь кошки с печью, таковы: приметы о погоде, о гостях и др. Кроме петуха, при переходе на новоселье в жертву очагу (домовому) приносили *хлеб-соль*. Оттого до сих пор сохранился обычай посылать знакомым на новоселье большой хлеб и солонку, наполненную солью**.

Так как изба в языческие времена была первым храмом, а очаг — божеством, то, естественно, первыми служителями божества были те, которые обращались с очагом и его атрибутами, то есть топили печь и готовили пищу. Эти хозяйственные и вместе религиозные занятия принадлежали старшим в роде: они пользовались властью распоряжаться в доме и могли свободно приближаться к обожествленному огню. В первоначальном быту славян старшинство в роде определяло и власть и почет; при таком устройстве понятно особенное уважение славян к старцам, которые соединяли в своих руках и власть правителей, и власть жрецов. Народные предания сохранили много свидетельств о богослужебном значении *стариков и старух*. Старинные пес-

* Подобный же обряд соблюдается при покупке лошади или коровы. Вводя вновь купленную скотину в стойло, *кланяются низко*, обращаясь к каждому из четырех *углов* хлева или стойла, и приговаривают: «Вот тебе, хозяин, *мохнатый* зверь; моего (или мою) такого-то (кличка скотины) люби, пой и корми». Ту веревку, на которой приведена купленная скотина в новый двор, вешают у кухонной печи.

** *Хлеб-соль* — символ русского *гостеприимства*.

ни приписывают заклятие жертвенных животных старцам; до сих пор еще старик обращается к морозу с овсяным киселем, при опахивании старуха везет соху; при встрече весны старшая женщина держит хлеб и проч. Хозяин, как слугитель очага, носил имя *огнищанина*; от хозяйки, по народной поговорке, должно *пахнуть дымом*.

ДВА СЛОВА О ЖУРНАЛЬНОЙ САТИРЕ ПРОШЛОГО ВЕКА

Нельзя не признаться, что мы еще слишком мало посвятили трудов и исследований русской литературе прошлого века. Внимание критиков постоянно обращалось на несколько имен, действительно славных своими дарованиями и выдвинувшихся вперед вследствие условных понятий того времени; масса же литературных произведений, общее их движение и направления остались почти незамеченными. Это самое лишало историю нашей словесности многих живых и любопытных подробностей, которые могли бы познакомить читателя с нравами и убеждениями минувшей эпохи. Обыкновенно слышится, что русская литература XVIII века жила заимствованиями и подражаниями и двигалась по следам чуждых ей европейских образцов; однако не довольно сказать эту избитую истину и потом успокоиться и считать все дело поконченным. Необходимо показать, что именно было заимствовано, в каком виде и с какими изменениями перешли эти заимствования к нам, насколько имели они действительного влияния на умягчение нравов и на развитие эстетических потребностей читающей публики.

Но кроме заимствований исчужи, в русской литературе XVIII столетия сказывался и русский ум — и в патристическом одушевлении некоторых лирических поэтов, и в бойкой сатире, в которой невозможно не подметить более или менее ярких признаков самобытности. Органом сатирического направления, главным образом, были журналы. До сих пор критика коснулась только периодических изданий 1769—74 годов и журнальных сатирических статей Крылова. Такой выбор, далеко не обнимающий всего содержания журнальной сатиры, условливался личными авторскими соображе-

ниями, на которых нет нужды останавливаться. Нельзя умолчать, что это пока еще неполное знакомство с журнальной критикой нравов породило некоторые односторонние мнения, мешающие правильному взгляду на вопрос, столь важный в истории нашей словесности.

Вот что прочли мы в статье г. Пекарского¹ «Любитель литературы екатерининских времен»*.

В семидесятых годах «в России начали являться периодические издания, в которых преобладало сатирическое направление, насмешки над людскими слабостями и пороками. Некоторые черты из тогдашнего быта, а также легкий язык, совершенно непохожий на тот, который господствовал в нашей литературе XVIII столетия, были причиною, что эти издания ныне обратили на себя внимание. При чтении их возникает вопрос: *«Почему именно издания с подобным направлением вдруг и в довольно значительном количестве явились в русской словесности и так же мгновенно потом исчезли?»* С первого раза можно подумать, что во второй половине прошлого века у нас пробудилось сознательное понимание того, что действительно в современном обществе заслуживало осмеяния и преследования. Такое мнение будет вести к предположению, что сатирическое направление развилось у нас под непосредственным влиянием нашей национальности и содержание его несколько не зависело от иностранных литератур. Но если принять в расчет, что помянутые издания жили весьма недолгое время и, по собственному признанию составителей их, тогда успели уже надоесть публике, едва ли будет справедливо приписывать народности такое сильное участие в существовании сатирических еженедельников и пр. *Не могли же какие-нибудь 10 или 15 книг в продолжение 4—5 лет исчерпать весь запас смешного в пороках и слабостях* и тем сделать ненужным сознательное понимание их».

Вопрос, на котором основал свое решение г. Пекарский, считаем мы совершенно излишним и неудачным. Сатирические издания появились вовсе не *вдруг* и исчезли вовсе не *мгновенно*. Очевидно, что и выводы, утвержденные автором на таком фактически неверном положении, теряют всю свою убедительность. Слова г. Пекарского доказывают только, как вообще мало мы

* Отечественные записки, 1856, № 4, с. 506—508.

знакомы с нашими старыми журналами и как нужно нам познакомиться с ними ближе.

Сатирические статьи журналов 1769—1774 годов не должно ставить отдельно, независимо от прочих литературных произведений, если хотим, чтобы они явились в настоящем свете. Кто станет сближать их с сатирами Кантемира и горячими памфлетами Сумарокова, тот не скажет, чтобы подобное направление возникло вдруг. Сличая эти литературные памятники, замечаешь в них много близкого и в идеях, которыми они одушевлялись, и в характеристиках, выводимых ими, и даже в самих приемах. Замечательнейшими из сочинений Сумарокова навсегда останутся его сатирические уроки, высказанные в самых разнообразных формах и затронувшие столько живых сторон. В 1759 году выступил он с журналом «Трудолюбивою пчелою», где встречаем целый ряд сатирических заметок. Вслед за тем обличительные статьи попадают и в журналах, издававшихся в шестидесятых годах при Московском университете, например: в «Полезном увеселении» (1761—2 г.) и «Свободных часах» (1763). Начатая Кантемиром и Сумароковым, сатира с особенною силою и смелостью продолжала потом действовать в журналах Козицкого, Чулкова и Новикова; этим обязана она столь же редким дарованиям Новикова, сколько и тем славным преобразованиям, которые были задуманы тогда правительством и которые необходимо вызвали литературу к сознанию общественных интересов и к открытым нападкам на общественные недостатки. Сатиру, более чем всякий другой род литературных произведений (исключая комедию), надо рассматривать и изучать в связи с политическим настроением той или другой эпохи, и если бы она в известный период времени заговорила откровеннее, прямее или ослабела и даже совсем замолкла — такое явление не всегда можно объяснить случайностью и заимствованным характером сатирической литературы. Свои, домашние условия едва ли не значительнее в этом случае!

С прекращением «Кошелька» (1774 г.) сатирическое направление несколько ослабело; но оно не пресеклось, а продолжалось во все время блестящего царствования императрицы Екатерины Великой в различных периодических изданиях, которые вместе с целями общего умственного и эстетического образования преследовали

и цели нравственные, выводя на позор темные стороны быта и клеймя их орудием насмешки. Ослабление сатирического направления, конечно, имело свои причины, и в числе их едва ли не главную надо признать то обстоятельство, что Новиков, деятельность которого имела необыкновенно сильное влияние на современное литературное движение, охладел к сатирической войне. Увлеченный таинственным мистицизмом мартинистов² и их нравоучительными рассуждениями, он предался этому учению со всем жаром той неослабной энергии, к какой был способен по своей живой и впечатлительной природе. Появились периодические издания, наполненные строгими нравственными, философскими и теологическими размышлениями: «Утренний свет» (1779—1780), «Вечерняя заря» (1782), «Покоящийся трудолюбец» (1784) и «Московское издание» (1781). Впрочем, «Вечерняя заря» не чужда сатирических статей (см. ч. 2, стр. 80, 230, 307, 311; ч. 3, стр. 70, 165, 245, 250). Равным образом продолжают появляться сатирические статьи и на листах еженедельника «Что-нибудь» (1780), «Раскашика забавных басен, служащих к чтению в скучное время или когда кому делать нечего» (1781), «Собеседника любителей Российского слова» (1783—4), «Почты духов, или Ученой, нравственной и критической переписки арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами» (1789), «Зрителя» (1792), «С.-Петербургского Меркурия» (1793) и отчасти в некоторых других повременных изданиях*. Не говорим уже об отдельно вышедших в девяностых годах книгах сатирического содержания, на которые также не мешало бы критике обратить свое внимание**.

Итак, сатира возвышала свой голос в наших периодических изданиях не четыре и не пять лет, а вовсе нельзя утверждать, чтобы она «не оставила в русской литературе никаких следов». Г. Пекарский, приписывая появление сатирических журналов 1769—74 годов единственно подражанию западным образцам, основыв-

* «Модное ежемесячное издание» (1779), «Утренние часы» (1788), «Беседующий гражданин» (1789), «Дело от безделья» (1792), «Прохладные часы, или Аптека, врачующая от уныния» (1793), «Что-нибудь от безделья» (1800).

** Сатирический вестник», «Переписка двух адских вельмож», «Переписка моды» и др.

васт свое мнение на том, что в означенную эпоху у нас «не было того, против чего ратовали в Европе», не было той борьбы старого с новым, какая происходила там. Кроме пяти-шести писем «Живописца», говорит он, сатира наша, не касаясь русского быта, ограничивалась насмешками над подражателями французских мод, людьми скорее жалкими, нежели смешными. Но у нас происходила своя борьба, вызванная реформами Петра Великого, борьба старинных убеждений и нравов с новыми, невежества, грубых предрассудков и суровых обычаев с зачатками вызванного искужи образования. Литературе нашей выпали на долю две великие задачи: отстаивать необходимость европейского образования и в то же время защищать русскую народность от крайностей иноземного влияния. Обе задачи отчетливо и резко выставлены сатирическими журналами, которые подвергали общественному смеху и застарелые предубеждения, суеверия, жестокие нравы, умственный застой и слепое пристрастие к чужеземному, рабское подражание всем, даже мелочным условным обычаям иностранцев, искажение родного языка и легкомысленное презрение ко всему отечественному. Кроме писем, напечатанных в «Живописце», мы встречаем в разных журналах мастерски набросанные картины нравов и статьи, наполненные самыми злыми выходками против ябеды, взяток, продажности правосудия, ханжества, злоупотребления помещичьих прав. Такое содержание журнальной сатиры, без сомнения, не чуждо *нашей* жизни прошедшего столетия; здесь так много указаний и намеков, понятных только для нас. И между сатирическими статьями журналов довольно попадаетея переводных или переделанных; скажем более: формы сатирических сочинений большей частью заимствованы из литератур западных, а в нападках на людей светских, пристрастных до крайностей к французским модам и обыкновениям, сатира наша весьма близко подходит к сатире европейских журналов, или справедливее — следует ее указаниям: это и понятно, «петиметры»³ рабски перенимали те мелочные и тщеславные стороны парижского общества, против которых уже на Западе слышалось обличительное слово. Но помимо указанных заимствований, в журнальной сатире много и такого, что прямо выхвачено из нашей среды и что заслуживает поэтому особенных критических изысканий.

Цель, направление и содержание нашей сатирической литературы тесно соединяют ее с комедиями императрицы Екатерины II, фон-Визина и некоторыми другими ныне напрасно забытыми. Между этими литературными произведениями много общего, и, сличая их, необходимо приходится к такому заключению, что *сатирические журналы прошлого века воспитали нашу комедию*. Очевидно, что они не оставались без влияния и на общество, и на литературу.

ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ВЕРНОСТИ В РОМАНАХ И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

В № 32 «Атенея» напечатана статья по поводу нового, недавно законченного издания сочинений г. Лажечникова¹, в которой, между прочим, находим следующие строки: «По глубине концепции, оригинальности завязки, красоте отдельных эпизодов и *замечательному пониманию духа описываемого времени*, соединенному с знанием его быта в малейших подробностях, романы эти («Басурман», «Ледяной дом» и «Последний Новик») составляют самое увлекательное и вместе поучительное чтение... Некоторые критики упрекали г. Лажечникова в том, что в созданиях своих он не буквально воспроизводит исторические события. Мы хотели вооружиться на такое странное обвинение...» и проч. В другом месте, говоря о романе «Колдун на Сухаревой башне», рецензент прибавляет: «Г. Лажечников, по-видимому, хотел написать весь этот роман в форме писем. Четыре письма были напечатаны тому уже давно. *В них превосходно обрисовались характеры фаворита Петра II, несчастного Ивана Алексеевича Долгорукова², старухи-матери его и вице-канцлера барона А. И. Остермана³*».

Взглянем ближе, насколько справедливы эти вежливые отзывы и так ли они бесспорны, как кажутся автору статьи. Мы совершенно согласны с нашим романистом и его рецензентом, что нельзя вменять в преступление сочинителю исторических романов и повестей двух-трех анахронизмов в месяцах или годах, но никак не анахронизмов в обычаях и нравах; его задача не в том, чтобы быть рабом чисел; он должен быть верен только характеру эпохи и ее двигателей, которых взялся изобразить. Вопрос, следовательно, идет не о букваль-

ном воспроизведении всех подробностей исторических событий в романах г. Лажечникова; нет, нам желательно поверить, успел ли он с должной осторожностью и правдою воссоздать характеры исторических деятелей. Остановимся на этот раз на двух лицах, равно знаменитых своим падением: на И. А. Долгоруком и Волынском⁴.

В романе «Колдун на Сухаревой башне» князь И. А. Долгорукой в первом письме своем к статскому советнику Финку извещает его, что вскоре отправляется в чужие края, и прибавляет: «Хотя я с вами долго жил и учился в отечестве Лейбница⁵ и вашего любимого преобразователя Лютера, *все-таки не мешает еще поучиться*. Не прежде увижу Россию, как тогда, когда увижу над ней внука Петра Великого и моего товарища детства, моего задушевного друга! *О, тогда ожидайте перемен, и перемен больших. Россия, милое отечество! ты будешь счастлива...* Тогда и вы, любезнейший наставник, постучитесь у моего сердца: будьте благонадежны, что *в нем найдете отголосок на все высокое и доброе. По вашим советам перейдем что-нибудь от шведов, которых вы так хорошо знаете. Тогда, боже сохрани вас сказать, что они живут счастливее нас, русских: мы до этого нареkania вас не допустим...* Еще одно поручение — и самое важное. Передайте, как можно осторожней, графине Шереметевой Наталье Борисовне, что есть человек, который за тысячи верст, при чужих дворах, под впечатлениями путевых изменений, беспрестанно новых, не перестает... Нет, нет, не говорите ей ничего обо мне. Боюсь, чтобы эта гордая, возвышенная душа не оскорбилась вашими словами, как бы осторожно вы их не сказали. Пускай заочно, мысленно, сердечно повторю ей то, что хотел вам передать...» Каким из этих, не многих, но живых, дышащих откровенностью строк, должен представляться читателю князь Долгорукой? Это пылкий юноша, получивший образование за границею под руководством «исступленного поклонника новизны» Финка; он любит просвещение, готов еще поучиться; с честолюбием соединяет глубокий патриотизм, с мечтами о благородной и полезной деятельности во славу родного края мечты первой юношеской любви, скромной, чистой и боязливой: по всему видно, автор готовит в нем героя романа и желает возбудить к нему симпатию читателя. Но таков ли он был,

по достоверным свидетельствам исторических источников? К сожалению, мы должны отвечать отрицательно. Отец его, князь Алексей Григорьевич, человек без особенных дарований и без всякого образования, отличался ожесточенною ненавистью ко всему иноземному, фанатическою привязанностью к старине и ее обычаям и был известен только высокомерием, а не заслугами; мог ли он, захотел ли бы дать своему сыну европейское воспитание? Конечно, нет. По свидетельству, занесенному в «Сказания о роде князей Долгоруких», князь Иван Алексеевич воспитывался в Польше под надзором деда своего, князя Григория Федоровича (ум. 15 авг. 1723 года), и по кончине его возвратился в Россию; здесь жил он при отце и далеко не мог похвалиться любовью к умственным занятиям; праздное время было посвящено более обаятельным наслаждениям. Дюк Лирийский⁶, лично с ним знакомый, говорит о князе И. А. Долгоруком: «Ума в нем было очень мало, а проницательности никакой, но зато много спеси и высокомерия, мало твердости духа и никакого расположения к трудолюбию; любил женщин и вино. Но в нем не было коварства. Он хотел управлять государством, но не знал с чего начать; мог воспламеняться жестокою ненавистью, не имел воспитания и образования,— словом, был очень прост». По словам Манштейна⁷, князь Иван Алексеевич грубым обращением со всеми, без разбора, и неуважением людей самых пожилых и почетных постоянно умножал число своих врагов. Прибавим к этому склонность к разврату и готовность на самую безумную дерзость, и мы будем иметь довольно верный портрет этого временщика. При таких нравственных условиях, какая политическая роль была ему по силам? В падении Меншикова⁸ он является послушным орудием Остермана, который хитро воспользовался его юношескою запальчивостью и сильною привязанностью к нему Петра II: привязанность эта основывалась на близости лет и на страсти к удовольствиям, свойственной их возрасту. Любимый царственным отроком за свою угодливость и резвую любезность, князь Иван Алексеевич умел привязать его к себе до того, что даже сыпал с ним на одной постели. Сам он ни по уму, ни по характеру не мог быть и не был политическим деятелем; сделавшись могучим *фаворитом*, он увлек государя в одни непрерывные и утомительные удовольствия, вымышлял для

него разные потехи и устраивал праздники, уроки были забыты и, вопреки советам Остермана, царь, еще слишком молодой и неопытный, нисколько не думал об ученье. В Москве, рассказывает в своих рукописных записках князь М. Щербатов⁹, по месяцу и более отлучение государево для езды с собаками (на охоту) останавливало течение дел; несмотря на погоду, ежедневно выезжали в поле со множеством лошадей и собак и спокойно топтали хлеба, эту надежду земледельца; а по вечерам устраивались балы, продолжавшиеся во всю ночь. Кто желал угодить «роскошному» Долгорукому князю Ивану Алексеевичу, тот давал пиры со всею пышностью, не щадя своих богатств. Отец фаворита только и твердил, что о введении старинных обычаев; действительное же управление государством сосредоточивалось в руках Остермана.

В записках Щербатова личность князя Ивана Алексеевича обрисована такими яркими чертами, которые устраняют всякую возможность идеализировать его подвиги: «Князь И. А. Долгорукой (говорит автор) был молод, любил распутную жизнь, и всеми страстями, к каковым подвержены молодые люди, не имеющие причины обуздывать их, был обладаем. Пьянство, роскошь, любоддеяние и насилие место прежде бывшего порядку заступили. В примере сего, к стыду того века, скажу, что слюбился он, или, лучше сказать, взял на блудоддеяние себе между прочими жену князя Н. Е. Т., рожденную Головкину, и не токмо без всякой закрытости с нею жил, но при частых съездах у князя Т. с другими своими младыми сообщниками пивал до крайности, бивал и ругивал мужа, бывшего тогда офицером кавалергардов, имеющего чин генерал-майора и с терпением стыд свой от прелюбоддеяния жены своей сносящего. И мне самому случилось слышать, что единожды, быв в доме сего князя Тр—го, по исполнении многих над ним ругательств, хотел наконец выкинуть его в окошко, и если бы Степан Васильевич Лопухин, свойственник государев по бабке его Лопухиной, первой супруге Петра Великого, бывший тогда камер-юнкером у двора и в числе любимцев князя Долгорукова, сему не воспрепятствовал, то бы сие исполнено было. Но любострастие его одною или многими не удовольствовалось; согласие женщины на блудоддеяние уже часть его удовольствия отнимало, и он иногда приезжающих женщин из поч-

тения к матери его затаскивал к себе и насилывал. Окружающие его однородцы и другие молодые люди, самым распутством дружбу его приобретшие, сему примеру подражали, и можно сказать, что честь женская не менее была в безопасности тогда, как от турков во взятом граде». Этот строгий отзыв подтверждается и показанием Феофана Прокоповича¹⁰: «Но скоро явилось, что Иван сей пагубу паче, нежели помощь, роду своему приносил, понеже бо и природою был злодерзостен, и еще к тому толиким счастием надменный, ни о чем не думал, не только весьма всех презирал, но и многим зело страх задавал, одних возвышая, а других низлагая, по единой прихоти своей, а сам на лошадях, окружась драгунами, часто по всему городу необычным стремлением, как бы изумленный, скакал; но и по ночам в честные дома вскакивал *гость досадный и страшный*, ибо толикой предерзости пришел, что, кроме зависти нечаянной славы, уже и праведному всенародному ненавидению, как самого себя, так и всю фамилию свою аки бы нарочно подвергал». Мог ли такой человек питать к женщине чувство истинной, стыдливой и скромной привязанности? По крайней мере, в этом позволительно сомневаться. Графиня Наталья Борисовна Шереметева, по собственному ее признанию, *не имела с ним никакого знакомства* прежде, нежели он сделался ее женихом. Брак этот легко мог состояться, ибо для обеих сторон казался и выгодным, и приличным. Князь Иван Алексеевич был «первой в государстве персоною», а графиня Наталья Борисовна считалась тогда первою невестой по знаменитости своего рода, богатству и красоте. Объявленная невестою, она скоро и искренно увлеклась молодым, красивым и знатным женихом своим. «Я тогда, говорит она сама, ничего не разумела; молодость лет не допускала ни о чем предбудущем рассуждать, а радовалась, видя себя цветущею в таком благополучии. Казалось, ни в чем нет недостатка; милый человек в глазах, а притом природные чести, богатство, от всех людей почтение, всякой ищет милости, рекомендуется под мою протекцию,— подумайте, будучи девкою в 15 лет так обрадованной, я не иное что воображала, как вся сфера небесная для меня переменялась!» Что же во всем этом сходного с тем изображением, какое угодно было нарисовать г. Лажечникову? Трагическая судьба рода князей Долгоруких, бы-

строе возвышение и падение князя Ивана Алексеевича и благородный, возвышенный характер его жены, бывшей графини Шереметевой, придали несчастьям злополучного *фаворита* особенное примиряющее значение и возбудили к ним живое чувство симпатии и сострадания: но это прекрасное чувство, пробивающееся из лучших источников нашей души, не должно закрывать от нас истины; во имя его не должны мы щедрою рукой расточать светлые краски на изображение тех личностей, которые требуют более мрачного колорита. И разве не лучше, не полнее характеризует эпоху то грустное обстоятельство, что именно люди, слишком далекие от героизма и высоких стремлений, всплывали наверх и готовы были дерзко насмеяться над всеми прами человечества?

Должно, однако, сознаться, что подобная ошибка, ведущая к идеальным представлениям исторических личностей только из участия к их трагической судьбе, весьма обыкновенна: ее вместе с романистами нередко разделяют и самые историки. Ошибка эта повторяется и в характеристике Вольтерского — в романе «Ледяной дом». Еще Пушкин, с свойственным ему верным критическим тактом, заметил по поводу этого романа, что истина историческая в нем не соблюдена, и это, по его мнению, со временем, когда дело Вольтерского будет обнародовано, должно повредить созданию г. Лажечникова¹¹. Теперь обнародована подробная и тщательно составленная записка из этого дела (см. Чтения общества истории и древностей российских при Московском университете, 1858 г., кн. 2, смесь, стр. 135—170), и отзыв поэта находит в ней осязательное подтверждение.

Каким изображает нам Вольтерского автор «Ледяного дома»? — Это один из красивейших мужчин, и по наружности нельзя дать ему более 30 лет, хоть он и старше; «огонь черных глаз его имеет такую силу, что тот, на ком он их останавливает, невольно потупляет свои: даже замужние, бойкие женщины приходят от них в смущение, а пригожим девицам мамки строго наказывают на куртагах беречься пуше огня глаза Вольтерского, от которого не одна погибла их сестра». С обольстительною красотой он соединяет юношескую способность увлекаться, мечтать и «видеть в фантазии переплетенные огнем шифры, пылающие алтари, потаенные беседки, всю фантазмагорию влюбленных». В сердечных при-

вязанностях своих он не простой волокита, но пылкий, безумный любовник, и какие страстные, риторически подкрашенные послания пишет он к божественной Мариориде! Его любовные признания достойны семнадцатилетнего юноши, воспитанного на французских романах позднейшего времени. Но это только одна сторона характера Волынского. Вообще, он является передовым человеком своего сурового века. В доме его нет ни шутов, ни дур: «уж поэтому можно судить, что Волынский, смело пренебрегая обычаями времени, опередил его»; его щедрость, чувствительность и благородство превозносятся до небес; в отношении к слугам своим он добрый, милостивый господин, и наказания его-то за важный проступок ограничиваются одним удалением провинившегося от барского лица: «Не барин, а родной отец!» — говорят о нем дворовые. В душе его властвуют страсти добрые и худые, и все в нем непостоянно, кроме чести и любви к отечеству, и если бы порывы пламенной души Волынского не разрушали иногда созданий ума его, то Россия имела бы в нем одного из замечательнейших своих министров. Любя отечество выше всего, он готов открыто бросать громы красноречия на притеснения и ябеду, готов уступить политическое первенство и быть хоть десятым, но за человеком, который бы делал Россию счастливою; тем с большим негодованием должен был смотреть он на ужасы Биронова могущества¹². Один Волынский с своими друзьями не склоняет перед ним своего благородного чела и ищет случая, открыв все государыне, вырвать из его рук орудия казни. А Бирон, добиваясь возможности погубить своего соперника, не только не показывает, что оскорбляется его гордостью, напротив, старается быть к нему особенно внимательным и при всяком случае обращает на него милости государыни. Получив в награду 20 000 р. по поводу заключенного с турками мира, Волынский в романе г. Лажечникова восклицает: «А! временщик думает купить меня, но ошибается. Что бы ни было, не продам выгод своего отечества ни за какие награды и милости!» В другой раз он выражается еще сильнее: «Как? из того, что я могу навлечь на себя немилости, пожалуй, ссылку, что могу себя погубить, смотреть мне равнодушно на раны моего отечества, слышать без боли крик русского сердца, раздающийся от края России до другого!»

Сам Бирон признается, что этого человека ничем не задобришь и не испугаешь. Волынский постоянно говорит ему грубые колкости и наконец без доклада врывается в его кабинет, чтобы бросить в него несколько фраз. Друзья Волынского — все заклятые враги неправды, непоколебимые столпы отечества, способные забыть себя для общественного блага; они не боятся говорить истину перед сильными за утесненных, не избирают кривых путей в своих действиях даже против врагов, и везде — в сенате, во дворце, перед государынею, готовы обличать зло.

Таков Волынский в романе г. Лажечникова: таков ли он на самом деле? — Нет и нет! Манштейн уверяет, что он был человек с умом, но тщеславный, напыщенный, сварливый, любил *подыскиваться* и не умел скрывать этих недостатков. Из следственного дела видно, что, подобно большей части тогдашних вельмож, он не чужд был взяток: еще гораздо раньше несчастного столкновения его с Бироном Волынский был обвиняем и сам винулся в самовольном сборе с иноверцев Казанской губернии; государыня не только простила его, но вскоре еще пожаловала в звание обер-егермейстера, а по смерти графа Левенвольда поручила ему в управление придворную конюшенную часть. При допросах человек его, Василий Кубанец, показал, что Волынский, будучи в Казани губернатором, брал с татар и купцов взятки, а сделавшись министром — с разных других лиц; у некоторых, под видом займа, вымогал многие тысячи без расписок, от других получал в подарок лошадей, меха, богатые парчи, китайские редкости, съестные припасы, причем и он, Кубанец, с секретарем Гладковым, имели свои выгоды; нередко и казенные деньги употреблял на собственные расходы; самые места чиновникам раздавал за подарки. Кабинетный секретарь Яковлев обвинял Волынского в личной злобе на себя за то будто, что он не скрыл присланного из Астрахани рапорта о тайно провезенном в этот город вине человеком Волынского; уличал его в произвольных поборах в Казани с иноверцев, сверх положения — на многие тысячи, хотя повинную принес только в 3000 р., в неплатеже пошлин с хлеба и хмеля по винокуренным заводам и в держании у себя казенных людей для собственных услуг. Показания о взятках Волынский подтвердил добровольным сознанием, но с ого-

воркою, что не вымогал, а брал их от сущего своего недостатка, что если и тратил из казенных сумм от сотни до тысячи рублей, то всегда их возвращал. На недостаточность состояния, впрочем, он не мог жаловаться: у него было около 2000 душ крестьян; в Казанском уезде большой винокуренный завод, откуда ставил он вино в Москву, Казань, Симбирск и Чебоксары; в обеих столицах, в подмосковном селе Воронове и на четырех конских заводах в губерниях были у него лошади немецкой, неаполитанской, черкасской, грузинской, турецкой и калмыкской пород; он имел несколько дворов в С.-Петербурге и один в Москве; в описи конфискованных его имуществ тринадцать страниц занято исчислением драгоценных камней, а девятнадцать страниц исчислением золотых и серебряных вещей; также богаты были его гардероб, конские уборы, оружия и мягкая рухлядь. В С.-Петербурге находилось при нем 60 человек дворни. Мягкостью, человечностью характера Волынский вовсе не отличался. Слепленный счастьем и вспыльчивый от природы, он был высокомерен и дерзок на руку. В письмах графа Салтыкова к нему есть увещания держать себя умереннее. «Я ведаю (пишет граф), что друзей вам почти нет и никто с добродетелью о имени вашем и помянуть не хочет. На кого осердишься, велишь бить при себе и сам из своих рук бьешь: что в том хорошего? Всех на себя озлобил!» В делах — много примеров его жестокости: за неснимание шапки полицейскими служителями, проходившими мимо его двора, он подвергал их тяжкому наказанию кошками; одного из конюшенных служителей заставлял несколько часов ходить вокруг столба по деревянным спицам; мичмана кн. Мещерского посадил на деревянную кобылу, вымарав ему лицо сажею, и привязал к его ногам гири и живых собак, и т. п. Но дела эти были оставляемы без всякого исследования; одни боялись на него жаловаться, а жалобы других оставались без удовлетворения. Яковлев обвинял его в ругательствах и побоях, наносимых просителям; история с Тредьяковским¹³ слишком убедительно подтверждает это обвинение. Во время следствия Волынский не показал ни благородства, ни твердости духа; надменный в счастье, он становится перед следователями на колени, кланяется и просит милости. Не таков был Остерман, когда взвели его на плаху! *Борьба* Волынского с Бироном, строго говоря, не

заслуживает этого названия. Где и когда выступал он прямо против могучего временщика? Несчастное прошение его на имя императрицы, послужившее поводом к обвинению Волынского, по отзыву современников; было «самой портрет Остермана», и сочинитель возил его в немецком переводе показывать герцогу. Очевидно; вражда главным образом была направлена на Остермана, этого знаменитого умом и хитростью министра своего времени; но с ним трудно было совладать и не Волынскому. Остерман сумел восстановить против него герцога: честолюбие Волынского, неосторожные его фразы и недавнее дерзкое самоуправство в покоях Бирона с Тредьяковским — все было истолковано и пущено в ход. Когда неожиданно для Волынского последовало запрещение приезжать ему ко двору, он сведал от своих приятелей о гневе герцога, думал в тот же день умилоствовать его, но не был допущен. Где же тут благородный патриотизм? Где возвышенные чувства в борьбе с временщиком за счастье родины и святость человеческих прав?

Автор «Ледяного дома» думает оправдать себя в искажении исторической истины тем, что следствие над Волынским ведено людьми, ему неприязненными. «Беспристрастная история, говорит он, спросит: кем, при каких обстоятельствах и отношениях оно было составлено, кто были следователи?» Совершенно справедливо, и мы вовсе не думаем доказывать, да и никто не захочет утверждать, что суд над Волынским совершен законно. «Мне, говорит князь Щербатов, случилось слышать от самой императрицы (Екатерины II), что она, прочетши с прилежностью дело Волынского, запечатав, отдала в Сенат с надписанием, дабы наследники ее прилежно прочитывали оное и остерегались бы учинить такое неправосудное бесчеловечье». То же чувство возбуждается чтением извлеченной из дела записки, которою мы сейчас пользовались. Волынского осудили Шемякиным судом в таких преступлениях, о которых ему и на мысль не приходило, осудили за то, будто он питал на государыню злобу, поносительно отзывался о Высочайшей фамилии, сочинял злодейские рассуждения с укоризною настоящего управления, причитал свое потомство к наследию Российского престола и проч. Но это еще не даст права отвергать все сподряд указания, находимые в следственном деле. Чтобы погу-

бить Волынского, достаточно было обвинить его в важных государственных преступлениях, и незачем было нарочно сочинять обвинения в жестоком обращении и взятках,— обвинения, которые и самими следователями ценились не высоко; они изо всех сил добивались сделать из Волынского преступника, опасного для самодержавной власти; к этому клонились все допросы и пытки, а вовсе не к тому, чтобы уличить его в лихоимстве и дерзком обхождении с подчиненными и просителями. Последние обвинения сами по себе не могли бы навлечь на Волынского тех бедствий, каким предавали его Остерман и Бирон; важные в глазах историка, для воссоздания нравственного образа Волынского, они не имели той цены в глазах его врагов. Во взятках он уличен еще прежде, и это нисколько не повредило его служебному возвышению; жалобы на жестокое обращение Волынского (если и находились такие храбрецы, что решались на него жаловаться!) оставались без всякого внимания, пока не подвергся он гневу Бирона: что за беда, что кабинет-министр был груб с своим секретарем и скор на собственноручную расправу с надоедавшими ему просителями! Теперь же все это само собою всплыло наверх, пользуясь благоприятным временем; ибо теперь готовы были выслушать обиженных и удовлетворить их: не так были бы приняты они в прежнюю пору! Следственное дело важно еще потому, что обнаруживает крайнюю слабость духа Волынского и объясняет его отношения к герцогу, нисколько не отличающиеся ни прямою, ни самостоятельностью. К Бирону везет он показывать письмо свое, направленное против Остермана; Бирона едет он умилять при первых слухах о его гневе; настоящее поведение Волынского далеко от героизма и не знает той благородной гордости, какую дышат слова и действия его в романе г. Лажечникова.

Даже и вымышленный, исторически неверный характер Волынского в романе «Ледяной дом» не имеет достаточной выдержанности. В борьбе с Бироном кабинет-министр потому только теряет победу, что пылкая любовь к Мариориче затемнила его политический разум. Участие к этой любви Анны Ивановны и желание ее соединить любовников — ниже всякой критики; отношения ее к Бирону не таковы были, чтобы она решилась пожертвовать ими любовному увлечению Во-

лынского. Страсть последнего к Мариорице в том виде, как она представлена в романе, обличает в нем не министра, не вельможу, опытного в придворной борьбе, а семнадцатилетнего юношу, плененного смазливym личиком: ему чудятся пылающие сердца и алтари, он является на тайные свидания чуть не на улице, пишет самые чувствительные послания. Как соединить эту черту характера с его летамп, политическим положением и еще более с его умом? Автору необходима была пламенная любовь (что и за роман без любви!), и он не усомнился наделить этим чувством Волынского, дал ему для бóльшого эффекта жену и отнял детей, подарил его обаятельною красотой, нежным сердцем и прекрасным слогом. Положим, что он не прочь был приволокнуться, но делал это по-своему: в числе дворовых людей Волынского следственное дело упоминает двух побочных его сыновей: Немчинова 19 лет и Курочкина 7 лет. Для него не нужно было возвышенной любви Мариорицы; в своей дворне он находил и более дешевые и менее опасные наслаждения! Но автор прав: если характер Волынского изменен им в самых существенных его чертах, то, конечно, нечего было церемониться с подобными мелочами... Далее: в истории привязанности Волынского к Мариорице Тредьяковский играет роль переносчика любовных записок и потому является человеком близким и необходимым кабинет-министру. «Да, говорит Волинский своему секретарю, Василий Кириллович в глазах моих великий, неоцененный человек: не он ли выучил Мариорицу первому слову, которое она сказала по-русски? И если бы ты знал, какое слово! В нем заключается красноречие Демосфенов и Цицеронов, вся поэзия избранной братии по Аполлону...» На самом деле отношения их имели другого рода близость. Тредьяковский должен был написать стихи для шутовской свадьбы, и «благородный патриот» Волинский, ревностно занимавшийся устройством этого празднества, в безрассудном гневе на придворного пиита прибил его по щекам. На другой день после печального события Тредьяковский отправился во дворец, в покои герцога — просить защиты, встретился там с Волинским; этот нанес ему еще несколько ударов и отослал в маскарадную комиссию; здесь содержали его два дня под караулом и били, по приказанию кабинет-министра, палкою: всех ударов дано около сотни.

Освобожденный из-под ареста, Тредьяковский тогда же, 10 февраля (то есть за два месяца до учреждения следственной комиссии над Волынским), письменно рапортовал об этом происшествии Академии наук. Свидетельство профессора медицины Дювернуа доказывает, что у него была избита вся спина от самых плеч далее поясницы и подбит левый глаз. «Пусть на меня сердятся, говорил Волынский, а я себя потешил и свое взял!» Впрочем, он не забыл извиниться перед Бироном в нарушении должного уважения к его высокогерцогским покоем. Г. Лажечников говорит: «Волынский поступил с ним (Тредьяковским) жестоко, *пожалуй* (!) бесчеловечно, если все то правда, что в донесении написано». А почему же нет? происшествие — в духе времени, сходно с другими показаниями о характере Волынского и засвидетельствовано профессором Дювернуа; наконец, оно случилось еще тогда, когда ни Тредьяковский, ни Дювернуа не могли и предчувствовать близкого падения *патриота* — Волынского. Г. Лажечников оправдывает своего героя грубыми нравами того времени; но ведь это оправдание не исключает совершенно всякой ответственности, и сверх того, оно в равной степени должно простирается и на Тредьяковского, и на Бирона. Зачем же придавать одному лицу ненужный блеск, а на других налагать слишком мрачные тени? Мы не беремся защищать нравственный характер Тредьяковского: пускай он верил пословице, что за всяким тычком не угоняешься; но чем же Волынский лучше? Позор одинаково должен падать и на того, кто принимает пощечины, и на того, кто раздает их! «Упрекали меня, — прибавляет романист, — в том, что я заставил Тредьяковского говорить как педанта; но ведь он в самом деле был педант». Так, но все же он мог говорить по-человечески. В предисловии своем к переводу книги «Езда на остров Любви»¹⁴ он просит читателей не гневаться, что перевел ее не славянским языком, который ему кажется темен и жесток ушам, а простым русским слогом, *каковым мы меж собой говорим*. Если Тредьяковский высказал это весьма замечательное по времени желание приблизить книжный прозаический язык к простому разговорному, неужели мог он говорить таким напыщенным и странным языком, каким заставляет говорить его г. Лажечников? К чему эти яркие суздальские краски? От них изобра-

жение ничего не выигрывает в достоинстве, а только кидается в глаза своею неизящною пестротой. Зачем, например, в кабинете Тредьяковского очутилась хлопушка для мух?

Наконец, еще одна заметка: замечание Пушкина о характере Бирона вовсе не так ничтожно, как показалось почтенному автору «Ледяного дома»¹⁵. Не оправдывая и нисколько не желая оправдывать Бирона в его политической деятельности, мы, однако, считаем нужным сказать, что, в видах исторической истины, прежде произнесения над ним окончательного приговора, необходимо все его действия подвергнуть осторожной и тщательной критической проверке, основанной на близком знакомстве и с напечатанными, и еще более с неизданными материалами. Князь Щербатов называет Бирона гордым, злым, кровожадным человеком, без малейшего просвещения, правление его — тираническим; но тем не менее прибавляет: «Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастья, но народ был порядочно управляем, не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности; страшились вельможи подать какую-либо причину к несчастью своему, а не быв ими защищаемы, страшились и судьи что неправо сделать, мздоимству коснуться».

АДСКАЯ ГАЗЕТА

Под этим заглавием обращается между грамотным простонародьем, преимущественно между староверами, рукописное сатирическое сочинение, содержание и форма которого указывают на недавнее его происхождение. Оно написано тяжелым, книжным языком, обильным рифмами, и по форме близко подходит к силлабическим стихам начала XVIII столетия. Я имею под руками два списка «Адской газеты»: один белорусский, присланный учителем новгородского дворянского училища г. Дмитриевым в Русское географическое общество и оттуда доставленный мне вместе с некоторыми народными сказками; другой сообщен мне в Москве. Этот последний список полнее и носит следы обращения своего между раскольниками. Что касается содержания «Ад-

ской газеты», то она имеет в виду изобразить житейские пороки, и с этою поучительною целью представляет появление в ад разных грешников: из монахов, белого духовенства, купцов и бояр; к ним присоединяются еще пьяница, ростовщик и песельницы. Вообще в сатире этой довольно грубых выражений, но мало соли; она чужда той меткой наблюдательности, которая умеет схватывать типические стороны людских отношений и которую не раз мы замечали в чисто народных сатирических рассказах. «Адская газета» казнит порок, почти не касаясь тех характеристических особенностей, какие принимает он в своем проявлении на известной почве и в известную эпоху. Представим здесь некоторые выписки. Сочинение начинается этими словами: «В нынешние плачевные и последние лета с того света пришла газета, то есть новая почта из ада, сказует известно всем людям, какова будет грешным за грехи награда...» * А в нынешний век зри всяк человек, яко царствует в мире грех едва ли не на всех. Правда уже сгорела, а истина охромела; лесть и ложь ныне пришла, а честь и верность в отставку давно ушла; добрую совесть в землю закопали, а смирение ногами попрали. В монастырях самочиние устроилось, гордость с монахами познакомилась; братоненавидение икономом поставлено, а благонравие прочь отставлено; сластолюбие и лакомство поставлено во дьяконство; тщеславие игуменствует, а невежество старейшествует; славолубие епископом стало, а сребролюбие всеми облагодало...» Сатана, «предвидя кончину сих дней», приказал бесам развести огни и измерить адскую глубину**, а сам воссел на *седало*. Прежде всего предстали к нему чернецы. «Зачем вы, святые отцы, пришли сюда?.. (спрашивает их сатана). Видно, вы свой век ради суетного богатства просбирали, того ради путь во царствие небесное потеряли. Вы проживали всю свою жизнь во скитах — во всяческих суетах, и сами между собою друг на друга ложь сшивали, а меня всегда понапрасну обвиняли, и не было вам в монастырях ладу, за то будет сидеть вам со мною в аду». Затем привели

* Белорусское: «На сех днях выехау курьер з'аду, объявну, какая будзе грешникам награда».

** Белорусский список прибавляет («Там будзе работа песносная; иные лукавцы канаты вьюць, медники котлы куюць, ковали молотами бьюць, паны уголья толкуць, иные дзелаюць кручьа».

некоего священника и дьякона. Обрадовался сатана, испустил громкий глас: «О еси вы, мои благодетели!.. вы при церквах своих проживали, а всегда мою волю совершали... *Табачищем нос набивали* и за то греха не считали, и вино и пиво пили, яко воду в рот свои лили... о себе же и о стаде своем не пеклися, чтобы души их и ваши спаслися, и только припосы их обирали и кутью сладкую хлебали». Преданы и эти грешники вечному огню. За ними приведены гордые купцы да бояре; сатана обещается угощать их несытие утробы разжженным оловом, смолою и серою*, а косою бес захватывает их багром и увлекает в преисподнюю. Тогда предстали пред сатану: *опойца* — «бес кривой бросил его в адскую темницу вниз головой», *ростовщик* — он много процентами «денег скопил, себе место в аду откупил» и низринут в преисподнюю вверх ногами; *девицы песельницы* — мастерицы. «Живите тут без скуки (говорит песельницам сатана), потому что вы хорошо понимали мои науки, в праздники и в воскресенье пели, плясали, скакали, монх бесов переиграли; *рубашки носили большие воротки*, а певши песни наслаждались свои протки**». И приказал сатана связать им руки и ноги, нарядить в свою одежду и посадить их во тьму крошечную. «И по сем приидоша нищие и смиренные духом с голодным брюхом, и сатана их не возлюбил, сего ради гордо с ними говорил: «Куда вы, глупые, зашли, или в царство небесное дороги не нашли? Вы о грехах своих день и ночь болели и во аде себе места готовить не велели. Здесь места все заняли люди не простые, богатые, толстые, господа и вельможи, которые завсегда мне были угожи». Нищие... в ту же минуту, хватая свои кошель, во царство небесное побрели***».

В заключение прибавлено: «Сия газета писана на глум, а должно ее понимать (принимать?) всякому человеку на ум».

* Белорусский список: «Я вас буду неотменно угощать огнем пламенем; для ваших роскошных тел есць у меня в аде большой котел, для вашей скромной души растоплю я олово вместо пуншу...»

** Протка — горло [...].

*** Белорусский список: «Убогие старцы, подхватя свои хатомки, наделали в аде много ломки». В этом списке в числе других грешников выведены: малаханцы¹, кривотолки и перекрещенцы.

Княгиня Дашкова представляет собою одну из самых оригинальных личностей прошлого столетия. По отзыву графа Сегюра¹, она только по случайной, прихотливой ошибке природы родилась женщиной; но силами ума, жаждою политической деятельности, честолюбием и твердостью характера походила на мужчину; это замечалось даже в некоторых мелочных ее привычках: так, она любила носить одежду, подобную мужскому сюртуку, что очень гармонировало с грубыми, мужественными чертами ее лица. Екатерина Великая высоко ценила ее познания и считала ее умнее многих мужчин, но не могла поладить с ее упрямством и стремлением стать выше всех при дворе. Как образовался такой исключительный характер? Ответ на этот вопрос столько же должно искать в чрезвычайных дарованиях ума и души княгини, сколько и в необыкновенном для того времени воспитании, какое выпало на ее долю. Оставленные княгиней Дашковой на английском языке записки о своей собственной жизни лучше всего свидетельствуют в пользу сейчас высказанного положения[...].

[...]Княгиня Дашкова в самом раннем детстве лишилась нежных забот матери и была взята на воспитание дядею своим, государственным канцлером М. И. Воронцовым². Здесь учится она четырем иностранным языкам, танцам и музыке; предметы серьезного изучения не признавались тогда за необходимые в образовании женщины. Но у Воронцова была большая и отборная библиотека, составленная из иностранных сочинений, и воспитанница его сумела воспользоваться этим собранием. Жажда сведений и желание занять чем-нибудь свой праздный ум, побудили ее приняться за чтение, и вскоре она предалась этому занятию с полным увлечением: Бейль³, Монтескье, Вольтер, Буало сделались любимыми ее писателями. Целые ночи проводила она за книгами, до совершенного изнурения сил. Когда страсть молодой девушки к чтению сделалась известна, граф Шувалов⁴ начал сообщать ей все ученые и литературные новости, получаемые им из Франции. Потом в доме канцлера она постоянно сходилась с дипломатами и образованнейшими из иностранцев; среди такой обстановки ее пылливому уму трудно было остаться равнодушным к современной политике, и действительно,

политика сделалась для нее самым занимательным предметом. По собственному признанию, она мучила своими расспросами всех приезжавших министров, ученых и художников о их отечестве, законах и различных формах правления. Чувство честолюбия незаметно стало овладевать ее душевными силами. Тогда началась переписка ее с братом, содержанием которой были придворные и политические происшествия. Таким образом, развился этот неуступчивый, энергический и тревожный характер. Нежно привязанная к императрице, хорошо знакомая с придворными переворотами, которые так обыкновенны были в первой половине XVIII века, княгиня с безумною смелостию принимает участие в перевороте 1762 года⁵ и, восемнадцати лет, отдается смелым честолюбивым замыслам. Впоследствии, когда надежды на значительную политическую роль покинули ее, княгиня путешествует за границу, знакомится с коронованными главами, учеными и литературными знаменитостями Европы и сама выступает на поприще писателя и журналиста. Необходимо заметить, что, согласно тогдашней системе модного аристократического воспитания, княгиня до самого замужества весьма плохо знала родной язык и с трудом могла на нем объясняться; чтобы угодить своим новым московским родственникам, она деятельно принялась за изучение русского языка и оказала довольно быстрые успехи. Здесь таится причина, почему во всех ее произведениях чувствуется недостаток живого отношения к языку. Из выписок, которые будут приведены в своем месте, читатели увидят, что в ее прозе господствует тяжелая расстановка слов и заметно отсутствие всякого влияния устной речи.

С любовью к науке и серьезному чтению княгиня Дашкова рано обратилась к литературным занятиям, которые если вначале и уступают ее честолюбивым политическим замыслам, зато после, при ослаблении ее значения при дворе, должны были выступить на первый план. В семнадцать лет она пишет русские и французские стихи и сообщает их, вместе с своими прозаическими заметками, Екатерине II, тогда еще великой княгине. Из этих начальных попыток уцелело одно четверостишие, напечатанное впоследствии в «Собеседнике»⁶; другие, к сожалению, исчезли, и едва ли можно надеяться, чтоб они были когда-нибудь найдены. Пер-

вое печатное произведение ее пера был перевод Воль-терова *Опыта об эпическом стихотворстве*, помещенный в московском ежемесячном журнале «Невинное упражнение» (1762—1763 годов). По словам Новикова⁷, в этом же издании за 1763 год княгиня напечатала некоторые «изрядные» свои стихи, но какие именно принадлежат ей — сказать трудно.

По возвращении из первого путешествия своего по Европе княгиня Дашкова участвует в основании Вольного российского собрания при императорском Московском университете⁸ и, наряду с другими литераторами и учеными, принимает звание действительного члена этого общества и помогает ему своими переводами и статьями*. В первой части «Опыта трудов Вольного российского собрания» она поместила *Опыт о торге г. Гюма* (то есть Юма)⁹ и две главы, переведенные из какого-то иностранного сочинения[...].

[...]К переводу этих двух глав предпослано ею, в виде предисловия, *Письмо к другу*, в котором говорит: [...]«Красоты слога более нужны в стихотворстве или легких творениях, нежели в моралических сочинениях. Я не сомневаюсь, чтоб число писателей в нашем отечестве от времени до времени не умножалось, почему и льщусь, что потомки наши будут иметь то преимущество, что красоты слога будут безвредно присоединяемы к сочинениям философическим. Напротив того, теперь писатель, который пишет для того, чтоб умножить сведения своих сограждан, должен стараться только быть вразумительным и не стремиться за славою красноречивого писателя».

Во второй части «Опыта трудов Вольного российского собрания» княгиня Дашкова поместила перевод из английского *Смотрителя* (Спектатора) о шутке и отрывок из дневных записок, веденных ею в недавнее путешествие, с предисловием, под названием: *Письма к другу*. Отрывок этот озаглавлен так: *Путешествие одной российской знатной госпожи по некоторым английским провинциям*[...].

[...]В дорожном журнале своем княгиня описывает

* Княгиня Дашкова пожертвовала впоследствии Московскому университету свой богатый кабинет естественной истории и редкостей, на собрание которого употребила более 30 лет. Эта коллекция, оцененная в 50 000 руб., погибла в 1812 году; тогда же расхищена и библиотека княгини.

виденные ею по пути из Лондона в Оксфорд и Бат загородные дома и сады английских лордов, мимоходом упоминает о Портсмуте, Сутгамптоне и Салисбюри, говорит о соборных церквях, об остатках древнего друидского храма¹⁰, о банях, гуляньях и увеселениях в Бате, подробно рассказывает об устройстве коллегий, составляющих славный Оксфордский университет, и наконец вспоминает о дворцах в Виндзоре и Гамптон-куре. Она осматривала все с самым живым любопытством, и заметки ее говорят о всестороннем образовании и уме наблюдательном. Нельзя не пожалеть, что уцелел, благодаря печати, только этот один отрывок из путевых записок Дашковой; остальное едва ли не навсегда для нас потеряно; по крайней мере еще никем не указаны следы, по которым бы можно было заключить о месте, где хранятся бумаги княгини[...].

[...]Когда княгиня приехала в Оксфорд, ее тотчас же посетили русские студенты, которые воспитывались в здешнем университете; потом приезжал университетский вице-канцлер в своей торжественной мантии, с жезлом в руках и от имени всего университета поднес знаменитой путешественнице книгу с эстампами всех у них хранящихся древних статуй и барельефов, «которую честь (замечает княгиня) редким проезжающим делают». Осматривая оксфордские коллегии, княгиня обратила внимание в библиотеке на некоторые русские манускрипты, именно: русско-греческий словарь, с объяснением грамматических правил, и Аристотелевы поучения.

Но особенно интересны в ее путевых записках отзывы об английском народе, к которому чувствовала она высокое уважение. «Англия (признается княгиня Дашкова) мне более других государств понравилась. Правление их, воспитание, обращение, публичная и частная их жизнь, механика, строение и сады, все заимствует от устройства первого и превосходит усильственные опыты других народов в подобных предприятиях. Любовь англичан к русским также должна была меня к ним привлечь». Осматривая дом, машины и орудия вольного общества художеств и торговли в Лондоне, «я (замечает княгиня) некоторый род почтения в себе чувствовала к сему месту, из которого истекает такая польза и облегчение сему счастливому и просвещенному народу». На других страницах путевого

журнала читаем: «В сей день ничего знаменитого не видали, и осталось бы только описывать чистоту и хорошее услужение, коим в английских трактирах проезжающий пользуется, если бы то уже не было известно». — «Поехали в дом загородный герцога Мальбурка, который пожалован в 1708 году славному герцогу Иону Мальбурку королевою Анною и парламентом за знатные его отечеству услуги, а особливо за баталию Блейгеймскую, по которой и дом сей назван Блейгейм¹¹. Он построен на народные деньги с таким великолепием, что конечно — достойный сего могучего народа подарок». [...]

Вторичное путешествие по Западной Европе и заботы о воспитании сына надолго приостановили литературные занятия княгини Дашковой. По возвращении в отечество в декабре 1782 года она назначена директором С.-Петербургской Академии наук и с этого времени принимает самое живое участие в успехах русского просвещения и русской литературы. Первым делом ее было старание исправить и устранить те беспорядки и злоупотребления, какие были допущены прежде бывшим директором Домашневым¹², уплатить долги академии и увеличить ее материальные средства. Вместе с этим надо было озаботиться о постоянном и правильном издании ученых академических трудов. По словам княгини, журнал, который прежде ежегодно издавался при академии двумя книжками, в четвертку, впоследствии сжался в одну, а потом и совсем был прекращен, за недостатком шрифтов; новый директор привел типографию в должный порядок, снабдил ее всеми необходимыми принадлежностями, и вскоре затем вышли еще две книжки журнала академии, составленные большею частью из статей знаменитого Эйлера¹³[...].

Вокруг княгини собрались теперь все любители наук, художеств и словесности, все ученые и литературные знаменитости екатерининского века, и с их помощью и при содействии самой императрицы решилась она приняться за издание при академии нового журнала: то был *Собеседник любителей российского слова, содержащий разные сочинения в стихах и в прозе некоторых российских писателей*. В 1783 году вышло десять частей *Собеседника*, а в 1784-м — еще шесть. Вот «Предуведомление» об издании этого журнала, которое появилось в «Санктпетербургских ведомостях» (апрель

1783 года, № 30) и потом припечатано к первой книжке *Собеседника*: [...]«Сие собрание издаваться будет по частям, заключаая в себе только одни подлинныя российские сочинения; почему присылающие труды свои для напечатания в сем *Собеседнике* благоволят присылать только таковые, или подражания сочинениям, изданным на других языках; а переводы, какого бы они рода ни были, помещены здесь не будут... Желающие сделать честь помещением своих трудов сему *Собеседнику любителей русского слова* благоволят присылать труды свои... к ее сиятельству княгине Е. Р. Дашковой, которая, однако ж, предоставляет себе право таковые сочинения рассматривать, и ежели что в таковых найдется непристойное, нравам вредное или какому-либо лицу предосудительное, то оное в сие собрание не внесется».

В этом объявлении от редакции впервые было высказано желание составлять журнал из одних оригинальных русских сочинений, что должно было представлять в то время большие затруднения. В таком желании нельзя не видеть стремления вызвать русскую мысль к самостоятельности и придать новому изданию по возможности характер более национальный — цель, которую, разумеется, нелегко и даже почти невозможно было достигнуть при тогдашних условиях образования. Направление *Собеседника*, с одной стороны, не могло не подчиниться общему литературному движению эпохи; с другой, оно резко определилось отношениями княгини Дашковой к императрице. Толкуя о важности просвещения, о водворении гуманных начал и общежительности, *Собеседник* расточает щедрые похвалы правительственным мерам в пользу народного развития и принимает на себя нетрудную роль защитника екатерининского времени от нападок людей близоруких и отсталых. Сравнение нового века с прошлым было одним из тех аргументов, на которые любили опираться и сама Екатерина II, и ее сотрудники.[...]

Рядом с защитою нового времени является в *Собеседнике* сатира, наследованная им от изданий семидесятых годов. Впрочем, она значительно уступает в резкости и серьезности тем статьям, какие печатались в еженедельных листках Козицкого¹⁴ и Новикова. Сатира *Собеседника* главным образом восстает против модных нравов большого света, излишнего пристрастия к фран-

цузскому языку, бесплодных путешествий в Париж, мотовства и т. д., и в этом отношении не говорит для нас ничего нового, что бы ни было высказано прежде и гораздо резче.[...]

В *Собеседнике* соединились все талантливые писатели того времени: Державин, Фонвизин, Богданович, Капнист, Княжнин, Козодавлев¹⁵ и другие. Такое дружное содействие их новому журналу современники справедливо приписывали влиянию княгини, что не раз было высказано в различных стихотворениях, помещенных на страницах *Собеседника*. В одном стихотворении Богдановича выведена Минерва, именем которой литераторы прошлого столетия называли императрицу; обращаясь к Аполлону, она говорит:

Желание я знаю муз;
Я их *возобновлю* союз,
Наукам верну дам подпору,
И в нову почесть их собору —
Возвысить область в них мою —
Начальство Дашковой даю.

В «Письме к Капнисту» сказано, что государыня даровала российскому стихотворству нового Мецената: «В России таковые покровители еще нужнее, чем в других государствах; поскольку публика наша не очень охотно читает: *Душенька* и многие другие сочинения в стихах лежат на книжных лавках не проданы, тогда как многие переведенные романы печатаются четвертым тиснением».

«Я также работала для *Собеседника*», говорит княгиня Дашкова в своих записках; но подписи ее не видно ни под одною статьею, ни под одним стихотворением, и трудно добраться до положительного решения, какие именно сочинения принадлежат ее перу. Только «Надпись к портрету Екатерины» принадлежит ей бесспорно. Четверостишие это написано еще до июньского переворота 1762 года и напечатано впоследствии в 1-й части *Собеседника*[...]:

Природа в свет тебя стараясь произвесть,
Дары свои на тя едину истожила,
Чтобы на верх тебя величества возвесть,
И награждая всем, она нас наградила.

Во 2-й части *Собеседника*[...] статья *О смысле слова воспитание*, вероятно, также принадлежит княгине; здесь, между прочим, автор вспоминает об Эдинбург-

ском университете, в котором (как известно) воспитывался молодой князь Дашков. «Да не возмутятся (говорит сочинитель) читатели мои затруднениями, встречающимися им во множестве показанных наук; пример может их удостоверить о возможности сего: некоторый молодой соотечественник наш, быв уже довольно приурочен ко вступлению в классическое поучение, в три года пребывания своего в некотором университете окончил классическое свое воспитание с удивительным успехом, коему вся публика несколько раз свидетельницею и судьей вместе с профессорами была». Очевидно, княгиня говорит о своем сыне, который, по свидетельству, занесенному ею в свои мемуары, выдержал публичный экзамен в Эдинбургском университете с таким блестящим успехом, что вызвал со стороны публики громкие и единодушные рукоплескания.

«*Прадеды* наши (рассказывает княгиня) называли *воспитанием* то, когда они выучат детей своих Псалтыри и считать по счетам. Должность гражданина и право естественное юношеству было неизвестно: они без зазору могли пребывать суровыми мужьями и отцами, немилосердными господами, и отличные природные дарования исчезали. Но в этом воспитании незнание, а не развращение видимо было. *Деды* наши воспитание понимали уже несколько иначе. Ябеда¹⁶ их поощрила детей своих учить уложению; скоро потом артикул со сказкою Бовы-королевича читался; наконец и арифметикою не все пренебрегали. *Отцы* наши воспитывать уже нас желали как-нибудь, только чтоб не по-русски и чтоб чрез воспитание наше мы не походили на россиян. Тогда танцмейстеры, французские учителя или *мадамы*, по их мнению, все воспитание совершали, хотя с улиц парижских без пропитания шатающиеся или от заслуженного в отечестве своем наказания укрывающиеся, оными воспитательницами по большей части бывали. Нередко случалось слышать, особливо в замоскворецких съездах или беседах, как то на родинах, именинах или крестинах: «Что ты, матушка, своей манзеле даешь?» — «Дорога, проклятая, дорога! да что делать: хочется воспитать детей своих благородно, 180 рублей деньгами, да сахару по пяти и чаю по одному фунту на месяц ей даю». — «И, матушка! я так своей больше плачу, 250 рублей на год, да домашних всяких припасов даю довольное число; правду сказать, за то она уже

моет кружево мое и чепчики мне шьет, да и Танюшу выучила чепчики делать. Нынче, матушка, уж и замуж дочери не выдашь, коли по-французски она говорить не умеет...» Учителями же бывали не только парижские лакеи, но и таковые, которые уже и в России ливрею носили. Воспитание сие не только не полезным, но и вредным назваться может; ибо лучше бы было Танюше не уметь чепчиков шить, кружева мыть и по-французски болтать, да не иметь и тех гнусных в голове и сердце чувствований, кои подлая и часто развратная французская девка ей впечатлевает. Она бы могла быть лучшей женою, матерью и госпожою, если бы, не зная худо чужого языка, природному своему языку выучена была и если бы она имела любовь к отечеству вместо пренебрежения, почтение к родителям, любовь к порядку, скромности и хозяйству, а не роскошь, ветренность и небрежение в себе показывала. Мы еще более удалились от справедливого смысла, заключающегося в слове *воспитание*, прибавя к разврату, который учителя и мадамы в сердца детей наших сеют, разврат, которому предаются дети наши, путешествуя без иного намерения, кроме веселия, без рассудка, без нужного примечания и погружая себя в Париже или Страсбурге только в праздность, роскошь и пороки, с истощенным телом и кошельком домой беспорядочно возвращаются. Ни в поле, ни в совете или служении отечеству они себя отличить и посвятить хотят; танцы, клавикорды или скрипка, разговоры о театрах — вот благородное и пространное поле, которое наши дети выбрали и на котором отличиться желают». За этой картиною современного воспитания, нарисованною в духе сатирических нападок, которыми столь обилён прошедший век, автор предлагает к сведению воспитателей следующие *аксиомы*: а) воспитание более примерами, нежели предписаниями, преподается; в) воспитание ранее начинается и позднее оканчивается, нежели вообще думают; с) воспитание состоит не в одних внешних талантах; d) оно не заключается в едином изучении чужих языков. Совершенное воспитание должно состоять из физического, нравственного и школьного или классического. «Физическое воспитание выполняется, когда детям чрез простую пищу, чрез простое и покойное платье, чрез движение, привычку к воздуху и трудам подадут силы и сделают их телом крепкими и здо-

ровыми»; нравственное заключается в том, чтоб вкоренить в сердце воспитанника любовь к отечеству и правде, почтение к законам, омерзение к эгоизму и убеждение в той истине, что нельзя быть благополучным, «не выполнив долгу звания своего»; школьное состоит в изучении различных наук и языков древних и новых[...].

Главную сотрудницу нового периодического издания была императрица; по указанию г. Грота¹⁷ из 2800 страниц, составляющих *Собеседник*, более половины принадлежит Екатерине II, именно: 1456 страниц. Здесь напечатаны ею: а) *Записки касательно российской истории*. По словам предисловия, они «сочинены для юношества в такое время, когда выходят на чужестранных языках книги, под именем истории российской, кои скорее именовать можно сотворениями пристрастными; ибо каждый лист свидетельством служит, с какою ненавистью писан, каждое обстоятельство в превратном виде не токмо представлено, но к оным не стыдились прибавить злобные толки. Писатели те хотя сказывают, что имели российских летописцев и историков пред глазами; но или оных не читали, или язык русский худо знали, или же перо их слепую страстию водимо было».[...]

Записки касательно российской истории представляют простой выбор летописных свидетельств, с присоединением родословных росписей князей и современных им владетелей в других государствах. Критики источников и разъяснения внутреннего смысла передаваемых ими факторов искать здесь нечего; автор, однако, нигде не увлекается теми баснословными сказаниями, которыми обильны другие исторические сочинения того времени, например: Елагина и Эмина¹⁸[...].

б) *Были и небылицы*: сатирический характер этого сочинения очевиден. Здесь встречаем многие остроумные заметки против различных суеверий, толков невежества, излишнего мотовства и модных нравов — предмет не новый: против того же ратовала и вся современная литература. Тем не менее *Были и небылицы* имели в свое время значительный успех. Кроме того интереса, какой придало им в глазах публики имя автора, *Были и небылицы* обращали на себя справедливое внимание, потому что набрасывались легко, шутливо, без строгой последовательности и связи; но свобода эта допущена

автором не без умысла: он откровенно объявил те правила, которым намерен следовать в своих литературных работах и которые так новы должны были показаться в тот век торжественных од, натянутых метафор и подкрашенного слога. «Я решаюсь (говорит императрица): 1) не писать шероховато либо с трудом, аки подымая тягости на блоке; 2) писав, думать не долго и не много, наипаче не потеть над словами; 3) краткие и ясные выражения предпочитать длинным и кругловатым; слова должны быть *самотеки*; 4) принимаясь за перо, думать по-русски; 5) иностранные слова заменять русскими, а чуждых слов не занимать, ибо наш язык и без того довольно богат; 6) красноречия не употреблять нигде, разве само собою на конце пера явится; 7) скуки нигде не вплетать, особенно умничаньем безвременным; 8) за смехом, за умом, за прикрасами не гоняться; 9) ходулей не употреблять, где ноги могут служить, то есть избегать надутых и высокопарных выражений; обыкновенные — пригоднее и лучше; 10) проповедей не сочинять; 11) глубокомыслие окутать ясностью, а полномыслие легкостью слога, дабы всем сносным учиниться».[...] С другой стороны, *Были и небылицы* должны были возбуждать особенное любопытство читающей публики своими намеками на современные лица и происшествия. К сожалению, при недостатке литературных мемуаров этот интерес для нас почти совсем утрачен; ибо без необходимых комментариев теперь трудно отгадать и пояснить значение и скрытый смысл различных намеков. Насмешливые указания на живых лиц, на их странности и недостатки были в ходу в литературе прошлого столетия. Так, Сумароков в одной своей комедии выводит на сцену Тредьяковского, в другой намекает на печальную судьбу семейства Крашенинникова. Актер Дмитриевский в похвальном слове Сумарокову говорит, что он часто осуждал своих знакомых и сродников и что эта черта его характера засвидетельствована в комедии *Лихоимцев*. Сам Сумароков в просьбе своей на имя императрицы[...] жаловался, что сестра его и зять принимали на свой счет характер Чужехвата (в комедии *Опекун*); но Чужехват — прибавляет беспокойный автор — нимало не изображает тех качеств, какие мой зять имеет; ибо он людям своим и дров не дает, приказывая, чтоб они дрова сами на Москве-реке воровали. За то эта выходка о дровах внесе-

на Сумароковым в комедию *Лихоимцев*. Забытый ныне драматический писатель прошлого века Лукин¹⁹ в комедии *Мот, любовью исправленный* вывел, по словам Новикова, два живые подлинника, представляя которых актеры много смешили зрителей искусным подражанием выговору, ужимкам, телодвижениям и самому платью осмеянных лиц. Комедии Екатерины II также не чуждались этого легкого способа возбуждать любопытство и смех зрителей. *Обольщенный* и *Обманщик* написаны императрицею против мартинистов, которых смешивали тогда с иллюминатами, и в последней пьесе под именем Калифалкжерстона выведен Калиостро, посетивший в семидесятих годах Россию, оставивший и у нас своих адептов; на него же устремлена и комедия *Шаман Сибирский*[...]. В записках Храповицкого²⁰ читаем: [...] «Отдана мне для переписки *L'Insouciant, comédie en trois actes**; она изображает всего Л. А. Н. (Нарышкина?)». — «Получил для переписки на российском языке пословицу: *За мухой с обухом*. Тут очень ясно между Постреловой и Дурындиным описана тяжба княгини Дашковой с Л. А. Н. (Нарышкиным)». Когда пословица эта была переписана, то «признались, что надобно смягчить суровость имен и выкинуть хвастовство Постреловой о вояжах»; пьеса, однако, осталась неиграною и не была напечатана. Ссора Дашковой с Нарышкиным вышла из-за свиней последнего, которые забрались в сад княгини и изрыли ее цветы; раздраженная хозяйка велела их перебить; из этого возник процесс, который породил в свое время много злых толков. Очень естественно, что и в *Былях и небылицах* подобные намеки на разные лица, близкие двору, и на смешные случаи в их жизни должны были играть не последнюю роль; но ключ к ним едва ли не навсегда потерян; оттого сочинение это представляет для нас много темного, загадочного и не возбуждает того интереса, какой связывали с ним современники.[...]

Известно несочувствие Екатерины Великой к мистическим мечтаниям масонства. В *Былях и небылицах* попадаются насмешливые заметки против любви мартинистов к обрядности и против веры их в чудесное. Приводя эти места, считаем нелишним указать, что в смирдинском издании «Сочинений Екатерины» они сокращены: «Друг мой А. А. А., который более смеется,

* Беззаботный, комедия в трех актах (фр.).

нежели плачет, услан за массонскими делами во Швецию, где, сказывают, по касающемуся до того толсто смыслят; привезет ли он более прежнего, никак неизвестно. Многие сомневаются, чтоб привез что-либо, разве новый какой градус или степень взамен посланных денег; в таком случае лоскуток прибудет или убудет, или на ковре, а может быть на столе рак или каракатица вновь вымышленным знаком узрим». «Из письма к другу А. А. А.: «Буде привезешь лекарство от всех болезней, то не имсв ни единой, не будет мне в том никакого барыша. Духи для меня были бы забавны, послушал бы я охотно их рассказов. Буде снова навезешь произведения и чинов, то готов с тобою по-прежнему играть в жмурки; я всегда любил сию игру, она потеха забавна в долгие вечера. Между нами сказать, не навези ты нам долгих речей, буде можно. Впрочем, пребываю...»

В 1783 году по мысли княгини Дашковой учреждена была новая Российская академия. Во время прогулки в Царском Селе зашла однажды у императрицы с княгинею речь о богатстве и красоте русского языка. Княгиня Дашкова заметила при этом, что не достаёт только правил и хорошего словаря к тому, чтоб освободить наш язык от иностранных слов и оборотов. Решено было основать для этих работ особую академию, и тогда же поручено княгине составить проект этого учреждения. По возвращении домой княгиня Дашкова написала *Доклад об учреждении Российской академии*, в котором, между прочим, высказаны следующие положения: 1) Императорская Российская академия долженствует иметь предметом своим: *вычищение* и *обогащение* русского языка, общее установление употребления слов онаго, свойственное оному витийство и стихотворение; 2) для достижения этой цели прежде всего надо соеоставить русскую грамматику, русский словарь, риторику и правила стихотворения; 3) членов должно быть не менее тридцати пяти. Доклад был представлен государыне и возвращен с высочайшею подписью и с назначением кн. Дашковой президентом этого нового ученого собрания. 21 октября было первое его заседание, открытое речью княгини. В следующем месяце уже приступлено было к составлению словаря и определено держаться не алфавитного, а этимологического порядка. Академики составили

из себя три отдела: *грамматикальный, объяснительный* и *издательский*. Первому поручено было приготовление грамматических примечаний, второй обязан был определять значение слов, а последний заботиться о соблюдении порядка и исправности при издании словаря. Собрание слов на различные буквы также было разделено между членами академии; буквы Ц, Ш и Щ приняла княгиня на свою ответственность; буквы К и Л достались Фонвизину, Т — Державину и т. д. Княгиня Дашкова причислила себя к объяснительному отделу и составила определения следующим словам: *дружба, друг, задумчивость, добродетельный человек*. Определения эти напечатаны в III томе сочинений и переводов, издаваемых Российской академиею.[...] Чрез одиннадцать лет после открытия Российской академии весь словарь был ею издан в шести томах (1789—1794 гг.).

Как президент двух академий, княгиня Дашкова главным образом должна была заботиться об *очищении* русского языка и установлении правил изящного, и к этой цели действительно направлены многие статьи *Собеседника*. Уже в первой части этого журнала находим такое воззвание, очень может быть, написанное самою же княгинею: «Издатели *Собеседника* просят всех любителей русского слова и всю публику, ежели кто захочет написать критику на какое-либо сочинение, находящееся в сем собрании, не искать других типографий к напечатанию таковых критик или сатир, но присылать оные прямо к издателям *Собеседника* или на имя ее сиятельства кн. Е. Р. Дашковой, которая, конечно, прикажет оные без наималейшей перемены напечатать в сем же *Собеседнике*: ибо желание ее есть, чтоб российское слово вычищалось, процветало и сколь возможно служило к удовольствию и пользе всей публики, а критика без сомнения есть одно из наилучших средств к достижению сей цели».[...] Вызов был услышан, и тотчас же началась полемика между современными литераторами по поводу 1-й книжки *Собеседника*. Нужно заметить, что, согласно тогдашнему незатейливому взгляду на задачу и требования критики, эта последняя почти исключительно касалась употребления слов, выражений и грамматических форм. При слабом понимании законов языка и совершенной ничтожности филологического образования все таковые заботы очищать слог явились более или менее произвольными;

личное впечатление и личный вкус критика служили ему лучшей опорой, а они не всегда были непогрешительны.[...]

Здесь встречаем заметки на *Оду к Фелице*, с подстрочными возражениями самого Державина, и на стихотворения Ипполита Богдановича, также с его возражениями. Эти полемические опыты Державина и Богдановича, к сожалению, не вошли в так называемые полные собрания их сочинений; даже и стихотворения Богдановича: *Разговор Минервы с Аполлоном* и *К деньгам*, по поводу которых возникла полемика, не попали в смирдинское издание. Надо желать, чтоб будущие издатели пополнили эти пропуски, которые тем более досадны, что (при редкости старинных журналов) лишают многих знакомства с критическими приемами этих замечательных для своего века писателей. Автор *Сомнительных предложений* недоволен стихом Державина: «Младой девицы чувства нежа». «Мне показалась, говорит он, мысль неправильна. Глагол *нежить* значит удовлетворение приятным ощущением какой-нибудь телесной вещи; а чувства суть сами инструменты к сему удовлетворению». Ответ Державина любопытен своею бесцеремонностью. «Ежели нет у господина Невежды прекрасной женщины, которая бы приятными своими объятиями нежила его есязание; то не благоволит ли он приказать себя кому хорошенько ожечь или высечь. Когда сие ему сделает хотя небольшую боль, то вероятнее всех ученых доказательств, из собственного своего опыта познает он, что оскорблять чувства, следовательно, и нежить можно». Далее критик восстает против уподобления поэзии лимонаду и против стихов:

Да дел твоих в потомстве звуки,
Как в небе звезды возблестят.

«Сделав сии маленькие примечания (прибавляет он), я жалею, что мое невежество принудило меня, может, несколько помешать удовольствию, которое стихотворец от звука похвал вкушает: помешательство хотя самое малое и краткое, но в таком положении всегда рождает докучные чувствования тем самым, что оно его (то есть удовольствие) прерывает. Человек, покоющийся сладким сном, приклоня главу свою на венки, сплетенные ему похвалою, от поднесенной (к)

закрытым глазам его свечи пробуждается с неприятным ощущением». Державин отвечал, что хотя звуки блистать и не могут, но что эта метафора позволительна; что же касается уподобления поэзии лимонаду, то в этом случае мурза мерил по своему аршину. «Впрочем, не коротко зная сочинителя, напрасно г. Невежда сожалеет и заботится о нем, что якобы сделал ему какую-то скуку возбуждением его от сна похвал поднесенною своею свечою; ибо свеча его, как кажется, худо просвещает, а сочинитель человек сырой, спит всегда крепко и мало слушает похвал; то и не огорчается, если кто и вздумает пресекать оные. Ежели ж кто его и разбудит недельно, то он без всякого, однако, сердца открывается: поди, братец, с своими пустяками от меня прочь и не мешай мне спать!»[...]

Против Богдановича критик замечает, что нельзя сказать: возобновлю союз муз, и что в *Стихах к деньгам* грешит он против исторической правды. Ответ Богдановича состоял из следующих четырех вопросов: «а) Глагол *возобновлять* употребляется ли впоследствии ветхости, упадка, небрежности и запущения, равно как впоследствии разрушения? в) Стихотворная и всякая шутка может ли отдаляться от правды? с) Стихотворная фикция имеет ли свое право не зависеть от исторических или баснословных писаний? d) Всякое ли предположительное предлагается? [...]

XVI частью покончился *Собеседник*. Здесь [...] напечатана статья: *Историческая, философическая, политическая и критические рассуждения о причинах возвышений и упадка книги, во всех концах Российския империи в 1785 году славившейся, и по столичным губернским, областным и уездным городам той империи до сего дня читаемой, но не столько как прежде покупаемой, а именно: Собеседника любителей российского слова*. Г. Грот приписывает эту статью Козодавлеву*. Содержание ее следующее: в то время, как торжественные оды, наполненные именами баснословных богов, стали наводить на читателей нестерпимую скуку, в исходе 1782 года проживавший в С.-Петербурге татарский мурза сочинил оду к Фелице. «Сие сочинение писано совсем иным слогом, как прежде такого рода стихотворения писывались. Мурза прочел оду другу

* Современник, 1845, № XI

своему, некоторому молодому россиянину, который так же, как и он, наполнен благоговением к сему примеру земных царей, а сверх того и благодарностию за излиянные Фелицею на воспитание его щедроты... В начале 1783 года помянутый россиянин определился в какую-то должность при российском Парнасе*. Сие подало ему случай показать сочинение мурзы начальнице Парнаса (кн. Дашковой), которая красоты и истины, находящиеся в сей оде, почувствовав, решила приказать ее напечатать; а дабы чрез то подать случай и другим сочинителям изощрять свои дарования, вздумала она издавать книгу, под заглавием: *Собеседник любителей российского слова*. «Ода к Фелице» имела необыкновенный успех, и первая книжка журнала, тотчас же по выходе в свет, разошлась по рукам читавшей публики. Слух о щедром награждении мурзы хороших писателей поощрил к дальнейшим трудам, а в дурных возбудил зависть. «Дурные стихотворцы и их приятели ополчились на издателей. Любословы или Пустословы начали писать критики — загорелась война; но война сия еще более возвысила *Собеседника*. Он явился в Москву и во многие другие города империи». Известность журнала была с успехом поддержана *Записками, касательно российской истории* и *Былями и небылицами*. На этом прерывается статья Козодавлева, и причины упадка *Собеседника* остаются, к сожалению, необъясненными. Причины эти скрываются в условиях самого времени, которое, при малом распространении образования и при слабости политических, научных и художественных интересов общества, не могло выставить достаточного числа людей, чувствующих потребность чтения. Новость предприятия, участие самой императрицы в журнале и возникшая вследствие того всеобщая молва, конечно, могли на время заинтересовать многих; но обстоятельства эти были случайны, и, удовлетворив своему любопытству, публика скоро погрузилась в прежнее равнодушие. С другой стороны, *Собеседник* вовсе не отличался тою особенною смелостию, которая могла бы возбудить общее внимание и вызывать одних на сочувствие, а других на неприязнь. Сатира его слаба, особенно в сравнении с новиковским *Живописцем*. И стихотворения, и прозаические статьи главным образом

* Козодавлев был назначен советником при Академии наук.

клонились к восхвалению правительственных забот, и похвалы эти не всегда были умеренны. Так, например, в XVI части *Собеседника* напечатано *Новейшее путешествие, сочиненное в городе Белеве*. «Напоследок (говорит автор о своем отечестве) вступил я в область известной свету великой государыни. Наслышавшись, какие опустошения терпят земли, производящие войну, удивился я, не приметив ни следов оного. Мне не представлялось, кроме лугов, наполненных стадами, и нив, клонящихся под бременем своего изобилия. В одних местах земледельцы встречались мне поющие; удовольствие и изобилие сияло на их здоровых лицах; а в других, приобретенных вновь странах видел я населения. Свои и чужеземные стекались там, и поминутно пустыни превращались в сады. По дорогам встречались мне караваны купцов либо везущих избытки отечества, или возвращающихся в оное и обремененных корыстями. Разбойники и воры сведомы тут только по имени...» и так далее. [...] Понятно, что публика легко могла охладеть к таким ярким и щедрым на краски изображениям, как прежде охладела она к громозвучным одам.

В начале 1786 года княгиня Дашкова попробовала свои силы в драматическом искусстве. Убеждаемая императрицею, которая всех своих приближенных вызывала сочинять легкие пьесы для эрмитажного театра, княгиня написала комедию *Тоусёков*, сначала в трех действиях, но после, по настоянию государыни, переделала ее и распространила на пять актов. Комедия эта написана по французским образцам; русской действительности здесь и слухом не слышать. [...]

По свидетельству митрополита Евгения²¹, комедия *Тоусёков* была не единственным опытом княгини в драматическом роде; в 1799 году, будучи в деревне брата своего графа А. Р. Воронцова, она смотрела представление комедии Коцебу²² *Бедность и благородство души* и заметила, что сочинитель в развязке слабо изобразил возмездие, достойное благородства Цедестрейма и Фабиановой алчности к богатству; княгиня решилась тогда же написать продолжение этой комедии, под названием *Свадьба Фабиана, или Алчность к богатству наказанная*. Пьеса была написана, сыграна на деревянном театре, но осталась неизданною.

Деятельность Академии наук, под управлением кня-

гини Дашковой, сделалась более живою, что доказыва-
ется несколькими многотомными академическими изда-
ниями: *Nova Acta Academiae Scientiarum Imperialis
Petroropolitanae* (Спб., 1787—1806; 15 томов); *Российский
Театр, или Собрание всех российских театральных со-
чинений* (Спб., 1786—1794, 43 части); *Новые ежемесяч-
ные сочинения* (Спб., 1786—1796, 120 частей). Цель
последнего издания была: вводить в область науки и
тех читателей, которые не имели случая приобрести
прочного ученого образования, и для того печатать ста-
тьи общепонятные, полезные по своему содержанию и
остроте мыслей. [...]

В просвещенной заботливости о наиболее полезном
направлении академической деятельности княгиня Даш-
кова обратила внимание на необходимость пополнить
коллекцию минералов и озаботиться составлением
новых географических карт. В 1789 году писала она к
исправляющему должность иркутского генерал-губер-
натора (Якоби), что в минеральном кабинете Ака-
демии наук много недостает из числа ископаемых,
принадлежащих сибирским областям, и просила
его поручить кому-либо собрать эти недостающие
экземпляры каждого звания по два и доставить в ака-
демию, где «ныне минералогический кабинет приводит-
ся в лучший порядок». О составлении карт княгиня
упоминает в своих записках; она жалуется на генерал-
прокурора князя Вяземского. Во всякой статье *Собе-
седника*, сколько-нибудь отзывавшейся сатирою, он
постоянно видел намеки на себя или на свою жену и
потому всячески старался мешать княгине; даже пре-
пятствовал изготовлению новых исправных карт гу-
берниям, которых границы еще не были означены на
бумаге со времени последнего разделения империи:
вместо того, чтоб снабжать академию нужными ей до-
кументами, он поставил себе правилом задерживать и
те сведения, которые присылались от губернаторов по
просьбе княгини.

В 1793 году, по просьбе вдовы Княжнина, княгиня
Дашкова разрешила в пользу детей покойного драма-
турга напечатать на счет академии трагедию его: *Ва-
дим Новгородский*, в пяти действиях. В том же году
трагедия явилась в «Российском Театре» (ч. XL) из от-
дельных оттисков. [...] Произведение это, равно слабое
и со стороны исторической вероятности и со стороны

художественного выполнения, в свое время наделало много шума. Фельдмаршал граф Салтыков натолковал Зубову о вредном направлении новой пьесы; Зубов довел о том до сведения государыни, и вслед за тем прислан был в академический книжный магазин с.-петербургский полицеймейстер, который отобрал все экземпляры трагедии Княжнина; из всех книжек «Российского Театра» она была вырвана. Императрица объявила Дашковой свое неудовольствие в выражениях резких: «Эту трагедию следовало бы сжечь рукою палача», — сказала она. «Мне не придется краснеть от этого (отвечала княгиня); но прежде чем решитесь на такое действие, противное вашему характеру, прочтите сами пьесу». Действительно, трагедия Княжнина скорее представляет восхваление самодержавного монархического принципа, чем защиту республиканских доблестей. [...]

Очевидно, ни автор, ни издатели трагедии не имели никаких вредных умыслов; не так, однако, посмотрели на эту пьесу лица, стоявшие во главе современного управления. Под влиянием страха и подозрений, порожденных революционными смутами Франции, «Вадим» показался им набатом к ниспровержению порядка, и запрещение, обрушившееся на эту трагедию, должно быть поставлено в связи с печальной историей Радищева. Такой неприязненный взгляд на трагедию Княжнина утверждался на отдельных, отрывочно взятых фразах из монологов и разговоров Вадима и его сторонников, а вовсе не на сущности целой пьесы и не на главном впечатлении, ею производимом на читателя. [...]

Рассуждая о направлении сочинения, надо брать во внимание его во всей целостности, вникнуть в его основную идею, а не выхватывать отдельные слова и выражения, потому что, руководясь этою последнею методю, можно засудить какое угодно произведение и какого угодно автора.

История с «Вадимом» не могла не подействовать на отношения государыни к княгине Дашковой; отношения эти, и прежде чуждые совершенной доверенности с одной стороны и искренности с другой, теперь сделались еще холоднее. Академическая деятельность княгини ослабевает; в 1795 году она покидает столицу для деревенской жизни, а в следующем году император Павел

увольняет ее совсем от должностей директора Академии наук и председателя Российской академии.

О других литературных трудах княгини Дашковой имеем мы мало сведений. По указанию митрополита Евгения есть несколько ее статей в журнале «Друг просвещения», выходившем в Москве 1804, 1805 и 1806 годов; но какие это статьи — сказать нелегко. Не принадлежат ли княгине два письма к издателям этого журнала и два четверостишия (1805 г.[...]), подписанные Россиянкою? Под этим же псевдонимом встречаем в «Русском вестнике» 1808 года, издававшемся С. Глинкою: *Письмо к издателю с препровождением статьи: Разговор тетушки моей.* «Разговор» этот направлен против французского влияния, как и большая часть заметок и рассуждений, помещенных в журнале Глинки. Для противодействия иноземному *мартышеству* автор советует употреблять нравственное прививание, то есть воспитание. «Отцам и матерям (говорит он) следует, заняв места французского учителя и мадам, воспитывая детей верноподданными русскими, учить их страха божия, верности к государю и приверженности неограниченной к отечеству: вот прививание нравственное, которое час от часу, по мере разврата и распространяющегося мартышества французского, нужно нам. Российский народ, несколько столетий назад прославившийся храбростью, неизменною верою к закону и к государям своим, гостеприимством и великодушием, не имел нужды прибегать к чухонцам, французам и голландцам, чтоб получить от них просвещение... Времена переходчивы, и с собою вслед вводят новые обычаи; но обычаи и хорошие, если не подкреплены законами и не обращены в добродетельную деятельность, не суть просвещение; почему же наши юноши как пословицу и чаще правила веры повторяют, что в прошедшем столетии чухонцы, французы и голландцы, введя свои обыкновения в Россию, оную просветили?» Несочувствие к петровской реформе княгиня Дашкова прямо выразила, в своих мемуарах, и сейчас приведенное нами мнение, объясняется из тех же оснований, из каких и осуждение Петра Великого, высказанное ею в разговоре с Кауницом²³. В конце «Письма» автор обещает от времени присылать в «Русский вестник» нечто из записной своей книжки[...]. Отвечая на это послание, издатель «Русского вестника» называет свою сотрудницу *знаме-*

нитою *Россиянкою*. «Российская словесность (говорит он) давно уже украшается вашим именем; просвещение ваше доказало в странах иноплеменных, что россиянки способны к глубокомыслию, что они могут беседовать с Невтонами и Лейбницами»,— и далее: «Знаменитая россиянка! Все то, что я сказал о русских, есть слабый отголосок того, что в произведениях вашего пера означено о особенном свойстве сего великодушного народа». [...] Эти последние слова, кажется, указывают на сообщенную княгинею Мысль (то есть мнение) *Екатерины II о русском народе*. Вот эта заметка: «Одна знаменитая россиянка беседовала с императрицею Екатериною II о способностях россиян к наукам, искусствам и художествам. Русский народ, сказала монархиня, есть особенный народ в целом свете.— Что это значит, государыня! уже ли бог не все народы сотворил равными? — Русский народ, продолжала Екатерина, отличен догадкою, умом, силою. Я знаю это по двадцатилетнему опыту моего царствования: бог дал русским особенное свойство». [...] Что приведенное мнение Екатерины Великой в самом деле было сообщено издателю *Вестника* княгинею Дашковой, об этом смотри в «Русском чтении», [...] и что действительно княгиня была сотрудницею при начале издания *Русского вестника* — об этом упоминает сам редактор [...]: «Некоторые подробности о Екатерине, слышанные мною от княгини Дашковой, были предложены выше. Ни одно мое свидание с нею по *Русскому вестнику* не проходило без разговоров о том времени, незабвенном для нее и по дружбе к ней Екатерины и по обстоятельствам, относившимся к ней». Впоследствии С. Глинка так рассказывал об участии княгини в своем журнале: «Граф Ф. В. Раstopчин и княгиня Е. Р. Дашкова вызвались первые в соучастники по *Русскому вестнику*: граф просил останавливать его, если слишком увлечется порывистою мыслью, а княгиня требовала, чтоб ни в чем не перечить ее мнению. Хотя в первых статьях перо ее сильно ополчилось на сынов Германии, но они были напечатаны; а третьей статьи, в которой, превознося англичан, еще грознее усилила она перуны против германцев, ни цензор, ни я не согласились принять. Получа от меня обратно статью свою, княгиня, при всем гнѣве своем, удостоила меня следующею записочкою: «Издатель упрям и неучтив; но *Вестник* его читаю и бу-

ду читать...» Княгиня отстала от сотрудничества после второй статьи, а граф после третьей».

Другая статья, помещенная в *Русском вестнике* 1808 года, под которою находится подпись «Россиянка»; озаглавлена: «К воспоминаниям». [...] В заключение этого лирического обращения к воспоминаниям автор говорит: «Не могу льститься, чтоб многие из читателей сих скоротечных, возрожденных, пламенных чувствованием *огорченного сердца* мыслей поняли выражения *горестью объятай души*, так сказать — язык другой, которого подобно чувствуемые только разумеют. Но если малое число соболезнующих о горестях других скажут: «Ее чувства глубоко впечатлены в *унылом ее сердце; она страдала, а не жила* — мир с нею», — отголосок сих слов, до меня дойдя, несколько утешит меня». Признание это, если только оно искренно, указывает нам на состояние духа княгини в последние годы ее замиравшей жизни и потому не лишено интереса для ее биографа.

Сверх указанных нами литературных произведений княгини Дашковой, должно упомянуть еще о двух сочинениях. По мнению митрополита Евгения, ей принадлежит небольшая брошюра, напечатанная в Москве в 1806 году [...], под заглавием: *Плуг и соха*; но это несправедливо. Г. Тихонравов приписывает названное сочинение графу РаSTOPчину, основываясь на его собственноручной рукописи. По свидетельству Керара, княгиня Дашкова, при помощи скульптора Фальконе²⁴; написала известное возражение на книгу аббата Шапа «*Voyage en Sibérie*»*, в которой он изобразил правление Екатерины II и быт русских в темных красках. Возражение явилось под заглавием «*L'Antidote, ou examen du mauvais livre superbement imprimé, intitulé «Voyage en Sibérie fait en 1761», par l'abbé Chappe*»** (Спб., 1770—1771 годов, два тома [...]).

Вот все, что известно нам из произведений, вышедших из-под пера княгини Дашковой. Не придавая им особенной литературной важности, мы тем не менее убеждены, что изучение их необходимо для окончательной обрисовки ее убеждений и для более верного и

* «Путешествие в Сибирь» (фр.).

** «Противоядие, или исследование превосходно изданной дурной книги, под заглавием «Путешествие в Сибирь в 1761 г.», аббата Шапа» (фр.).

правильного обсуждения ее деятельности. Политическое значение княгини было слишком кратковременно, мимолетно, чтоб могло обнаружиться хотя в одном подвиге, который был бы памятен не только романическим своим интересом (каково, например, участие ее в перевороте 1762 года), но и прямым влиянием на государственные преобразования. Напротив, академическая деятельность княгини навсегда останется памятною в летописях нашего образования, и здесь-то настоящая заслуга ее перед лицом истории.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ «НАРОДНЫХ РУССКИХ СКАЗОК»

Между разнообразными памятниками устной народной словесности (песнями, пословицами, поговорками, причитаниями, заговорами и загадками) весьма видное место занимают сказки. Тесно связанные по своему складу и содержанию со всеми другими памятниками народного слова и исполненные древних преданий, они представляют много любопытного и в художественном и в этнографическом отношениях. Важное значение народных сказок как обильного материала для истории словесности, филологии и этнографии давно сознано и утверждено даровитейшими из германских ученых. Они не только поспешили собрать свои народные сказки и легенды, но еще усвоили немецкой литературе в прекрасных переводах почти все, что было издано по этому предмету у других народов. Конечно, нигде не обращено такого серьезного внимания на памятники народной словесности, как в Германии, и в этом отношении заслуга немецких ученых действительно велика, и нельзя не пожелать, чтобы благородный труд, поднятый ими на пользу народности, послужил и нам благим примером. Пора, наконец, и нам дельней и строже заняться собиранием и изданием в свет простонародных сказок, тем более что, кроме поэтического и ученого достоинств подобного сборника, он может с пользою послужить для первоначального воспитания, представляя занимательные рассказы для детского чтения. Разумеется, предпринимая издание с этою последнею целью, необходимо допустить строгий выбор, но такой

выбор легко будет сделать. Увлекаясь простодушною фантазиею народной сказки, детский ум нечувствительно привыкнет к простоте эстетических требований и чистоте нравственных побуждений и познакомится с чистым народным языком, его меткими оборотами и художественно верными природе описаниями. Мысль эту разделяли лучшие из наших поэтов: Жуковский и Пушкин, познакомившие публику с некоторыми народными сказками, передавая их простое содержание в прекрасных стихах. Жуковский под конец своей жизни думал исключительно заняться переводом сказок различных народов; а Пушкин в одном из своих писем говорит о себе: «Вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!»¹

Цель настоящего издания объяснить сходство сказок и легенд у различных народов, указать на ученое и поэтическое их значение и представить образцы русских народных сказок.

Мы не раз уже говорили о доисторическом средстве преданий и поверий у всех народов индоевропейского племени. Такое средство условливалось: во-первых, одинаковостью первоначальных впечатлений, возбужденных в человеке видимою природою, обожание которой легло в основу его нравственных и религиозных убеждений, в эпоху младенчества народов; во-вторых, единством древнейшего происхождения ныне столько разъединенных народов. Разделяясь от единого корня на отдельные ветви, они вынесли из прошлой своей жизни множество одинаковых преданий и доказательства своего изначального родства затаили в звуках родного слова. Доказано, что тою же творческою силою, какую создавался язык, создавались и народные верования и верная их представительница — народная поэзия²; образование слова и мифа шло одновременно, и взаимное воздействие языка на создание мифических представлений и мифа, на рождение слова не подлежит сомнению. Теперь, если мы припомним, что народные сказки древнейшей первичной формации сохранили в себе много указаний и намеков на седую старину доисторического периода, что они суть обломки древнейшего поэтического слова — эпоса, который был для народа хранилищем его верований и подвигов³, — для нас будет понятно и то удивительное с первого взгляда сходство, какое замеча-

ется между сказками различных народов, живущих на столь отдаленных одна от другой местностях и столь разную историческою жизнью. Особенно такое сходство замечается между сказками народов, состоящих в наиболее близком племенном родстве, например между сказками славянскими, литовскими и немецкими. Читатели убедятся в этих высказанных нами мнениях из подробного сличения народных сказок, на котором мы, с надеждою пояснить многие старинные предания, основываем примечания к нашему изданию.

Народные русские сказки раскрывают пред нами обширный мир. Поверья и предания, встречаемые в них, говорят о старинном доисторическом быте славянских племен; олицетворенная стихия, вещие птицы и звери, чары и обряды, таинственные загадки, сны и приметы — все послужило мотивами, из которых развился сказочный эпос, столько пленительный своею младенческою наивною, теплою любовью к природе и обаятельною силою чудесного. Могучие силы и поразительные явления природы, признанные в эпоху язычества за богов, вследствие обычного развития древних верований воплощались не только в птиц и зверей, но и в антропоморфические образы и, сблизившись мало-помалу с человеческими формами и свойствами, снизошли, наконец, с своей недостигаемой высоты на степень героев, доступных людским страстям и житейским тревогам, и породили богатырские сказания, повествующие о их чудесных подвигах. Таковы все герои финской поэмы Калевалы и греческие полубоги; таков наш Змей Горыныч, который в «былинах» является уже богатырем, хотя и сохраняет все атрибуты огненного змея (молниеносной тучи); таковы в народных сказках великаны и богатыри, удержавшие даже свои стихийные названия: Вихорь, Гром, Град. Эти сказочные герои усвоили себе то страшное могущество, какое принадлежит силам природы, и получили громадные, соответственные этому могуществу размеры; самое слово богатырь (от слова *бог* чрез прилагательное *богат*; сравни латинск. *deus, dives, divus* от корня *div* — блистать, светить, откуда и наши баснословные дивы) означает существо, наделенное высшими, божескими качествами. Трудные подвиги богатырей и их битвы с великанами и змиями суть только образные, поэтические изображения естественных явлений, так могущественно влияющих на производительность

земли. Солнце, закрываемое темными тучами, в народных сказках представляется златокудрюю девою неопи-санной красоты, похищаемую змием, который уносит ее в свои неприступные горы и ограждает крепкими загво-рами; освободителем красной девицы является бога-тырь, владетель чудодейственного меча-саморуба, то есть там Перун, божество грозы и молнии; он проникает в мрачные подземелья, выпивает там всю сильную воду и поражает змия, или, говоря простым, обыкновенным языком, он разбивает тучи молнией, проливает на зем-лю дождь и выводит из змииных пещер деву-солнце. Другой ряд народных сказок в таких же пластических образах изображает годовое обращение этого светила. Невеста-земля, в полном цвете и роскоши своих летних уборов, вдруг под влиянием чар злой колдуньи-зимы превращается в камень и засыпает долгим, непробуд-ным сном; во всем ее царстве жизнь приостанавливает-ся и как бы застывает до тех пор, пока жаркий поцелуй молодого царевича — весеннего солнца не разбудит кра-савицы для любви и общей радости. Пробужденная не-веста вступает в брак с светозарным царевичем, и зем-ля начинает свои роды.

Позднее сказка, верная народной жизни, отразила в своих богатырских повестях черты из эпохи великой борьбы христианских идей с языческими; многие из древних преданий были подновлены, согласно с вновь возникшими взглядами и убеждениями, и некоторые эпические сказания получили легендарную обстановку, хотя, впрочем, из-за этих подновлений до сих пор еще сквозит дохристианская старина. Сильномогучие бога-тыри, победители сказочных великанов и многоглавых змиев в «былинах» уже сражаются против какого-то Идо-лица и неверных народов; на своих крепких плечах они выносят беспрестанные и беспощадные битвы с поганы-ми азиатскими кочевниками и отстаивают независи-мость и государственные основы родной земли, тогда как великаны и змии выступают защитниками басурман-ства. Еще позднее — и народная сказка, свидетельствуя нам о некоторых чертах древнего новгородского быта (см. «Русские народные сказки» Сахарова⁴), вводит читателя в мир действительных событий и чрез то сбли-жает его с чисто историческим эпосом Слова о полку, малороссийских дум и народных песен о Грозном, Пе-тре Великом и других знаменитых деятелях.

Составляя вместе с «былинами» отрывки старинного эпоса, сказки уже по тому самому запечатлены прочным художественным достоинством. В доисторическую эпоху своего развития народ необходимо является поэтом. Обогащая природу, он видит в ней живое существо, отзывающееся на всякую радость и горе. Погруженный в созерцание ее торжественных явлений и таинственных сил, народ все свои убеждения, верования и наблюдения воплощает в живые поэтические образы и высказывает в одной неумолкаемой поэме, отличающейся ровным и спокойным взглядом на весь мир.

Народные русские сказки проникнуты всеми особенностями эпической поэзии: тот же светлый и спокойный тон; то же неподражаемое искусство — живописать всякий предмет и всякое явление по впечатлению, ими производимому на душу человека; та же обрядность, высказывающаяся в повторении обычных эпитетов, выражений и целых описаний и сцен. Раз сказанное метко и обрисованное удачно и наглядно уже не переделывается, а как будто застывает в этой форме и постоянно повторяется там, где это признано будет необходимым по ходу сказочного действия. Оттого, несмотря на неподдельную красоту языка, народные сказки поражают однообразием, тем более что и темы рассказов, и действующие лица, и чудесное — в большей части подобных произведений повторяются с небольшими отступлениями. Народ не выдумывал, он рассказывал только о том, чему верил, и потому даже в сказаниях своих о чудесном — с верным художественным тактом остановился на повторениях, а не отважился дать своей фантазии произвол, легко переходящий за должные границы и увлекающий в область странных, чудовищных представлений.

При всем однообразии, замечаемом в народных сказаниях, в них столько истинной поэзии и столько трогательных сцен! С какой поэтической простотой, например, передана в сказке встреча Федора Тугарина с Анастасией Прекрасною.

Поехал Федор странствовать. Едет, едет и на пути видит: лежат три рати-силы побитые. «Кто здесь живой, — окликает странствующий герой, — скажи: кто побил эти рати?» В ответ ему слышится голос: «Поддай воды напиться». Подает Тугарин воды раненому и узнает от него, что победила все три рати Анастасия Прекрасная, а сама отдыхает теперь в шатре. Приехал Тугарин

к шатру Анастасии Прекрасной, привязал своего коня, вошел в палатку, лег сбоку девицы и заснул. Анастасия Прекрасная проснулась прежде, разбудила незваного гостя и сказала: «А что — станем биться или мириться?» Отвечал ей Тугарин: «Коли наши кони станут биться, тогда и мы попробуем силы!» — и спустили они своих коней. Кони обнюхались, стали лизать друг друга и пошли дружно пастись вместе. Тогда Анастасия Прекрасная сказала Федору Тугарину: «Будь ты мне мужем, я тебе — женою!»

Как ото всех народных произведений, от сказок веет поэтической чистотою и искренностью; с детскою наивною и простотою, подчас грубою, они соединяют честную откровенность и свои повествования передают без всякой затаенной иронии и ложной чувствительности. Мы говорим о сказках древнейшего образования. В позднейшем своем развитии и сказка подчиняется новым требованиям, какие бывают порождены ходом дальнейшей жизни, является послушным орудием народного юмора и сатиры и утрачивает первоначальное простодушие (см. сказки о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове, о Шемякинском суде и др.). Но всегда сказка, как создание целого народа, не терпит ни малейшего намеренного уклонения от добра и правды; она требует наказания всякой неправды и представляет добро торжествующим над злобою. Напечатанная нами сказка о правде и кривде задает практический вопрос: как лучше жить — правдою или кривою? Здесь выведены два лица, из которых каждый держится противоположного мнения: правдивый и криводушный. Правдивый — терпелив, любит труд, без ропота подвергается несчастью, которое обрушилось на него по злобе криводушного, а впоследствии, когда выпадают на его долю и почести и богатство, он забывает обиду, какую причинил ему криводушный, вспоминает, что некогда они были товарищами, и готов помочь ему. Но чувство нравственное требует для своего успокоения полного торжества правды — и криводушный погибает жертвою собственных расчетов. На таком нравственном начале создалась большая часть сказочных интриг.

Несчастье, бедность, сиротство постоянно возбуждают народное участие. Целый ряд сказок преследует нелюбовь и ненависть мачехи к падчерицам и пасынкам и излишнюю, зловредную привязанность ее к своим

собственным детям. Этот тип мачехи, обрисованный народными сказками, составляет одно из самых характерных указаний на особенности патриархального быта и вполне оправдывается и древним значением сиротства, и свадебными песнями о судьбе молодой среди чужой для нее семьи. Мачеха, по народным сказкам, завидует и красоте, и дарованиям, и успехам своих пасынков и падчериц, особенно если сравнение с этими последними ее собственных детей, безобразных и ленивых, заставляет ее внутренне сознаваться в том, чему так неохотно верит материнское сердце. Мачеха начинает преследовать бедных сирот, задает им трудные, невыполнимые работы, сердится, когда они удачно выполняют ее приказания, и всячески старается извести их, чтобы не иметь перед глазами постоянного и живого укора. Но несчастья только воспитывают в сиротах трудолюбие, терпение и глубокое чувство любви ко всем страждущим и сострадания ко всякому чужому горю. Это чувство любви и сострадания, так возвышающее нравственную сторону человека, не ограничивается тесными пределами людского мира, а обнимает собою всю разнообразную природу. Оно одинаково сказывается при виде раненой птицы, голодного зверя, выброшенной на берег морскую волну рыбы и больного дерева. Во всем этом много трогательного!.. Нравственная сила спасает сироту от всех козней; напротив, зависть и злоба мачехи подвергают ее наказанию, которое часто испытывает она на родных своих детях, испорченных ее слепой любовью и потому гордых, жестокосердных и мстительных.

С этой точки зрения особенно интересно представляется нам роль младшего из трех братьев, действующих в сказке. Большая часть народных сказок, следуя обычному эпическому приему, начинается тем, что у отца было три сына: два — умные, а третий — дурень. Старшие братья называются умными в том значении, какое придается этому слову на базаре житейской суеты, где всякий думает только о своих личных интересах, а младший — глупым в смысле отсутствия в нем этой практической мудрости: он простодушен, незлобив, сострадателен к чужим бедствиям до забвения собственной безопасности и всяких выгод. Согласно с этим слова хитрый и злой в областных говорах значит: ловкий, искусный, умный, острый. Народная сказка, однако, всегда на

стороне нравственной правды, и по ее твердому убеждению выигрыш постоянно должен оставаться за простодушнем, незлобием и сострадательностью меньшого брата. Очевидно, что эпическая поэзия истинно разумным признает одно добро, а зло хотя и слывет таковым между людьми, но вводит своих поклонников в безвыходные ошибки и нередко подвергает их неизбежной гибели: следовательно, оно-то и есть истинное неразумное. В сказке «Норка-зверь» три брата отправляются искать этого чудного зверя; им предстоят многие опасности. Старшие братья обнаруживают при этом всю слабость духа и отстраняют от себя трудный подвиг, но когда третий брат смелостью преодолевает все опасности — они замышляют завладеть добытым им счастьем и посягают на самую жизнь этого добродушного дурня. На возвратном пути из стран подземного мира он готов был уже подняться на Русь по нарочно опущенному канату, но братья обрезают канат и лишают его последней надежды возвратиться когда-нибудь в родную семью. В такой беде его спасает то высокое чувство любви, которое не допускает в сердце бедняка ни малейшего ожесточения даже после столь горестного обмана. Оставленный в подземном царстве, младший брат заплакал и пошел дальше. Поднялась буря, заблестала молния, загремел гром, и полился дождь. Он подошел к дереву с надеждою укрыться под его ветвями от непогоды; смотрит, а на том дереве сидят в гнезде маленькие птички и совсем измокли от дождя. Сострадательный дурень снял с себя одежду и накрыл птичек. Вот прилетела на дерево птица, да такая огромная, что затмила собой дневной свет, и как увидала своих детей накрытыми — спросила: «Кто покрыл моих птишек? Это — ты! Спасибо тебе: проси от меня, чего хочешь!» — и по просьбе бедняка выносит его на своих могучих крыльях на Русь.

Таково в немногих словах значение народной сказки. Нет сомнения, что в ней найдется многое, что не может удовлетворить нашим образованным требованиям и взглядам на природу, жизнь и поэзию; но если в зрелых летах мы любим останавливать свой взор на детских играх и забавах и если при этом невольно пробуждаются в нас те чистейшие побуждения, какие давно были подавлены под бременем вседневных забот, то не с той ли теплою любовью и не с теми ль освежающими душу

чувствами может образованный человек останавливать свое внимание на этой поэтической чистоте и детском простодушии народных произведений?

**ПРЕДИСЛОВИЕ К ПРИМЕЧАНИЯМ II ВЫПУСКА
ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ
«НАРОДНЫХ РУССКИХ СКАЗОК»**

Самый важный, любопытный, но вместе и самый трудный вопрос, рождающийся при издании памятников устной народной словесности,— это вопрос о их древности. Памятники эти, оставаясь весьма долгое время незаписанными и сберегаясь в народе простою передачею на словах от одного поколения к другому, необходимо подвергаются самым разнообразным влияниям. В течение целых столетий каждое поколение налагает на них свою печать, подчиняя изменениям и язык и самое содержание произведения. Указать исторический ход подобных изменений не легко и едва ли возможно при современном состоянии русской филологии. Все это прилагается и к народным сказкам, даже более, нежели к другим произведениям устной словесности. Пословицы и поговорки ради самой краткости своего выражения и ради постоянного применения их к житейским случаям, а песни ради стихотворного своего склада живее сохраняются в памяти и сравнительно меньшим подвергаются переделкам. Сказка не представляет таких счастливых условий: свои эпические повествования она передает в прозаической форме, более доступной произволу рассказчика. «Сказка-складка», говорит простолюдин, «а из песни слова не выкинешь». Чем ранее приступили бы к записыванию народных сказок, тем ближе были бы эти списки к первоначальным образцам. Но и теперь записанные народные сказки, хотя и носят на себе явные признаки позднейших влияний, содержат много полезных и любопытных указаний. В языке сказочном довольно уцелело старинных оборотов и форм, которыми в свое время необходимо воспользуется историческая грамматика: что же касается содержания — нужно заметить, что сказка народная может быть весьма нова́ по языку и заключать в себе предания глубочайшей древности; даже ее основа и все подробности рассказа могут принадлежать, как не раз

было указываемо исследователями, эпохе доисторической. Исключать подобные сказки издатель считает делом неизвинительным.

Вот почему я не мог решиться, при издании народных русских сказок, различать их, по мере давности, на древнейшие и позднейшие и положительно причислять к тому или другому столетию; такая задача выходила бы из пределов возможного. Чтобы удовлетворить строгости ученых требований, можно бы разделить сказки по наречиям: великорусскому, белорусскому и малорусскому, распределив каждый из этих отделов по губерниям; с другой стороны, можно бы печатать рядом сказки одинакового содержания, но разных редакций, дабы таким образом нагляднее показать, как один и тот же сказочный мотив варьируется в различных местностях. Но такое систематическое издание — в настоящее время труд несколько ранний. Надо наперед собрать и подготовить для того все необходимые материалы, которые достаются не разом, а исподволь, понемногу. Не располагая еще собранием материалов, достаточным для издания строго систематического, я не хотел, в ожидании новых не всегда верных присылок, отложить дело в сторону на весьма неопределенный срок и, сообщая народные русские сказки, по мере их накопления в моих руках, думал вызвать через то и других к собиранию этих столько интересных памятников народного слова. Когда материалы будут собраны, сличены и объяснены, тогда нетрудно будет приступить к новому изданию и еще легче будет распределить их в том или другом порядке. Теперь же при каждом новом выпуске моего сборника буду прилагать и варианты к напечатанным уже сказкам, по вновь получаемым мною спискам.

ПРЕДИСЛОВИЕ К IV ВЫПУСКУ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ «НАРОДНЫХ РУССКИХ СКАЗОК»

В настоящем выпуске «Народных русских сказок» напечатаны сказки, собранные В. И. Далем. Свое богатое собрание народных сказок он передал, по моей просьбе, мне для издания этих любопытных материалов в свет, что теперь отчасти и выполняется. Собрание В. И. Даля включает в себе более тысячи списков. Само

собой разумеется, что в этом числе довольно попадаетея и таких, которые записаны весьма слабо, неотчетливо и по содержанию своему указывают на заимствование из печатных книг (например, из «Тысяча одной ночи») или вовсе не представляют ничего занимательного (таковы некоторые солдатские рассказы). Вообще относительно языка собранных г. Далем сказок следует заметить, что очень немногие переданы с соблюдением местных грамматических форм. Несмотря на то, собрание это весьма важно. Оно, во-первых, содержит в себе много в высшей степени интересных сказаний и легенд: это можно видеть уже из напечатанных в настоящем выпуске сказок, и еще более оправдаются слова наши при издании дальнейших выпусков. Оно, во-вторых, весьма обильно вариантами, и если это обстоятельство значительно уменьшает численное количество входящих в его состав сказок, то, с другой стороны, этим самым дана возможность: поверять один список другим и хотя приблизительно восстановить народный рассказ в его первоначальной простоте. От лица науки и любителей русской народности приносим здесь искреннюю благодарность просвещенному собирателю, который с такою живою любовью и так много трудов посвятил на пользу народного слова.

В заключение прибавим, что некоторые очень любопытные сказки из собрания В. И. Даля, к сожалению, не могут быть допущены в печать ради нескромности своего содержания: героем подобных рассказов чаще всего бывает *попов батрак*. Здесь много юмору, и фантазии дан полный простор¹.

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «НАРОДНЫЕ РУССКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

Наряду с другими эпическими сказаниями, живущими в устах народа, существует еще целый отдел небольших повестей, запечатленных тем особенным, отличительным характером, вследствие которого получили они название *легенд*. Для своих эпических произведений народ, как известно, берет содержание из преданий своего прошлого, вносит в них свои собственные верования и нравственные убеждения, присущие ему в ту или другую

эпоху его развития: и потому если языческая старина служила обильным материалом для народной поэзии, то в свою очередь и христианские представления, воспринятые юными новообращенными племенами, должны были найти в ней свой живой отголосок. Народная песня и сказка в самом деле не раз обращались к священному писанию и житиям святых, и отсюда почерпали материал для своих повествований: такое заимствование событий и лиц из библейской истории, самый взгляд на все житейское, выработавшийся под влиянием священных книг и отчасти отразившийся в народных произведениях, придали этим последним интерес более значительный, духовный; песня обратилась в *стих*, сказка в *легенду*. Само собою разумеется, как в стихах, так и в легендах заимствованный материал передается далеко не в совершенной чистоте; напротив, он более или менее подчиняется произволу народной фантазии, видоизменяется сообразно ее требованиям и даже связывается с теми преданиями и поверьями, которые уцелели от эпохи доисторической и которые, по-видимому, так противоположны началам христианского учения. История совершает свой путь последовательно, и в малоразвитых массах населения старое не только надолго уживается с новым, но и взаимно проникаются друг другом, перепутываются, пока истинное просвещение не укажет несостоятельности подобной связи. Так возникли многие средневековые апокрифические сочинения¹, так возникли и народные легенды, повествующие о создании мира, потопе и страшном суде с примесью древнейших суеверий и окружающие некоторых угодников атрибутами чисто сказочного эпоса. Поэтому хотя простолудин смотрит на легенду как на что-то священное, хоть в самом рассказе слышится иногда библейский оборот, тем не менее странно было бы в этих поэтических произведениях искать религиозно-догматического откровения народа, в его современном состоянии. Нет, это все памятники глубокой старины, того давно прошедшего времени, когда благочестивый летописец, пораженный действительным смешением в жизни христианских идей и обрядов с языческими, назвал народ наш *двоеверным*².

Если они и уцелели в устах народа до нашего времени, если и подвергались в течение многих и многих лет различным изменениям, если наконец и заметны в них некоторые яркие следы позднейших влияний, то все-таки

главным образом они любопытны для нас как плод поэтического творчества народа в древнейший период его истории.

Старинный эпос, согласно с воззрением первобытного человека на природу и с значением самих мифов язычества, дал в своих повествованиях довольно видное место различным животным. Конь, бык, собака, волк, ворон и другие звери и птицы одарены вещим характером и принимают в деяниях и судьбах людей живое и непосредственное участие.

С водворением новых, христианских начал народная фантазия не позабыла и не отинула тех прежних образов, в которых представлялись ей взаимные отношения человека и природы; она по-старому любила обращаться к миру животных, любила наделять их умом и волею и, касаясь событий, описанных в Ветхом и Новом заветах, свободно допустила их в свои легендарные сказания.

Приводим из этих любопытных сказаний те, которые нам известны:

а) *Собака* первоначально была создана голою; но черт, желая ее соблазнить, дал ей шубу, т. е. шерсть. *Мышь* прогрызает Ноев ковчег; *уж* затыкает эту дыру своею головою. (Смотри легенду о Ное праведном.)

б) В старину незапамятную рожь была не такая, как теперь: снизу солома, а на макушке колосок; тогда от корня до самого верху все был колос. Раз показалось бабам тяжело жать, и давай они бранить божий хлеб. Одна говорит: «Чтоб ты пропала, окаянная рожь!» Другая: «Чтоб тебе ни всходу, ни умолоту!» Третья: «Чтоб тебя, проклятую, сдернуло снизу доверху!» Господь, разгневанный их неразумным ропотом, забрал колосья и начал истреблять один за другим. Бабы стоят да смотрят. Когда осталось богу выдернуть последний колос — сухощавый и тщедушный, тогда *собаки* стали молить, чтобы господь оставил на их долю сколько-нибудь колоса. Милосердный господь сжалился над ними и оставил им колос, какой теперь видим. Другое предание говорит, что самое зерно было необыкновенной величины:

Был-жил какой-то царь, ездил-гулял по полям с князьями и боярами, нашел житное зерно величиной с воробьиное яйцо. Удивился царь, собрал князей и бояр, стал спрашивать: давно ли это жито сеяно? Никто не ведал, не знал. И придумали взыскать такого человека

из старых людей, который мог бы про то сказать. Искали-искали и нашли старика — едва ходит о двух костылях, привели его к царю и стали спрашивать: кем сеяно это жито и кто пожинал? — «Не памятую», — отвечал старик: такого жита я не севал и не знаю; может, отец мой помнит». Послали за отцом, привели к царю об одном костыле. Спросили о зерне; он тоже говорит: «Я не севал и не пожинал: а есть у меня батюшка, у которого видел такое зерно в житнице». Послали за третьим стариком; будет ему от роду сто семьдесят годов, а пришел к царю легко, без костыля, без вожатых. Начал его царь спрашивать: «Кем это жито сеяно?» — «Я его сеял, я и пожинал», — сказал в ответ старец, и теперь у меня есть в житнице: держу для памяти! Когда был я молод — жито было большое да крупное, а после стало родиться все мельче да мельче». Спросил еще царь: «Скажи мне, старик! отчего ты ходишь легче и сына и внука?» — «Оттого, — сказал старец, — что жил по-божьему: своим владел, чужим не корыстовался». (Записано в Архангельской губернии.)

с) Ивановский светящийся жук *керсница* (*Keršnica*) пользуется у словенцев особенною любовью за то, что летал по дому родителей Иоанна Предтечи и освещал колыбель святого младенца.

д) Когда архангел Гавриил возвестил пресвятой деве, что от нее родится божественный Искупитель, — она сказала, что готова поверить истине его слов, если рыба, одна сторона которой была уже съедена, снова оживет. И в ту же минуту рыба ожила и была пущена в воду; это однобокая *камбала*. Такое сказание живет между русскими поселянами; между тем народы литовский и самогитский уверяют, будто камбала потому с одним глазом и наружностью своею походит на отрезанную половину рыбы, что царица Балтийского моря Юрата отгрызла у ней одну сторону, а другую пустила в воду: знак, что древнеязыческое предание получило у нас под влиянием христианства и другой смысл и другую обстановку.

е) Когда родился Христос и начались гонения Ирода. богоматерь положила божественного младенца в ясли и прикрыла его сеном. Прожорливая *лошадь* всю ночь ела корм и непрерывно открывала убежище Спасителя; а *вол* не только перестал есть, но еще собирал разбросанное сено рогами и набрасывал его на младенца. Бог

проклял лошадь за ее жадность, а вола благословил; оттого-то лошадь постоянно жрет и никогда не насыщается; оттого-то вол употребляется человеком в пищу, а лошадь нет.

f) У моряков есть поверье, будто два черные пятна, видимые на жабрах *трески*, произошли от того, что апостол Петр взял ее двумя пальцами, когда вынимал из рта рыбы монету для уплаты подати.

g) Во время земной своей жизни зашел однажды Спаситель в дом еврея. Толпа окружила его. Неверующий хозяин вздумал посмеяться и сказал Спасителю: «Если ты бог, скажи нам, что под этим корытом?» — «Свинья с тремя поросятами», — отвечал господь. Какой ужас оковал предстоящих, когда вместо спрятавшихся хозяйки и детей выползла из-под корыта большая свинья с тремя поросятами. Вот почему евреи не едят свинины.

h) *Медведь*, говорят поселяне, был прежде человеком; он и теперь пьет водку, ест хлеб, ходит на задних лапах, пляшет и не имеет хвоста.

Когда-то в старину странствовали по земле св. Петр и св. Павел. Случилось им проходить через деревню около моста. Злая жена и муж согласились испугать святых путников, надели на себя вывороченные шубы, притаились в укромном месте, и только апостолы стали сходить с моста — они выскочили им навстречу и заревели по-медвежьи. Тогда св. Петр и св. Павел сказали: «Щоб же вы ривили отныни и до вика!» С той самой поры и стали они медведями.

Такой рассказ можно услышать от поселян Харьковской губернии; в Херсонском уезде он передается несколько иначе:

Мужик с женою вздумали испугать Спасителя, стали под греблею и принялись кричать: мужик заревел медведем, а баба закуковала кукушкой (*зозулею*). Господь проклял их, и с того времени они навсегда превратились в медведя и кукушку.

i) В Норвегии существует рассказ о превращении одной женщины в *дятла* [...].

Христос, странствуя по земле вместе с апостолом Петром, увидел женщину, которая приготавлила хлеба. Ее звали Гертруда. Спаситель попросил у нее хлеба. Гертруда отделила для странников небольшой кусок теста, и только стала месить его — как он тотчас же вырос и сделался огромным хлебом. Скупая хозяйка пожалела

отдать его странникам; снова отделила для них небольшой кусок теста, но и с этим, и со всеми другими кусками случилось то же; тогда решила она лучше вовсе им отказать, нежели дать так много. За такое жестокосердие господь обратил ее в птицу, которая осуждена искать себе пищу между древесною корою и пить только дождевую воду. Птица эта всегда чувствует мучительную жажду и называется Gertrudsvogel*.

Русские поселяне также рассказывают о птичке, которая в сухое время летает всюду и жалко чирикает: пипи-пить! «Когда бог создал землю и вздумал наполнить ее морями, озерами и реками, тогда он повелел идти сильному дождю; после дождя собрал всех птиц и приказал им помогать себе в трудах, чтобы они носили воду в назначенные ей места. Все птицы повиновались, а эта несчастная — нет; она сказала богу: «Мне не нужны ни озера, ни реки; я и на камушке напьюсь». Господь разгневался на нее и запретил ей и ее потомству даже приближаться к озеру, реке, ручейку, а позволил утолять жажду только той водою, которая после дождя остается на неровных местах и между камнями. С тех пор бедная птичка, надоедая людям, жалобно просит: пить, пить!» [...]

Легенды, хотя и касаются некоторых действительных событий и лиц, тем не менее, подобно всем другим народным произведениям, не знают и не преследуют исторической верности. Они даже раскрывают перед нами целый ряд происшествий, связанных с именем Спасителя, о которых не упоминается в источниках, но которые справедливо обращают на себя пытливые внимание ученых. В этих рассказах не столько важна историческая правда передаваемого события, сколько правда гуманного христианского одушевления, проникающая собой все поэтическое создание. Чувство сострадания к чужому несчастью, вложенное в человека уже самую природою, под влиянием возвышенных идей христианства, получило новое торжественное освещение. [...]

В настоящем сборнике довольно приведено народных рассказов, в которых Христос является испытующим людские сердца странником и поэтическое достоинство которых так же истинно и цельно, как и нравственное. Подобные рассказы живут и между другими славянскими и германскими племенами. Представляем здесь которые, наиболее интересные, в переводе. [...]

* Птица-Гертруда (нем.).

[...] Нет надобности говорить о научном и воспитательном (педагогическом) значении превосходного собрания немецких сказок, изданных знаменитыми братьями Гриммами под заглавием «Kinder-und Hausmägchen»¹. Дело это давно решенное и всем вемое. Сборник состоит из трех томов, из которых два передают текст сказок, а третий посвящен вариантам, объяснениям и сравнениям с произведениями сказочного эпоса других народов. В Германии книга эта выдержала несколько изданий, и в будущем ей суждено долгое и прочное существование, потому что она сделалась и любимым чтением народа, и необходимым спутником детского образования. С необычайно светлым и художественным тактом сумели собиратели выбрать из множества вариантов списки наиболее совершенные и замечательные как поэтическими образами, так и чистотою нравственных мотивов. К таким достоинствам нельзя оставаться равнодушным, и чем более света прольют ученые работы на истинный смысл народных преданий, тем ярче выступят действительные красоты записанных Гриммами сказок, и тем сильнее, тем освежительнее будет их влияние на эстетическое чувство и душу читателя. Если мы вспомним то близкое родство, какое связывает эпические предания всех индоевропейских народов, и еще теснейшие узы, соединяющие славянское племя с германским, то ни на минуту не усомнимся в важности Гриммовского сборника для русской литературы. Мысль перевести его на наш родной язык заслуживает полной симпатии и признательности. Но самые достоинства книги и ее значение для воспитания и науки, без сомнения, налагают на переводчика и особую ответственность. К сожалению, неизвестный переводчик далеко не серьезно отнесся к избранной им задаче, и трудом его мы вправе оставаться более чем недовольными. Прекрасное предисловие Вильгельма Гримма оставлено вовсе без перевода, а взамен его предлагается читателям нечто вроде введения, занимающее несколько страничек и набросанное уже *слишком по-детски*: были да жили братья Гриммы — люди хорошие, долго странствовали по разным сторонам и вот-де собрали чудесные сказочки! Текст сказок в русском переводе выдается небольшими выпусками (по десяти номеров в каждом, или несколько более), и цена за

выпуск назначена 30 коп. сер. Всех сказок в сборнике братьев Гриммов помещено 210 номеров, следовательно, число выпусков должно дойти до двадцати, и все издание будет стоить 6 руб. серебром: цена — нельзя сказать, чтобы умеренная! На перевод третьего тома, кажется, нечего рассчитывать: издатель вовсе не так смотрит на свое предприятие, чтобы можно было надеяться от него подобного дополнения. В виду имеются только дети, как самая выгодная публика для сбыта книги; а для них, конечно, не важны материалы, заключающиеся в третьем томе. Передавая немецкие сказки на русский язык, переводчик не держится того порядка, какой принят в сборнике братьев Гриммов; а берет как попало — и с начала, и с конца, и из середины; чем руководствуется он при этом — сказать трудно; ближе всего к истине, что он не имеет никакой системы. И едва ли не взялись за перевод несколько лиц, и по мере подготовки печатают, не заботясь о порядке. До сих пор вышло пять выпусков; из которых четыре составляют первую часть, а пятый — начало второй. Судя по этим выпускам, русская литература немного выиграет от этого издания. Перевод совершается небрежно, и как большая часть русских трудов подобного рода исполнен искажений и переделок. Особенности немецкого рассказа, краски подлинника не всегда удержаны. Переводить создания народного эпоса — работа вовсе не легкая, требующая добросовестного изучения и особенного таланта; здесь важен каждый эпитет, каждое слово. Поэтическое произведение должно быть и передано поэтически; а если, сверх того, оно принадлежит народной литературе, то и с соблюдением его эпического склада. Переводчик гриммовского сборника имел не только право, но и прямую обязанность воспользоваться меткими оборотами и картинными выражениями русского сказочного языка; обязанность эта обуславливается тождественностью сказочных мотивов и древним родством преданий у обоих народов — немецкого и русского. Но употреблять такие обороты и выражения надо умеючи и только там, где потребует этого самый подлинник. Иначе можно впасть в манерность и прикрашивание, совершенно чуждые наивной и всегда простой народной поэзии. Увы! переводчик гриммовских сказок не поскупился на готовые эпитеты и фразы, взятые из русского сказочного эпоса, и, ставя

их без всякой нужды там, где в подлиннике нет на них и намека, подкрасил безыскусственный и художественный в самой своей простоте рассказ совершенно излишними приставками. Приведем несколько мест из сказки *Синий огонек* [...].

Подлинник:

”Es war einmal ein Soldat, der hatte dem König lange Jahre treu gedient: als aber der Krieg zu Ende war und der Soldat, der vielen Wunden wegen, die er empfangen hatte, nicht weiter dienen konnte..

Als der Dampf in der Höhle umhergezogen war, stand auf einmal ein kleines schwarzes Männchen vor ihm.

Du kannst nach Hause gehen: sei nur gleich zur Hand wenn ich dich rufe.

Dem König ward angst, er legte sich auf das Bitten und um das Leben zu behalten gab er dem Soldat das Reich und seme Tochter zur Frau”.

Перевод:

«Жил-был солдат, много-много лет он служил немецкому (?) королю, служил верою и правдою; но война кончилась, солдат на войне получил много честных ран и по милости ран стал уже не годен на службу.

Дым клубом потянулся кверху, вдруг откуда ни возьмись черный как уголь человек стал пред ним.

Можешь домой идти; но по первому моему зову явись передо мной, как лист перед травою.

От страха немецкий король и света божьего не взвидел. Гордость свою, видно, надо укротить, и стал он солдатика (как нежно!) молить, чтобы только жизнь себе сохранить, пожаловал ему все свое немецкое царство, да еще на придачу отдал за него в замужество прекрасную королевну».

Все эти прибавки очень похожи на яркое суздальское мазанье, наложенное кистью «художника-варвара» на хорошую картину, достоинства которой он не в силах оценить. В той же сказке о «Синем огоньке» выражение: «mit halbgeschlossenen Augen» переведено: с *зжмуренными* глазами — вместо того, чтобы сказать: с *полузакрытыми* глазами. Но подобных неточностей много. Начало сказки «Белоснежка» передано так:

"Es war einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab, da sass eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in dem Finger, und es fielen drei Tropfen Blut in dem Schnee. Und weil das Rothe im weissen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich «hatt ich ein Kind so weiss wie Schnee, so roth wie Blut, und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen»".

Перевод:

«Много-много лет тому назад, как в один зимний день, когда с неба снег валил хлопьями и словно пухом устлал землю, случилось, что царица сидела под окном за черным шитьем, черным-пречерным, словно вороново крыло. И вот сидит она и шьет, а сама поглядывает на снег; в это самое время невзначай и уколола она себе иголкою палец и три капельки крови упали на черное шитье. А кровь-то такая алая, так и блестит на черном шитье при блеске белого снега (!). Смотрит царица да и думает про себя: что когда б у меня да родилась дочка такая белая, как этот снег, такая румяная, как эта кровь, и такая черная, как это шитье».

В подлиннике царица сидит перед окном, рама которого сделана из черного дерева, и шьет, заглядевшись на падающий снег, она укалывает себе иголкою палец; три капли крови падают на снег и возбуждают в ней желание иметь дитя белое, как снег, румяное, как кровь, и черноволосое, как рама на окне. Каким образом оконная рама обратилась у переводчика в черное шитье, почему капли крови упали не на снег, а на это черное шитье, да еще заблестали на нем при блеске снега? — все это остается для нас неразрешимой загадкой.

Сказка «Der Wolf und die sieben jungen Geislein» (Волк и семь козлят) переведена с заменю козлят — гусенятами [...]; очевидно, переводчик смешал слово Geis — коза с словом Gans — гусь: ошибка тем более непростительная, что означенная сказка, с теми же действующими лицами и с тем же содержанием, известна и в нашем народе. [...] Вот еще одно место из сказки о нерадивой пряхе [...].

„Wie der Bräutigam das hörte und ihre Faulheit bemerkte und den Fleiss des armen Mädchens, so liess er sie stehen, gieng zu jener und wählte sie zu seiner Frau“.

Перевод:

«Как услышал эти слова добрый молодец, так сейчас и смекнул, что невеста-то лентяй, *только вижу, что ты-то и будешь доброю хозяйкою, так будь же ты моею женою (sic)*».

В некоторых сказках мы встретили такие переделки, которые не только стирают поэтические краски, но и вовсе искажают народные предания. Так, в превосходном рассказе про «Смерть и ее крестника» неизвестно ради чего немецкое *der liebe Gott** в русском переводе заменено *всемогущим Зевсом* [...]. Как было не заметить, что имя греческого громовержца, чуждое германским преданиям, здесь вовсе — что называется — ни к селу ни к городу? что, упоминая его, переводчик уничтожает национальные черты рассказа и извращает самый смысл его?.. Как место кума может занять языческий Зевс? — решительно непонятно; но переводчику нет до этого дела, он выводит Зевса и заставляет его напрашиваться в кумовья, нисколько не думая о странности подобного эпизода. В другой сказке (*Funde vogel*) следующее место: «*sprach Lenchen: so werde du eine Kirche und ich die Krone darin*»**, переделано так: «Тогда Лена говорит: стань же ты мельницею, а я буду крыльями у ней». [...] Сказка «Три языка» окончательно испорчена. Немецкий текст повествует о молодом графе, который выучился разуметь язык птиц и животных; случилось приехать ему в Рим в то самое время, когда умер папа и между кардиналами возникло несогласие, кого избрать на место покойника. Они решились избрать того, на ком явлено будет чудесное указание свыше. И только что порешили это, как вошел в храм молодой граф и внезапно прилетели два белоснежных голубя и сели на его плечи. Кардиналы признали такое явление за знамение божье, и пришелец был возведен на папский престол. Когда новый папа совершал обедню, всякий раз к нему слетали

* любимый Бог (нем.).

** «сказала Ленхен: так стань же ты церковью, а я буду ее венцом» (нем.).

два белых голубя, сажались на плечи и шептали на ухо все, что ему следовало возглашать. В русском переводе действие происходит не в Риме, а в Венеции; вместо папы речь идет об избрании дожа, и белые голуби учат нового дожа тем изречениям, какие он должен произнести при торжественном обручении его с морем. Так переделана католическая легенда, не имеющая ничего общего с преданиями о венецианских дожах. Так нецеремонно обращаются у нас с народными произведениями! Неужели переводчик думает, что его собственные вымыслы могут быть интереснее того, что создано поэтическим гением народа? В примечаниях — в III томе сборника братьев Гриммов находим указание на связь означенного рассказа с именем Инокентия III, о котором существует предание, что при его избрании прилетели будто бы три голубя и один белый спустился на будущего папу. Кто знаком с мифическими поверьями, соединяемыми с этою птицею, тому не удивительно, что фантазия именно эту роль связывает с голубем, и, напротив, переделка переводчика покажется ему крайне бессмысленною. Грустно видеть, как лучшие создания народного эпоса уродуются под рукой непризванного деятеля, неспособного понять, что в этой области всякая поправка равняется искажению!

**РЕЦЕНЗИЯ НА СБОРНИК Е. А. ЧУДИНСКОГО
«РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ,
ПРИБАУТКИ И ПОБАСЕНКИ». М., 1864**

[...] Книга состоит из 31 сказки, между которыми большая часть суть варианты уже прежде изданных списков, и притом варианты, не представляющие никаких любопытных особенностей; две сказки (№ 4: «Али-баба Мустафа и Али-баба», «Деревянный орел и царевич-летатель») заимствованы из «Тысячи и одной ночи», а рассказ, напечатанный под № 27 («Вызывание привидений»), носит на себе явную печать переделки из какой-нибудь сочиненной повести. Текст сказок передан обыкновенным литературным языком, без удержания народного склада и оборотов; на стр. 24-й читаем: «Королева упала к королю в ноги: *папаша!* говорит, защити, не дай *варвару* меня в руки!» Народный язык не знает ни

папаша, ни *мамаша*, и в сказки они могли зайти разве от дворовой челяди, цивилизующейся охоло бар, или от самих издателей, рассчитывающих на тонкую деликатность Анучкина¹. Пора бы собирателям поэтических созданий народа обращаться не к дворовой челяди, а к настоящим, истым поселянам, которые, не мудрствуя лукаво, сберегли предания в несравненно большей свежести. Не то рискуем встретиться не только с добрыми папашею и мамашею, с которыми познакомили нас гг. Чудинский и Худяков², но и с такими выражениями, как *мерсую* или *с бонжуром проздравляю*. В конце своей книги г. Чудинский поместил несколько анекдотов, загадок и прибауток (между ними напечатанные под № 1 и 5 песни неизвестно почему причислены издателем к прибауткам). Загадки, занесенные г. Чудинским в свой сборник, не составляют новости в нашей литературе (они давным-давно напечатаны в «Письмовнике» Курганова³) и ни в каком случае не принадлежат к народным произведениям; это — давнее и никому не нужное изделие бурсы: «Кто же родясь умирал? — Адам и Ева; Кто богат на бумаге, а скуден на деле? — Арифметчик» и т. п. Зачем перепечатывать подобные мудрости? — Этой загадки, я думаю, не разрешит и сам издатель.

СКАЗКА И МИФ

[...]Происхождение тех баснословных представлений и образов, из которых создались народные сказки, тесно связано с происхождением самого языка и начальных воззрений человека на природу. Первобытные языки, как убедительно доказано новейшими филологическими разысканиями, были исполнены метафор, и это условливалось самою сущностью человеческого слова. В эпоху своего создания слово являлось не техническим обозначением известного понятия, а живописующим, наглядным эпитетом, выражающим ту или другую особенность видимого предмета и явления; оно не в состоянии было уловить всего объема передаваемого им понятия, а указывало на одну из более резких, более кидającychся в глаза его сторон. Отсюда, во-первых, возникла потребность в сопоставлении многих слов, выражающих различные качества одного и того же предмета, чтобы та-

ким образом яснее описать его с различных сторон; во-вторых, родилось неудержимое стремление сблизить видимые предметы и явления по некоторым сходным их признакам, давать им одинаковые названия и одно понятие объяснять через посредство другого. Если это и лишало первобытные языки строгой определенности, зато щедро наделяло их поэтическим колоритом. Всякий предмет рисовался в его наиболее характерных свойствах или в самом действии — не как отвлеченная мысль, а как живой образ. Так как весь интерес младенческих народов сосредоточивался на матери-природе, от которой зависело все их благосостояние, то понятно, что она по преимуществу сделалась предметом обожания и наблюдений. Обогащая природу, признавая в ней живое существо, человек все свои первые воззрения на ее силы и явления или прямее — все свои верования необходимо выразил в поэтических описаниях, где большая часть представлений были чистые метафоры; иначе он и не мог выразиться. Словом, миф и поэзия были одно и то же. Метафорический язык, общедоступный вначале, с течением времени, при забвении коренного слова и при возникшем стремлении усвоить за каждым словом одно определенное понятие, становится *загадочным*. До сих пор поэты называют молодой месяц золотым серпом, полную луну — ночною лампадою, солнце — всемирным оком, озирающим с высоты пространную землю; но все эти выражения нам понятны, и, произнося их, мы нисколько не думаем, что они были известны в самую раннюю эпоху жизни человечества и породили множество мифических сказаний, которые непременно покажутся нам странным вымыслом, если мы не обратим внимания на источник их происхождения. А сколько таких метафор, которые давным-давно отжили свой век, хотя порожденные ими басни доселе живут в памяти различных народов. Если разоблачить все метафорические образы, встречающиеся в народном эпосе, то все фантастическое, все загадочное в нем объяснится само собою; и надобно заметить, что в последнее время, при тех громадных успехах, какие сделала наука языкознания, ученые уже начинают выступать на эту настоящую дорогу.

С такой точки зрения обратим мы внимание на некоторые русские сказки, в связи с верованиями и сказками, принадлежащими всей семье арийских народов¹, и

прежде всего остановимся на предании об *окаменном царстве*.

Предание это составляет общее достояние всех индоевропейских народов. [...] При рождении одной знатного рода девочки, рассказывает хорутанская² приповедка, были позваны на пир *вилы*, подобно тому, как в других сказках приглашаются на родильный пир *роженицы* и *норны*³. Вилы явились в золотых одеждах с серебряными поясами; каждая из них одарила новорожденную дорогим даром, а одна «злочеста» дала ей шкатулку, в которой было написано, что дитя будет прекрасно, но рано погибнет. Когда девочка выросла, она превзошла красотой самих вил; злая вила еще больше ее возненавидела, и вот когда наступило время выдавать красавицу замуж — она пришла в замок и ударила ее волшебным прутом: в тот самый миг девица окаменела, и вместе с ней окаменело все, что ее окружало. После многих, многих лет случайно заехал в эту мертвую сторону молодой царь, увидел красавицу, залюбовался ею и поцеловал в уста. Его поцелуй пробудил ее к жизни, а с нею ожило и все превращенное в камень. Царь женится на красавице, а злую вилу поражает стрелой. Итак, вилы играют иногда ту же роль, что и дева судьбы, прядущая нить человеческой жизни; потому не без основания некоторые исследователи сближают это слово с глаголом *вить*. С хорутанскою сказкой сходна немецкая «Dornröschen»* [...]; здесь также являются вестницы судьбы, которые предсказывают будущее новорожденной королевны, и предание не случайно ставит ожидающее ее несчастье в связи с *веретеном* и *прядевом*. Давно когда-то были король и королева; королева родила девочку, такую прекрасную, что обрадованный отец вздумал задать большой пир. Он пригласил не только родственников, друзей и знакомых, но и вещих жен (*die weisen Frauen*), чтобы они были благосклонны к ребенку. В том королевстве их было тринадцать; но как король имел только двенадцать золотых тарелок, с которых вещие жены должны были кушать, то одну решили совсем не звать. Праздник был великолепный; к концу пиршества вещие жены стали дарить новорожденную чудесными дарами: одна наделила ее добродетелью, другая красотой, третья богатством и т. д. Только успела выговорить свое пожела-

* «Спящая красавица» (нем.).

ние одиннадцатая, как неожиданно явилась в залу тринадцатая вещая жена. Оскорбленная тем, что ее не позвали на пир, она жаждала отомстить за обиду и, никого не приветствуя, воскликнула строгим голосом: «В пятнадцать лет пусть королева уколется веретеном и упадет мертвая!» Затем повернулась и оставила залу. Все были в ужасе; тогда выступила двенадцатая вещая жена, которая еще не высказала своего пожелания, и хотя она не в силах была уничтожить злое заклятье, но могла смягчить его. «Да не будет смерти, изрекла она, но да будет это глубокий столетний сон, в который впадет прекрасная королева!» Король, желая соблюсти свое дитя от предсказанного несчастья, издал указ, чтобы в целом его государстве были немедленно сожжены все веретена. Дары вещих жен в точности исполнились: королева была прекрасна, скромна, приветлива и разумна, так что всякий, кто ее хоть раз видел, не мог не полюбить милой девушки. Случилось, что в тот день, когда совершилось ей ровно пятнадцать лет, короля и королевы не было дома. Королева оставалась одна в замке; она ходила по дворцу, осматривала палаты и комнаты, и наконец по узкой круглой лестнице взошла на старую башню; отворила дверь — там в маленькой комнатке сидела старуха с веретеном в руках и прилежно пряла кудель. «Добрый день, бабушка! — сказала девица, — что ты делаешь?» — «Пряду», — отвечала старуха. «А это что за вещь, что так весело кружится?» — спросила королева, указывая на веретено; но едва она дотронулась до него, как уколола себе палец. В то самое мгновение исполнилось злое заклятие: королева упала на постель и погрузилась в глубокий, непробудный сон. Сон этот распространился на весь замок: король и королева, которые только что воротились домой и вошли в залу, заснули вместе со всею свитою и двором; спали и лошади на конюшне, и собаки на дворе, и голуби на крыше, и мухи по стенам; даже огонь, разведенный на очаге, остановился неподвижно и как бы заснул; жареное перестало скворчать, и повар, вздумавший было ударить поваренка, так и замер на этом желании, погрузившись в дремоту; самый ветер притих, и ни один листик не шевелился более на деревьях. Кругом замка вырос густой терновник и с каждым годом подымался все выше и выше, так что наконец никто не мог видеть ни самого замка, ни флага на его кровле. Но по свету шла молва о

чудной спящей красавице Dornröschen (так ее называли), и время от времени являлись королевичи, пытавшиеся пробраться сквозь терновую преграду. Попытки их были тщетны; терновник, словно у него были руки, крепко обхватывал всякого смельчака, и несчастные юноши, повиснув на его иглах, умирали жестокою смертью. Много годов протекло, как услышал один королевич рассказ о спящей королевне и захотел во что бы ни стало посмотреть на нее. Когда юноша подошел к терновому забору, на место колючих кустов явились красивые цветы; дорога была открыта. Он поспешил к замку; охотничьи собаки и кони лежали на дворе и спали; голуби сидели на крыше, завернув головы под крылья; в кухне повар все еще стоял с поднятой рукой, как бы намереваясь зашить поваренка, и служанка все еще сидела над черной курицей, которую собиралась ощипать. Королевич шел дальше; везде царствовала безмолвная тишина, так что можно было слышать свое собственное дыхание. Наконец он вззошел на башню и отворил дверь в маленькую комнатку, в которой спала королевна; она была так прекрасна, что королевич не мог отвести от нее глаз, наклонился к девице и поцеловал ее. Едва поцелуй коснулся красавицы, как она открыла очи и пробужденная радостно взглянула вокруг себя. Рука об руку сошли они с башни; проснулся и король с королевою, проснулись и придворные, и с изумлением смотрели друг на друга; на дворе ржали лошади, собаки ласкались и прыгали; голуби вынули из-под крыльев свои головы и полетели в поле; мухи ползали по стенам, на очаге пылал огонь и варилось кушанье, жаркое начало скворчать; повар дал поваренку такую затрещину, что тот заорал, и служанка принялась щипать курицу. Королевич женился на прекрасной королевне, и свадьбу отпраздновали весело и роскошно. Таким образом, превращению в камень, о чем говорят хорутанское и другие предания, здесь соответствует долголетний, непрерывный сон. В немецкой сказке королева засыпает, *уколовшись веретеном*; в одной из русских сказок она засыпает от волшебной шпильки, воткнутой в ее волосы, и только тогда пробуждается от мертвящего сна, когда эта шпилька выпадает из девичьей косы; в других произведениях народного эпоса королевич всякий раз засыпает беспробудным сном, как скоро воткнут в его одежду *иголку* или *булавку* [...]. По свидетельству старой Эдды, бог Один⁴ погру-

зил в сон вещьую воительницу Брунгильду, уколов ее *тернием*; Зигурд⁵, нашедши спящую деву в замке, снимает с ее головы шлем и рассекает своим чудесным мечом твердую броню, которая так плотно облегла ее тело, как будто бы совсем приросла. Когда броня была снята — дева тотчас же пробудилась от сна. Особенно любопытна итальянская редакция сказки о спящей царевне [...]: у одного знатного вельможи родилась дочь Талиа: отец созвал мудрецов, чтобы они предсказали судьбу новорожденной. Мудрецы объявили, что ей угрожает большая опасность от костриги; почему отец отдал строгое приказание, чтобы в его замке не было ни льну, ни конопля. Талиа выросла. Однажды она увидела старую пряжу за работой; любопытная девушка взялась за кудель, начала тянуть нитку и нечаянно занозила свой палец *костригою* под самый ноготь; в ту же минуту она обмерла и упала наземь. Ее положили в пустом, уединенном замке и наглухо заперли двери. Случилось охотиться в той стороне королю; сокол его залетел в окно замка; король полез за ним и нашел спящую девицу; долго будил ее и не мог разбудить. Обвороженный ее красотой, он не устоял и сорвал цветок любви. Талиа понесла плод и родила двух близнецов — мальчика и девочку; феи приняли детей и положили к грудям матери. Раз как-то, не находя груди, один из близнецов начал сосать у матери палец и высосал из него занозу: с этим вместе окончилось глубокое усыпление Талии, и она встала для счастливой жизни и любви.

Во всех указанных видоизменениях сказка о спящем или окамененном царстве выражает одну идею: зимний сон природы и ее весеннее пробуждение, когда богиня Земля вступает в брак с юным светоносным женихом — Солнцем и начинает свои роды. Зимний сон или зимняя смерть природы (миф роднит эти понятия и называет Сон и Смерть братьями) уподобляется окаменению, потому что скованная морозом земля твердеет, как камень. В одной из валашских сказок злую свекровь постигает такая кара: обрадованная раннею весною, она погнала своих овец на горы; но вскоре вернулись морозы, и все ее стадо и она сама превратились в камни [...], т. е. замерзли. Временное усыпление природы, по указанию народных памятников, происходит от губительного укола Зимы. По русскому выражению, Зима на Николу (6 декабря) с *гвоздем* ходит и, накладывая на реки и озера

свои ледяные мосты, скрепляет их *гвоздями*: Варвара (4 декабря) мостит, Савва (5 декабря) *гвозди острит*, Никола *прибывает*. Итак, действие и ощущение, производимые зимними холодами, уподобляются уколу острого, крепко прибитого гвоздя. Воплощая естественные явления в живые образы, греческий миф эту гибель плодородных сил природы выразил в сказании о красавце Адонисе, который был сражен *зубом* или *клыком* вепря (зооморфическое олицетворение зимы). Когда Адонис умер, Афродита умолила Зевса позволить, чтобы он, оставаясь полгода в подземном царстве теней, другую половину года проводил в обители светлых богов. С тех пор Адонис попеременно переходит из объятий Венеры в объятия подземной богини Прозерпины. Это — представление кругового оборота, замечаемого в жизни природы, поэтическая картина ее цветения и увядания. То же значение, какое в греческом мифе придано кабаньему клыку, в вышеприведенных сказаниях приписывается острию булавки (шпильки) и колючему терну, а в тех вариантах, где в гибели героя или героини желали ярче выразить непреложное предопределение судьбы, — веретену или костриге. Смерть и воскресение природы — история, издревле интересовавшая человека и потому постоянно повторяющаяся в его эпических произведениях. Она передается и в повести о обожаемом всеми Бальдуре⁶ скандинавской Эдды: все, что существует на земле, поклялось его матери не наносить вреда этому светлому герою; но при отобрании всеобщей клятвы позабыли о ничтожном растении, которое родится не на земле, а на деревьях, и стрелую, сделанную из омелы, убит Бальдур, *в печальную пору зимнего солнцестояния*. Зимний сон природы — сон долгий и непременно продолжающийся до известного срока; отсюда понятно, почему сильномогучие богатыри русских сказок, вслед за необычайными подвигами, повергаются в непробудный, так называемый богатырский сон, который длится несколько суток, недель и месяцев. Любопытно свидетельство одной сказки [...], что как скоро добрый молодец впал в такой сон, то на всех деревьях стали увядать верхушки. Царевна, погруженная в долголетнее усыпление, пробуждается не прежде, как в то урочное время, когда чудодейственный меч разрубит ее тесную броню и когда из пальца красавицы будет *высосана* уколывшая ее заноза, т. е. когда прекратится мертвящее влияние Зимы

и твердые оковы, наложенные ею на землю и дожденосные тучи, будут раздроблены и прососаны жгучими лучами весеннего солнца. Польский глагол *smoktać* (*цмокать* или *цмокать* — издавать звук губами) одинаково употребляется и в смысле *сосать*, и в значении *целовать*; *smok* (*спок*) — дракон, змей, высасывающий молоко из небесных коров (*туч*), и вместе с тем — водяной насос. Если понятия «сосать» и «целовать» отождествлялись в языке, то нет ничего удивительного, что и в народном эпосе спящая царевна пробуждается к жизни не только высасыванием из ее тела губительной занозы, но и поцелуем юного светлого жениха. Поэтический язык доселе удерживает метафору, по выражению которой всееннее солнце *горячо лобзает* землю и она, словно невеста перед венцом, убирается в яркую зелень и цветы.

В древнейшую эпоху создания языка солнце называлось *золотом*, а блестящие лучи его уподоблялись *золотым нитям* и *волосам*. Потому в эпических преданиях арийских племен это обоготворенное светило обыкновенно слывет «златокудрым». Младенческой фантазии первобытных народов Солнце, восходящее поутру из воли океана и погружающееся туда вечером, представлялось прядущим из себя золотые нити (сравни: *пряжа* и *пряжить* — поджаривать); из этих-то нитей и приготавлилась та чудная розовая ткань, застилающая небо, которую называем зарею. Одна из сербских сказок [...] говорит о деде, светлой, как самое солнце, которая сидела над озером, вдевала в иглу солнечные лучи и вышивала ими по основе, сделанной из юнацких волос; а в другой [...] упоминается про бердо с нитями из солнечных лучей и про утók — звезды да месяц («су жице жраке сунчане а потка звијезде и мјесец»). На пути в свою родину Вейнемейнен⁷ (как повествует Калевала) услышал вверху над своей головою стук колеса самопрялки; взглянул, — а на облаках, озаренных солнцем, сияла великолепная радуга; на той радуге, словно на скамейке, сидела красавица; одежда ее блистала яркими цветами, а руки работали над пряжею: быстро кружилось золотое верстено и, то подымаясь, то опускаясь, обматывалось тонкой серебряной ниткою. Это была дочь Лоуки⁸ — та самая, что обещалась вставать вместе с солнцем, но всякое утро его предупреждала: Солнце еще только выглядывает глазком из-за леса, а она уже встала и оделась в свои дорогие уборы. В таком поэтическом

образе рисовало воображение утреннюю зарю, являющуюся пред самым восходом солнца. В наших заговорах на унятие крови находим следующие любопытные обращения к богине Заре: «На море, на океане (море — небо) сидит красная девица, швея-мастерица, держит иглу булатную, вдевает нитку шелковую, рудо-желтую, зашивает раны кровавые». — «На море, на океане... на золотом стуле сидит красная девица. Не девица это, а мать пресвятая богородица; шьет она — вышивает золотой иглой, ниткой шелковой; нитка, оборвись, кровь, запекись!» — «На море, на океане... мать пресвятая богородица шелковые нитки мотаает, кровавые раны зашивает; нитка оторвалась — руда унялась!» Так суеверное смешение древних языческих представлений с христианскими очень обыкновенно в народных поверьях, и многочисленными примерами можно подтвердить, что старинное обожание богини Зари в *двоeverную* эпоху средних веков было перенесено на пречистую деву. Одинаковое впечатление, производимое цветом зари и крови, сблизило эти понятия в языке; сравни: рудый — рыжий, *рыже* золото [...], *руда* — кровь, *рудеть* (*рдеть*, *рдяной*); эпитет *красный* равно прилагается к солнцу и заре, к золоту и крови. Богиня Заря тянет рудо-желтую нитку и своей золотою иглою вышивает по небу розовую, кровавую пелену; испрашивая у ней помощи от разных недугов и вражьих замыслов, заговоры выражаются так: «Зоря-Зорница, красная девица, полуночница! покрой мой скорбные зубы *своею фатою*: за твоим покровом уцелеют мои зубы». — «Покрой ты, девица, меня *своею фатою* от силы вражьей, от пищалей и стрел; твоя фата крепка, как горюч камень-алтыры!» Этой фате придаются эпитеты «вечной, чистой и нетленной» [...]. Потухающая Заря заканчивает свою работу, обрывает рудо-желтую нитку, и вместе с тем исчезает с неба ее кровавая пелена; почему народное верованье и присвоило ей силу останавливать кровь и зашивать раны: «Нитка, оборвись, кровь, запекись!» По свидетельству немецких преданий, Фригга, супруга Одина, работала на золотой прялке; созвездие Ориона называется в народе *Frigge-rock* (позднее: *Magiärock*) — *Friggs Rocken*. В славянских сказках сохранились воспоминания о чудесной самопрялке, прядущей чистое золото [...].

Так как, с одной стороны, течение человеческой жизни уподоблялось тянущейся нитке (*нить жизни*), а с дру-

гой, признавалось, что участь людей зависит от воли верховного божества, то понятно, почему под *Судьбою* первоначально разумели солнце. В любопытной чешской сказке [...] юный герой отправляется за разрешением трудных вопросов к Солнцу, тогда как, по сербской редакции того же самого предания, он идет к *Усуду* (Судьбе). Солнце названо в этой сказке *златовласым Дедом-Всеведом*, а в матери ему дана пряжа-судица (парка). Наравне с нитью и *волос* играет немаловажную роль в народных поверьях о судьбе. У светлой девы, вышивавшей солнечными лучами, о которой говорит сербская приповедка, был в голове *червлёный, как кровь, волос*, когда взяли и разделили этот волос надвое, то нашли, что в нем было записано много знатных деяний, совершавшихся от начала света. С женитьбою издревле соединялась мысль о предопределении. О богатыре Святогоре сохранилось такое сказание [...]: Повстречав Микулу Селяниновича, Святогор спросил его: «Ты скажи-поведай, как мне узнать *судьбину божию?*» — «А вот поезжай к таким-то горам; у тех гор стоит кузница, и ты войди туда и спроси кузнеца про свою судьбину». Ехал богатырь три дня, доехал до кузницы и видит: *кует кузнец два тонких волоса*. «Что ты делаешь?» — спрашивает Святогор. «Кую судьбину, кому на ком жениться». — «А мне на ком жениться?» — «Твоя невеста в поморском царстве, в престольном городе, тридцать лет лежит во гноище». Призадумался богатырь, поехал в поморское царство и нашел девицу во гноище; тело у ней точно кора еловая. Поднял свой острый меч, ударил ее в грудь и уехал. Очнулась девица — а еловая кора с нее спала, и сделалась она красавицей невиданной и неслыханной. Далеко пронеслась молва про ее красу; посватался за девицу Святогор-богатырь, женился, и вот как легли они опочивать — увидал он на ее груди рубец, расспросил и на деле спознал, что от своей судьбы никуда не уедешь. Поселяне до сих пор обращаются в свадебных песнях к святым ковачам Козьме и Демьяну с просьбою *сковать* свадьбу крепкую, долговечную [...].

Златокудрые герои и героини очень часто встречаются в народных сказках. Соответственно колебаниям в древнейших представлениях Солнца то юношею, то девою, и в сказках оно является то как златовласый царевич, то как царевна — золотая коса, непокрытая краса или Ненаглядная Красота. Царевна Ненаглядная Красо-

та [...] живет в золотом царстве — там, где восходит ясное солнышко; она совершенно тождественна с Василисой-царевной [...], которая обитает там, где солнце из моря подымается, и, плавая по морю в серебряной лодочке, гребет золотым веслом. Про эту царевну рассказывается у всех индоевропейских народов: немецкие сказки [...] знают королевну с золотыми косами, живущую далеко за морем; венгерская сказка [...] говорит о морской деве, которая выходит из глубины морских вод, каждое утро купается в *молоке*, и тело ее получает от того такую нежность, как будто бы она снова народилась на белый свет. Из одного источника с этим сказанием создан греческий миф о рождении Афродиты из морской пены и индийский миф о рождении красавицы Лакшми, супруги Вишну, в волнах млечного моря. У славян и литовцев Солнце представлялось богиней; дворец ее был на востоке; она ездила по небесному своду в золотой колеснице и, утружденная дневным путешествием, запыленная земным прахом, купалась вечером в море и поутру снова являлась ясною и светлою [...]. У малороссов до сих пор существует поговорка: «Солнце в море купает». По греческому преданию, Гелиос, после дневного странствования, спускался к западу на усталых конях, жаждущих успокоения в волнах того всесветлого океана, что обтекает кругом всю землю. Точно так же древнегерманское предание свидетельствует, что ранним утром Один выводит Солнце на небо, а ночью вместе с ним погружается в море и на корабле плывет в подземное царство. Чрезвычайно интересна южнорусская сказка о *морской пани* Анастасии Прекрасной [...]: добрый молодец отправляется в ту далекую сторону, где ночует Солнце, приезжает в его терем, построенный над синим морем, и спрашивает царя-Солнце: зачем он переменяется три раза в день? Солнце отвечало: «Есть в море прекрасная Анастасия; когда восхожу я утром, она брызнет на меня водою — я застыжусь и покраснею; потом, поднявшись на высоту, я посмотрю на весь божий свет — и мне станет весело; а вечером, когда захожу, Анастасия снова брызнет на меня волною — и я опять покраснею». Олицетворяя солнце и юношей и девою, фантазия создала это поэтическое сказание о влюбленной чете, причем прекрасный образ девы-Солнца слился с представлением утренней и вечерней зари.

Известный миф, будто Солнце, нарождаясь ежеднев-

но, восходит поутру прелестным младенцем, мужает в полдень и к вечеру погружается в океан дряхлым стариком, также не забыт в русских сказках, и дедушка — золотая головушка, серебряная бородашка играет в них не последнюю роль. [...] Чешская сказка повествует о добром молодце, которого король послал за тремя золотыми волосами Деда-Всеведа; он пришел в золотой замок и нашел там вещую старуху — судицу, которая сказала ему: «Děd-Vševěd je můj syn — jasně Slunce: ráno je pacholátkem, vpoledne mužem a večer starým dědem». Вечером прилетело в светлицу западным окном Солнце — Starý dědeček se zlatou hlavou и заснуло на коленях своей матери; а рано поутру, вместо старика, пробудилось krásné zlotovlasé dítě — boží Slunéčko и вылетело восточным окном на белый свет [...].

Прекрасная царевна-Солнце в одной из русских сказок является под именем *Марьи-Моревны* (дочь моря). Содержание сказки таково: прилетают Сокол, Орел и Ворон, сватаются за трех царевен и уносят их в свои далекие царства. Эти птицы олицетворяют в своих образах естественные явления природы, неразлучные с летними грозами; самый прилет их сопровождается темными тучами, вихрем и молнией. Народный эпос заставляет своих героев возвращаться из подземного царства на крыльях баснословной птицы, которая столь огромна, что затемняет собою солнечный свет, и летит быстрее стрелы, пущенной с тугого лука. Бурное дыхание ветров, нагоняющих на небо тучи, издревле уподоблялось птичьему полету, и миф иначе не представляет вихри и ветры — как существами крылатыми. Отсюда понятно, почему под крыльями сказочной птицы хранятся пузырьки с живою водою (дождем) [...], почему стóит ей только дунуть и плюнуть на отрезанные йкры мóлодца — и они тотчас же прирастают к его ногам. В сказке о Марье-Моревне Орел (носитель Зевсовых громов) воздымает бурю и с помощью своих товарищей оживляет убитого царевича: Ворон приносит целящей, а Сокол живой воды. В других сказках, вместо этих чудесных птиц, прямо выведены силы природы под собственными своими названиями, так, в сказке о Федоре Тугарине сватаются за красавиц и уносят их с собою *Ветер*, *Град* и *Гром*. Тех же мифических героев, только с заменою Града *Дождем*, встречаем и в сказке про Ивана Белого [...]: женившись на трех сестрах-царевнах, они учат

брата их — царевича великой премудрости. Гром научает его грохотать в поднебесье, Дождь — лить потоки и топить города и села, а Ветер — дуть, царства раздувать да хаты перевертать. Вóрона Вóроновича народный эпос ставит наряду с Солнцем и Месяцем; так, по свидетельству одного предания, все они трое женятся на родных сестрах [...]. Красные девицы, которых сватают и уносят названные герои, суть небесные светила. Закрывание блестящих звезд, луны и солнца темными облаками на языке метафорическом называлось похищением ненаглядных красавиц драконами, великанами, добрыми молодцами, — Орлом, Соколом и Вороном и вступлением с ними в насильственный или добровольный брачный союз. В некоторых вариантах уносимые вихрем девицы прямо называются *Луной* и *Звездой*.

Выдав своих сестер за Орла, Сокола и Ворона, царевич идет посмотреть на их житье-бытье и на пути женится на Марье-Моревне: но брак их не продолжителен: Марью-Моревну уносит Змей или по другим сказкам — Кощей Бессмертный, оба равно опасные похитители сказочных красавиц. В польской сказке [...] *król podziemny Kościej niesmiertelny* заступает место Морского Царя. Змей и Морской Царь (в его первоначальном значении) — дожденосная туча, помрачающая солнечный свет. Сказка представляет Змея скованным: в крепко запертой комнате дворца он висит на железных крюках и цепях, что означает тучу, скованную зимним холодом (смотри ниже), и только тогда срывается с них, когда вдоволь напьется воды, т. е. весной. Вода, наделяющая его такую громадную силою, что ему нипочем разорвать железные цепи, есть дождь; в одной сказке она названа *живою водою* [...]. Согласно с этим представлением Змея в зимних оковах, ему дается название Кощея. Имя *Кощ-ей* родственно с словом *кость* (переход звуков *ст* в *щ* очень обыкновенен, напр., расти — роща, пустой — пуща, густой — гуща и проч.); глагол *окостенеть* употребляется в смысле застыть, оцепенеть, сделаться твердым, как кость, от сильной стужи. Туча, охваченная холодом, как бы застывает и не посылает более на землю плодотворного дождя. До сих пор именем Кощея называют старых скряг, дрожащих над затаенным сокровищем. В сближении с этими данными надо, кажется, искать объяснения и той постоянной эпической прибавки, которую характеризует вещая старуха, заправляющая

вихрями и вьюгами: Баба-Яга, *костяная* нога. Сорвавшись с цепей, Змей овладевает красавицей Марьей-Моревною, т. е. закрывает ее светлый лик своим мрачным покровом. В хорутанской редакции [...] царевич женится на воинственной царице вил; она советует своему милому не входить в запретную комнату, но царевич ослушался — и увидел там старика, из уст которого выходило пламя. Это был огненный царь (то же, что Змей); он попросил напиться, *и, когда царевич подал ему воды — с старика тотчас же слетели сдерживавшие его обручи*, и, освобожденный, он унес царицу вил на огненную *гору*: там она сидела *в потоке* и ждала избавителя. В сербской сказке [...] царевичу было запрещено входить в двенадцатый погреб; но он отворяет туда двери, видит огромную *бочку, обитую тремя железными обручами* (о значении этой бочки-тучи скажем ниже), и слышит из нее голос: «Ради бога, брате! дай мне чашку воды, я умираю от жажды». Царевич плеснул в бочку чашку воды — и вслед затем лопнул один обруч; за второю чашкою — лопнул другой обруч, а за третью — и последний распался. Из бочки вылетел Змей и увлек красную девицу в змеиный град. Итак, Змей уносит похищенную красавицу в *гору* или заключает в своем *городе*. И гора, и змеиный город суть метафорические названия темной тучи.

На основании сходства впечатлений, производимых отдаленными горами и облегающими горизонт облаками, сходства столь близкого, что непривычный взор путника нередко принимает видимые горы за облака, — оба понятия были отождествлены и в языке и верованиях. В санскрите слова, означающие гору, в то же время означают и облако (*parvata, giri, adri, gotra*); гимны Ригведы⁹, говоря о тучах, называют их метафорически горами. Отсюда возник миф о горах-тучах, которые, сталкиваясь между собой, производят страшный гром и смертельные удары. У индейцев эти горы назывались *летучими*; а в наших преданиях им придан эпитет *толкучих*. В сказке об Иване Царевиче и его коварной сестре [...] находится такой эпизод: отправляется Иван-царевич в тридцатое царство за живую водою: там есть две горы высокие, стоят вместе — вплотную одна к другой прилегли; только раз в сутки они расходятся и минуты через две-три опять сходятся, а промеж тех гор хранится вода живая и мертвая (целующая). Приезжает ца-

ревич к толкучим горам, стоит-дожидается, когда они расходиться станут. Вот зашумела буря, ударил гром, и раздвинулись горы; царевич стрелой пролетел промеж гор, почерпнул два пузырька воды и назад повернул; сам-то он успел выскочить, а у коня задние ноги помяло, на мелкие части раздробило. Предание это занесено и в стих про Егория Храброго, и в песню про Дюка Степановича [...]:

Стоят горы толкучие;
Тые ж как горы врозь растолкуются,
Врозь растолкуются, вместе столкнутся, —
Тут тебе Дюку не проехать,
Тут тебе молодому живу не быватьи.

Одиссея в XII песне также упоминает о бродячих, толкучих горах, промеж которых ни одна птица не смеет промчаться, даже из тех быстролетных голубей, которые приносят Зевсу амброзию, один всегда погибает, разбившись в опасных утесах, и Зевс каждый раз принужден заменять убитого голубя новым. Завлечет ли сюда морская буря корабль — от него останутся одни доски да трупы несчастных пловцов. В своем странствовании за золотым руном Аргонавты должны были проходить между этими страшными горами. О толкучих горах рассказывают, что они не иначе останавливаются, как убивши кого-нибудь [...], т. е. после громового удара. Понятно, что именно в этих горах должна была заключаться живая вода, т. е. весенний дождь, оживляющий природу после ее зимнего сна. В словацкой сказке мать посылает сына к двум великанским горам, из которых правая отворяется в полдень и бьет ключом живой воды, а левая — в полночь и точит мертвую воду. Связь Змея (дракона) и бога-громовника с горами общеизвестна. Мифы всех арийских племен согласно утверждают, что божество грома, дождя и молнии признавалось сыном тучи, выходящим из мрачных горных пещер. Индийский Шива родился в пещере горы Меру: и точно так же греческий Вакх родился в пещере острова Наксоса — в то время, как мать его Семела погибла от громов Зевса, явившегося во всей своей грозной славе, т. е. туча, разбитая молниями, исчезает, а из недр ее исходит Вакх (вино — дождь). Сам Зевс, скрытно от отца своего, воспитывался в пещере острова Крита. Наши сказочные змеи носят название *Горынычей*, т. е. буквально принимаются за детей горы. В пещерах горы Вавель, говорит польское пре-

дание, жил страшный Змей; князь Крок убил его, и в связи с его именем *Исполиновы горы* (Riesengebirg) древле назывались *Крконоши*. Славянские предания творение гор приписывают черту, с которым постоянно борется Илья-громовник; черт здесь заменяет Змея. Царство драконов лежит в мрачных горах-тучах и потому в сказках оно нередко именуется *подземным*.

В облаках, покрывающих небесный горизонт, фантазия находила сходство не только с горами, но и с городскими башнями и стенами; почему в гимнах Ригведы облака и тучи называются *городами* и *крепостями*, стены которых разрушает могучий Индра. Отсюда сказочные предания о змеиных городах или царствах, которым придаются эпитеты медного, серебряного и золотого. Означенные эпитеты объясняются теми яркими, блестящими красками, которыми солнце с таким великолепием расцветивает облака, особенно при своем восходе и закате. В связи с этим стоят верования, приписывающие драконам добывание металлов и хранение несметных сокровищ. Змеиные города вертятся во все стороны [...]. В хорутанской сказке [...] читаем: «i dojde do jednoga grada kufrnoga (медного), koj se je zmirom na sraki ni pogi vrtel»; то же выражение употреблено и при описании городов золотого и серебряного, что прямо отождествляет их с вертящеюся избушкою Бабы-Яги.

Но возвратимся к Марье-Моревне. Царевич идет ее искать; ему удастся увезти ее из заключения, но Змей быстро нагоняет их на своем славном коне, отнимает беглянку и снова запирает в свой город. Тогда царевич решается добыть себе коня, который был бы сильнее и быстрее змеиного, и за трудную службу у Бабы-Яги ему удастся достигнуть своей цели. Он опять увозит Марью-Моревну; Змей бросается в погоню, но богатырский конь царевича убивает его ударом своего копыта. Царевич есть сам Перун, разбивающий тучи и чрез то выводящий Солнце из-за темных змеиных гор; конь его соответствует греческому Пегасу: как тот ударом копыта творил новые живые источники, так этот убивает копытом Змея, т. е. уничтожает тучу, заставляя ее пролиться обильным дождем. В Литве сохраняется предание, как один царь, в гневе своем на солнце, приказал заточить его в башню, нарочно для того выстроенную. Приказ был исполнен, и солнце перестало светить; тогда двенадцать планет, лишённые его света, заказали *огром-*

ный молот (страшное орудие Тора), пробили отверстие в башне и освободили солнце.

Добывание *живой воды* составляет один из любимейших мотивов народного эпоса. Старая ведьма-Зима, представляемая в сказках злою мачехой, скрадывает с неба дожди и губит плодородие; сами Змеи и великаны, согласно усвоенному им демоническому характеру, представляются задерживающими дождевые ливни — до тех пор, пока не будут побеждены всесокрушительным оружием Перуна. «Егда дождь идет (читаем в старинном апокрифе [...]), тогда дьявол станет пред дождем — да не грядет на землю; того ради ангел господен гонит его. Гром есть оружие ангельское». Сказка о живой и мертвой воде [...] известна у всех индоевропейских народов. Состарившийся и ослепнувший царь, о котором она повествует, есть поэтическое изображение зимней природы, когда все на земле увядает и солнце теряет свой животворный блеск; свет и зрение и в языке, и в мифе постоянно отождествляются. Олицетворяя времена года в живых образах, народная фантазия Весну представляла прекрасным юношей, а Зиму беловласым старцем. Чтобы возвратить царю его молодость, зрение и красоту, сын-царевич должен добыть живой воды и «моложавых» золотых яблок, т. е. вызвать весну с ее благодатными дождями и яркими золотистыми лучами солнца. Живая вода и молоджавые яблоки выражают одну и ту же идею; они одинаково обновляют дряхлого старика, делают его цветущим юношей, больному дают крепость и здоровье, мертвому — жизнь, безобразие превращают в красоту, бессилие в богатырскую мощь. И вода и яблоки хранятся в стране далекой, в чудесном саду и оберегаются драконами и великанами. По одному варианту русской сказки вокруг этого сада лежит громадный змей, сомкнувшись кольцом: хвост и голова сошлись вместе. Драконы и великаны — олицетворение дожденосных туч, и боггромовержец иначе не представляется, как в постоянных битвах с ними: Тор сражается с иотами, Зевс с титанами, Индра с разными демоническими существами, похитителями и сокрывателями дождевой влаги. Греческая мифология знает знаменитый сад Гесперид, в котором растут золотые яблоки, оберегаемые стоглавым драконом; по приказанию царя Эвристея Геркулес должен был принести оттуда редких плодов. Русская былина о Михайле-Потоке Ивановиче рассказывает, что живая вода

этому богатырю была принесена лютой змеей *из-под земли* [...]; а словацкая сказка [...], что живая и мертвая воды изливаются из *гор*. По сказанию Эдды, Один выпил квасир (нектар), сокрытый в *горе*, пробравшись туда в просверленную дыру в образе змея (Wurm). Отголосок этого любопытного предания слышится в норвежской сказке [...] о двух великанах: Bergbohrer (сверлитель гор) и Meersauger (высасыватель морей): первый просверливает насквозь гору, а последний вытягивает в это отверстие пространное море, т. е. переводя на простой язык: молния буравит тучу и она проливает обильные потоки дождя.

Остановимся на сказках, рисующих страшные битвы богатырей с змеями. Особенно интересно предание об Иване — коровьем сыне [...]. В одно и то же время понесли плод царица, кухарка и корова и родили трех сыновей: Ивана-царевича, Ивана-кухаркина сына и Бурю-богатыря, Ивана-коровьина сына. Быстро выросли три молодца и стали могучие витязи, но всех сильней, всех отважнее последний. Вообще следует заметить, что сказанные богатыри, изумляющие нас громадными силами и чрезвычайными размерами, воплощают в своих человеческих образах грозные явления природы; оттого они и растут не по дням, не по часам, а по минутам, так же скоро, как скоро надвигаются на небо громовые тучи и вздымаются вихри. Именно таков Иван-коровьин (иногда кобылин) сын. Корова и конь служили обыкновенными метафорическими выражениями облака и тучи; гимны Ригведы постоянно называют тучи небесными коровами, воздаяющими из своих сосцов благодатный дождь на землю. Представления эти, как уже доказано, не чужды были и славянам [...].

Быстрота полета бурной грозовой тучи заставила фантазию сблизить ее с быстроногим конем, а проливаемые ею потоки с дойною коровой; самый дождь на метафорическом языке назывался молоком. Поэтому Буря-богатырь, коровьин сын нашей сказки, есть собственно сын тучи, т. е. молния или божество грома — славянский Перун; понятно, что удары его должны быть неотразимы. Перун (Thor) вел постоянную борьбу с великанами-тучами и разбивал их своею боевой палицей и меткими стрелами; точно то же свидетельствует сказка об Иване — коровьем сыне, заставляя его побивать многоглавых, сыплющих искры Змеев. Чудовищные Змеи, вла-

детели «сильной» воды (дождя), и в пылу битвы бросаются испить этого нектара, чтобы укрепить себя для новой схватки. Победивши Змеев, Иван-коровьин сын борется с их матерью, еще более страшную Змеихою, которая разевает свою пасть от земли до неба и «jakby chmuga jaka zastonita stónce» [...]. Иногда эта Змеиха преследует богатыря в виде огромной прожорливой свиньи: на мифическом языке свинья означает то же, что и волк, именно темную тучу, застилающую собою небесный свод и как бы пожиравшую солнце. Богатырь спасается от нее бегством на кузницу, и там нечистая свинья, будучи схвачена за язык горячими клещами, погибает под кузнечными молотами — подобно тому, как гибнут великаны под ударами Торова молота; или, по другому сказанию, запряженная в соху, она выпивает целое море и лопается, т. е. изливается дождем при оглушительных раскатах грома. Представление бога-громовержца кузнецом принадлежит глубочайшей древности; в мрачных пещерах гор (в тучах) устраивал он свою мастерскую и выковывал там чудесное оружие (молнию), которым после поражал своих врагов; как естественный результат поражения Змеев или прямее — разгрома темных туч является скрывавшийся за ними благотворный свет солнца. Такое появление сияющего солнца народный эпос представляет освобождением из-под власти чудовищных Змеев похищенной ими красавицы. В сборнике Гальтриха находим любопытную сказку: «Die Königstochter in der Flammenburg»* [...]:

У одного бедняка было столько детей, сколько дыр в решете; когда господь даровал ему еще сына, он пошел искать кума, встретил на дороге старца и пригласил его в крестные отцы. Тот охотно согласился и подарил крестнику теленка с золотой звездой во лбу. Теленок вырос и сделался красивым быком; мальчик погнал его пасти, и, когда поднялись они на гору, бык сказал своему маленькому хозяину: «Оставайся здесь и спи, а я тем временем поищу для себя корму». И только что мальчик заснул — бык ринулся с быстротой молнии, прибежал в обширные небесные луга и стал поедать золотые цветы — звезды (Sternblumen**, астры). Перед самым закатом солнца он поспешил назад, разбудил маль-

* «Королевская дочь в огненном замке» (нем.).

** Цветы-звезды (нем.).

чика, и вместе воротились домой. На другой день бык снова уходил в небесные луга, на третий — тоже, и так продолжалось до тех пор, пока не исполнилось мальчику двадцать лет. Тогда бык сказал ему: «Садись ко мне промеж рог, я понесу тебя к королю: попроси у него меч в семь локтей и обещаю освободить королевну». Король дал ему меч, но мало рассчитывал на успех. Королевна была унесена двенадцатиглавым драконом и заключена в огненном городе (Flammenburg*), к которому никто не осмеливался приблизиться; на пути к этому городу стояли высокие, непроходимые горы и шумело бурливое море. Юноша сел между рог быка и в одно мгновение очутился у высоких гор. «Нам придется назад поворачивать, — сказал он, — чрез горы не передеешь». — «Погоди на минуту!» — отвечал бык, ссадил молодца наземь, разбежался и сдвинул своими могучими рогами целый ряд гор в сторону; отправились они дальше и вскоре прибыли к морю, бык наклонил голову, потянул в себя воду и выпил целое море. Вот наконец и огненный город виднеется; на далекое расстояние пышет оттуда таким жаром, что добрый молодец не в силах был вытерпеть. «Стой! — закричал он быку, — ни шагу дальше — иначе мы совсем сгорим». Но бык подбежал к городу и вылил из себя многоводное, незадолго перед тем поглощенное море; пламя угасло, и поднялся густой пар, от которого все небо покрылось облаками. Из-за тумана явился двенадцатиглавый дракон; добрый молодец схватил обеими руками тяжелый меч и одним махом снес ему все двенадцать голов; дракон упал на землю и ударился об нее с такою силой, что она задрожала. «Служба моя окончена!» — сказал бык и направил свой быстрый бег в небесные луга; с тех пор он не являлся больше. Смысл сказки таков: дева-Солнце затемнена тучею (драконом); чтобы освободить ее, надо осилить три преграды: горы (тучи), море (вместилище дождя) и огненный город (жилище молниеносного змея). Сказочный герой исполняет трудный подвиг освобождения при помощи быка, который сам есть не что иное, как туча, а богатырский меч в руках молодца есть Перунова палица. В борьбе быка с драконом фантазия изобразила живую поэтическую картину летней грозы: туча несется на тучу, гремит гром, блистаёт молния, шумит

* Огненный замок (нем.).

дождь, и на проясневшем небе (дракон гибнет, бык исчезает) появляется солнце. В сказке об Иване Пóнялове, любопытной по свежести и яркости передаваемого ею древнего мифа, повествуется, что в том государстве, где родился названный герой, не было дня, а царствовала вечная ночь, и виною этого был проклятый змей. Вызвался богатырь истребить змея, взял боевую палицу в пятнадцать пудов и после упорной борьбы поразил его смертельно; поднял змеиную голову, разломал ее — и в ту же минуту по всей земле стал белый свет, т. е. из-за разбитой тучи явилось красное солнце.

Чтобы нагляднее показать, что именно таково значение разбираемых нами преданий, мы приведем превосходную словацкую сказку «Slncovi kôň»*, напечатанную в сборнике Эрбена [...]. Сказка эта развивает ту же самую тему, что и наши русские об Иване Пóнялове и Иване-коровьем сыне, и весьма близка с ними своими подробностями.

Была некогда страна, печальная, как могила, темная, как ночь, потому что в ней никогда не светило божье солнце. Люди давно бы оттуда разбежались, покинув ее совам и летучим мышам, если бы по счастью не владел король конем с солнцем во лбу, которое рассыпало светлые лучи во все стороны. Король приказал водить этого солнцева коня по своему государству от одного края до другого, и там, где вели коня, от него разливался такой свет, как будто бы стоял прекрасный день: а там, откуда он удалялся, все погружалось в густой мрак. Вдруг солнцев конь исчез; тьма ужаснее самой ночи облегла печальную страну; ужас и отчаянье напали на жителей. Король собрал войско и отправился искать своего коня с солнцем во лбу. Выступя за границу своего королевства, он попал в непроходимые дремучие леса. Там в бедной хижине обрел он вещего мужа (veštec), который заступает в словацкой сказке место русского богатыря Ивана Понялова. Вещий муж отсылает короля с войском назад и хочет сам найти ему и возвратить похищенного коня. На другой же день отправился он с слугою на розыски, и вот прибыли они в некое государство, в котором царствовало трое братьев-королей, женатых на трех родных сестрах, дочерях злой Стриги (колдуньи). Короли эти играют здесь ту же роль, какую в наших сказ-

* Солнечный конь (словац.).

как змеи. Остановясь у дворца, Ведун сказал своему слуге: «Подожди меня тут; я пойду в палаты разведать, дома ли король, ведь они-то и похитили солнцева коня и младший всегда на нем разъезжает». В одно мгновение обратился он зеленой птичкою, полетел к светлице старшей королевы, начал порхать вокруг и стучаться клювом так неотступно, что она впустила его в комнату. Королева обрадовалась, как дитя, потому, что птичка была красива и нежно ласкалась к ней. «Ах, жаль, что моего мужа нет дома! Пташка наверно б ему понравилась. Он поехал смотреть третью часть государства и вернется только к вечеру». Так говорила королева, играя с маленькою птичкою. Вдруг вошла в комнату старая Стрига, увидала птичку и воскликнула: «Задуши ее проклятую или она тебя окровавит!» — Окровавит? о, погляди, как она мила и невинна!» — возразила дочь. «Обманчивая наружность! давай я ее задушу!» — сказала колдунья и кинулась за птичкою. Но птичка обратилась в человека, который тотчас же убежал в двери. Точно так же, оборачиваясь птичкою, посетил Ведун и двух других королевен и узнал о времени, в которое должны были воротиться их мужья. Потом вместе с слугою засел он под мостом и стал поджидать королей. В первый день он убил старшего брата, на другой день — среднего, а на третий увидел, что подъезжает к мосту, сидя на солнцевом коне, меньшей брат: это был самый могучий и сильный из трех королей. Оружием не мог одолеть его Ведун; мечи их поломались в бою. «Обернемся лучше мы колесами, — предложил он королю, — и покатаемся с горы: чье колесо будет разбито, тот и побежден!» Обратились оба колесами и покатались с горы. Колесо Ведуна налетело на своего противника и раздробило его; но тот, перекинувшись молодцем, заявил, что Ведун размозжил ему только пальцы, а не победил. С своей стороны он предложил оборотиться в белое и красное пламя: чье пламя осилит другое, тот и победит. Король оборотился белым пламенем, а Ведун — красным. Долго они палили друг друга, и некоторый не мог одолеть соперника. На ту пору шел мимо старик-нищий с длинною белою бородою. «Старик! — воскликнуло белое пламя, — принеси воды и залей красное пламя; я тебе подарю грош». А красное пламя перебило: «Старик! я тебе дам червонец, только залей белое пламя». Нищий, конечно, принял сторону последнего. Ведун победил и овладел солн-

цевым конем. После разных приключений он доставил его в печальную страну мрака, и тогда в ней все ожило, и поля зазеленели в весеннем убранстве. *Колесо и пламя* издревле служили символами солнца, которое фантазии младенческих народов казалось катящимся по небосклону огненным колесом; повороты этого светила на зиму и лето доселе чествуются возжением нарочно приготовленного колеса. Словацкая сказка имеет в виду не кратковременное помрачение солнца весенними тучами, а потерю им плодотворной силы в долгий период холодной половины года. Удаляясь на зиму, оно утрачивает за густыми туманами свой яркий блеск, становится бледным, что и продолжается до той поры, пока (с приближением весны) не осилит красный цвет или пока зимнее солнце не будет побеждено летним [...]. Что солнце представлялось конем, это засвидетельствовано многочисленными преданиями. Восьминогий крылатый конь служил символом его быстрого движения, и царь-Солнце, по древнейшему, общераспространенному воззрению, выезжало на небесный свод в золотой колеснице, запряженной огненными лошадьми. Немецкая сказка [...] говорит о белом солнцевом коне (*weisses Sonnenross*): как у Одиннова Слейннира, у него восемь ног; он бежит с быстротою ветра, прыгая с одной горы на другую; в чело его вставляется камень (*kaufunkel*), блестящий, как самое солнце, и если это сделать ночью, то облегающая землю тьма обратится в светлый день. В одной из русских сказок [...] упоминается о кобылице, которая каждый день облетает вокруг света; кони золотогривые, золотохвостые, с ясным месяцем во лбу, часто встречаются в народных преданиях. По своей солнечной природе они питаются огнем, жаром и пьют утреннюю росу (т. е. иссушают ее).

Дева-Солнце, обессиленная ведьмою-Зимою и помраченная туманами или злым змеем-Тучею, утрачивает на известное время и свой блеск и свою красоту, и в этом смысле подчиняется влиянию колдовства. *Заколдованная* или *очарованная* царевна является героиней многих сказок, представляющих разные вариации одной и той же темы [...]. Царевна-красавица, царством которой овладевает нечистая сила, теряет свой ясный, белоснежный цвет и делается черною, а белые кони, на которых выезжает ее колесница, превращаются в вороны. Но по мере того, как приближается срок ее избавления, чернота все более и более умалывается: и царевна, и кони становятся

белыми — сначала до пояса, потом до колен, а наконец и совсем освобождаются от влияния нечистой силы.

Кроме того, заколдование выражается еще переменною человеческого образа на животный, что тесно связывается с древнейшими представлениями сил природы и в виде различных птиц и зверей. Представления эти были единственным источником, из которого возникло повсюду распространенное верование в оборотней. В сборнике Гальтриха [...] сообщена следующая любопытная сказка под заглавием «Das Borstenkind*»: однажды сидела королева под тенистою липою и чистила яблоки, а возле резвился трехлетний малютка — ее сын, и так как мать не хотела дать ему яблока, то он схватил обрезанную кожицу и съел. Увидя то, королева рассердилась и с сердцем сказала: «О, чтоб ты поросенком был!» И в то же мгновение мальчик обратился в поросенка, захрюкал и убежал в свиное стадо. На краю леса проживала одна бедная, немолодая чета — муж с женою, детей у них не было, и они сильно о том грустили. Вечером, когда стадо ворочалось домой, оба они сидели на дворе, и жена промолвила мужу: «Ах, если бы господь даровал нам ребенка — хоть такого щетинистого, как свинка!» Не успела она окончить, как прибежал поросенок, начал к ним ласкаться и не хотел отойти прочь. Старуха увидела, что господь исполнил ее желание, взяла того поросенка в свою избу и стала заботиться об нем, как о собственном дитяти: приготавливала для него мягкую постель и давала ему есть белый хлеб и молоко. Ранним утром, когда раздавался рожок пастуха, поросенок убегал из дому и следовал за стадом, а вечером возвращался назад. Но что удивительнее: он мог говорить, как настоящий человек. Долго рос поросенок, и наконец в шестнадцать лет сделался большою свиньею. Случилось — как-то старики разговаривали между собою, что король изъявил всенародно обещание выдать свою дочь за того, кто исполнит три задачи, но что до сих пор не нашлось такого счастливец. Borstenkind услышал эти речи и сказал: «Отец! веди меня к королю и посвяти за меня его прекрасную дочь». После долгих отговорок старик вынужден был согласиться и отправился сватом; король приказал жениху выполнить следующие задачи: построить два дворца — серебряный и золотой и

* «Ребенок-щетинка» (нем.).

поставить между ними алмазный мост. Желания короля были исполнены, и Borstenkind женился на прекрасной королевне. Ночью он являлся к жене златовласым юношей изумительной красоты, а днем превращался в щетинистого борова. По совету матери королевна воспользовалась сном своего мужа и *сожгла на огне его свиную шкурку* (Borstenkleid), в надежде, что таким образом он избавится от заклятия. Но поутру королевич сказал ей: «Ты не хотела выждать и затруднила мое избавление; я теперь должен удалиться на край света, и ни одна смертная душа не явится туда, чтобы меня освободить!» Королевич исчез, а любящая жена пускается его отыскивать: сначала она идет к Ветру, потом на крылатом коне едет к Месяцу, затем к Солнцу, к утренней и вечерней Звездам и наконец преодолевает все трудности, находит своего милого, соединяется с ним и рождает чудного ребенка с лицом блестящим, как месяц, с золотыми кудрями, как солнце, и ясными очами, подобными утренней и вечерней звездам. В образе свиньи древний миф олицетворял мертвящее влияние холодных зимних туманов и облаков, как бы пожирающих солнечную теплоту и свет, и потому Солнце, победоносное в течение одной половины года, в другую половину представлялось побежденным злобою свиноголового Тифона¹⁰. Малорусская загадка: «*Сиви кабани усе поле залягли*» означает *туман*. По свидетельству средневековых памятников, дьяволы представлялись разъезжающими на свиньях. Удаляясь на зиму, добрый молодец-Солнце как бы надевает на себя туманный покров, под которым до поры до времени и таится его красота и золотые кудри (яркие лучи); говоря метафорическим языком, он облекается в свиную шкуру и делается оборотнем. По народным поверьям, занесенным во многие сказки, превращение совершается набрасыванием на себя шкуры или кожи того животного, образ которого хотят воспринять; снятие же этой шкурки влечет за собою восстановление первоначального образа. В устах поселян доселе живут рассказы о том, как иногда, застрелив волка, под шкурою его находили человека, за несколько лет перед тем превращенного в вовкулака. Самое слово *оборачиваться* в простонародном произношении — *обворачиваться* (*обернуться, обвернуться*) указывает на переряживание, покрытие себя каким-либо одеянием. Отсюда о солнце, затемненном облаками, родилось представление,

будто оно рядится в шкуры тех животных (преимущественно *волка* и *коровы*), в виде которых миф олицетворял тучи; сравни: *облако, облечься, облачение*. Этот облачной или туманный покров, закрывающий от глаз небесные светила и видимые на земле предметы, метафорически назывался: а) *шапкою* или *плащом-невидимкою* (Nebel-kappe*; Эдда облако называет verhüllender Helm**) и б) *волшебною сорочкою* [...], надевая которую сказочный герой получал возможность и силу владеть чудесным мечом-кладенцом (молнией). Чтобы освободить оборотня, надо совлечь с него звериную шкуру и для того обезглавить его богатырским мечом, т. е. разбить тучу Перуновой палицею, или похитить снятую им на время кожурину и сжечь ее на огне. В сербской песне Будинская королева сжигает сорочку, превращавшую ее сына в чудовище, на живом огне. *Живой огонь* добывался через трение дерева; это дерево и при совершении языческих празднеств служило символом небесного огня. Таким образом, сожжение звериной шкуры метафорически выражало действие жарких солнечных лучей, уничтожающих туманы.

«Borstenkleid» соответствует свиному чехлу нашей сказки [...]. Красная девица носит свиной чехол или кожух и потому не может быть узнана своим суженым. Но как скоро одежда эта сброшена — девица показывается в великолепных уборах, блистающих, словно частые звезды, светел месяц, красное солнышко и ясная заря (или: в серебряном, золотом и бриллиантовом платьях и в золотых башмаках); жених пленяется ее красотою и вступает с нею в торжественный брак. В переводе на общепонятный язык смысл сказания таков: дева-Солнце в зимний период времени облекается в свиную шкуру, т. е. лишается своей блестящей *красоты* (сравни: *краса, красный, краска, красное солнце*) и плодотворящей силы. Жених (вся природа) чуждается непривлекательной невесты и гонит ее от себя. В это безотрадное время преследуемая злой мачехой (Зимою) она является в печальном виде *Замарашка* или *Чернушка* (Aschenputtel) и осуждена на пребывание в *подземном царстве* (в стране мрака и теней — за туманными и облачными покровами). Но как только наступающая весна разорвет и

* Шапка-невидимка (нем.).

** Шлем-невидимка или (букв.) окутывающий шлем (нем.).

снимет с девы-Солнца свиной чехол и облечет ее в светлые одежды, она тотчас же предстает в полном блеске и сиянии, как будто облитая золотом и осыпанная бриллиантами. Красота ее делается ненаглядною, а жених узнает ее по золотому башмачку, прилипшему к дегтю. Весеннее солнце топит льды и снега или, выражаясь метафорически: оставляет след своей ноги (золотой башмачок) в растопленном дегте. Слово *деготь* есть причастие от литовского глагола *degu* — горю (*degas, degus, degsnis* — пожар, *degesis* — август, месяц жаров, *degattas, deguttis* или *daguttas* — деготь) и родственно с санскритским корнем *dag* — жечь и старонемецким *dag* — день, откуда и наш *Даж* — бог — солнце [...].

Тот же смысл и в сказке о сильномогучем богатыре «Незнайке».

[...] Златовласый добрый молодец, гонимый злою мачехою (которая хочет предать его смерти), должен удалиться из-под родной кровли и скрыть до поры до времени свои золотые кудри, молодость и красоту под бычачьим пузырем и шкурою, т. е. зимою солнце заволакивается снежными облаками и туманами, утрачивает свои горячие лучи и делается на определенный срок *плешивым, неузнаваемым* оборотнем, но когда настает время и богатырь побеждает *арапского* короля (позднейшая подставка древнего демонического существа; черный цвет — символ всего враждебного, мешающего солнечным лучам согревать землю), тогда спадают с него бычачья шкура и пузырь, золотые кудри снова рассыпаются по могучим плечам юноши и он вступает в благословенный союз с прекрасною невестою — Землею. Победа над губительным, всеоцеляющим влиянием зимы совершается при помощи весенних гроз и дождей; выражаясь мифическим языком, солнце только тогда начинает красоваться своими золотыми локонами, когда выкупается в источнике *живой воды* и умастит свою голову *змеиною мазью* (т. е. умоется в проливном дожде). По скандинавскому преданию, злой Локи обрезал прекрасные косы Зифы и, чтобы избежать мщенья бога-громовержца, заказал подземным карликам выковать ей новые косы из чистого золота. Эти карлики, как увидим ниже, суть громовые стрелы; разбивая тучи, они выводят из-за них златокудрую богиню и, так сказать, куют ей новые волосы. В палатах змея сказочный герой находит кипящую воду или чудную мазь: стоит только по-

мочить той водой голову или натереть ее тою мазью¹ — как в то же мгновение волосы станут золотыми или серебряными.

Здесь считаем мы нужным остановить внимание читателей на двух интересных сказках, сообщенных в сборнике Гальтриха [...]. Одна из них озаглавлена «Der Wunderbaum»*. Случилось некогда — мальчик-пастух погнал овец в поле и увидел дерево, которое было так красиво и громадно, что он долгое время стоял и смотрел на него совершенно изумленный. Захотелось ему взобраться на то чудное дерево, и это не трудно было, потому что ветви его подымались вверх, точно ступени на лестнице. Мальчик снял свои башмаки и полез на дерево; целые девять дней лез он и достиг до широкого поля: там стояли многие палаты из чистой меди, а позади палат был большой лес из медных деревьев, и на самом высоком дереве сидел медный петух, а под деревом журчал источник, текущий медью. Насмотревшись вдоволь, мальчик сломил себе веточку с одного дерева, и так как ноги его были утомлены, то вздумал освежить их в воде. Он опустил ноги в источник, и когда вынул назад — они оказались покрытыми блестящей медью. Мальчик поспешил воротиться к исполинскому дереву, которое все еще высоко подымалось к самым облакам и вершины которого нельзя было разглядеть. «Там наверху должно быть еще лучше!» — подумал он и полез выше. Девять дней взбирался пастух, не зная отдыха, и вот перед ним широкое поле: на том поле стоят палаты из чистого серебра, а позади их лес из серебряных деревьев; на самом высоком дереве сидел серебряный петух, а внизу у корня журчал источник, текущий серебром. Мальчик сломил себе веточку и вздумал умыть свои руки в источнике, окунул их в воду — и они тотчас стали серебряные. Снова воротился он к исполинскому дереву, вершина которого терялась высоко в поднебесье. «Там вверху должно быть еще лучше!» — думал пастух и полез выше. Через девять дней он очутился на самой верхушке, и перед ним открылось широкое поле: на том поле стояли палаты из чистого золота, а позади их лес из золотых деревьев; на самом высоком дереве сидел золотой петух, а внизу у корня журчал источник, текущий золотом. Мальчик сломил себе ветку, снял шляпу

* «Чудесное дерево» (нем.).

и нагнулся заглянуть в источник; волосы упали в льющееся золото и сами сделались золотыми. Спустившись с исполинского дерева, пастух нанимается к королю и выговаривает позволение никогда не снимать шляпы, сапогов и перчаток, под предлогом, что у него злая короста. Тут совершает он трудный и опасный подвиг, в награду за который получает руку прекрасной королевы. Другая сказка упоминает о трех лесах: в одном все деревья были медные, а посреди стоял медный замок, принадлежавший медному дракону (Kurfeddrache). Пастух гонит в тот лес своих коз, убивает мечом-самосеком дракона и уносит из замка медную узду. Вечером он пригнал стадо домой, и его козы дали молока несравненно больше, чем когда-либо прежде. На другой день пастух гонит свое стадо в другой лес, в котором все деревья были из чистого, блестящего серебра; убивает серебряного дракона (Silberdrache) и берет серебряную узду. Вечером козы дали молока втрое больше, чем накануне. На третий день пастух отправляется со стадом в золотой лес, убивает золотого дракона (Golddrache) и захватывает с собой золотую узду; в этот раз козы принесли молока вдесятеро больше, чем в предыдущий вечер. Затем он пошел к *темной скале, из которой бьет живой ключ*; помочил в том ключе голову, и волосы его заблестали, как чистое золото. Три взятые узды имели то чудное свойство, что если потрясти ими, в ту же минуту появятся бесчисленные войска в медных, серебряных и золотых вооружениях; с помощью этих войск добрый молодец поражает сильного неприятеля и женится на прекрасной царевне. Немецкие предания [...] рассказывают о чудесном источнике Goldbrunnen: когда пришел к нему королевич и помочил свою голову, то волосы его стали золотыми и *заблестали, как солнце* («und glänzte wie eine Sonne»).

Исполинское дерево немецкой сказки и металлические леса, с текущими среди их источниками, напоминают нам три змеиные царства: медное, серебряное и золотое. Значение их одно и то же. Дождевые тучи, застилающие небесный свод длинными и многоветвистыми полосами, в глубочайшей древности были уподоблены дереву-великану, обнимающему собою весь мир,— дереву, ветви которого обращены вниз, к земле, а корни простираются до третьего неба. О таком всемирном дереве сохраняются самые живые предания во всех языческих

религиях арийских народов, и после превосходных исследований Куна [...] несомненно, что это баснословное дерево есть миф тучи, а живая вода (нектар) при его корнях и мед, капающий с его листьев, метафорические названия дождя и росы. Зендская мифология знает священное дерево жизни, от которого произошли на земле все целебные растения; из-под него струится ключ Ардвизур, источающий живую, целящую воду; самый сок этого дерева дает здоровье и бессмертие. Его называют *Iat-bés* — бесскорбное и *Harviç ptockhama* — наделенное всеми семенами, которые оно разносит вместе с дождем по всей вселенной. Кун находит подобные же указания в гимнах Ригведы. Но особенно знаменательна мировая ясень Эдды — *Иггдразилль*: ветви ее тянутся через всю вселенную, распростираясь и на небо, и на землю; под каждым из трех корней *Иггдразилля* вытекает по источнику: один источник называется *Urdhargrunnen* (по имени норны *Urdh*), возле которого собираются боги определять непреложные судьбы всего сущего на свете. Всякое утро норны черпают из этого родника воду и окропляют ею ветви мировой ясени, отчего и происходит роса, падающая долу; на поэтическом языке Эдды роса — *honigfall* (падающий мед). Другой источник — *Mitir'sbrunnen*, в водах которого таятся разум и мудрость; за глоток этого напитка Один отдал в заклад свой единственный глаз: мифическое изображение солнца (всевидящее око — солнце), закрытого дожденосною тучею. Птицы, восседающие на ветвях всемирного дерева, — птицы священные, разносители молнии*. Не менее любопытно сказание Калевалы о гигантском *дубе*: мудрый Вейнемейнен посадил желудь; дуб принялся и начал расти не по дням, а по часам; он вытянулся так высоко и раскинул свои ветви на такие небесные пространства, что ни облакам не стало проходу, ни лучам солнца и луны доступу к земле. Вейнемейнен начал обдумывать, как бы срубить это дерево, но нигде не находилось такого силача, чтобы мог взяться за это трудное дело. Тогда Вейнемейнен взмолился своей матери, чтобы она послала к нему на помощь силы могучей воды, и вот вышел из моря крошечный человечек, с ног до головы закованный в тяжелую медь, с маленьким *топориком* в ру-

* *Красный петух* до сих пор у славян и немцев служит синонимом *огня*.

ках; он срубил дерево (т. е. молния разбила тучу и открыла путь дождю), солнце осветило землю, и все на ней ожило, расцвело и пришло в движение. Сличи с норвежскою сказкою [...]: прямо пред окнами королевского замка вырос дуб, который был так громаден, что не пропускал в комнаты ни единого солнечного луча; сколько ни старались срубить его, все было напрасно: с каждым ударом, наносимым дубу, он становился все толще и могучее; наконец был найден чудесный *топор-саморуб*, который и повалил это гигантское дерево. Любопытно, что это предание о дубе сказка соединяет с другим о твердой *скале*, в которой надо было вырыть колодезь, чтобы напоить все царство, жаждущее от засухи; такая трудная задача исполняется *киркою-саморойкою*. У славян сохранились предания о двух дубах, стоявших посреди моря до создания мира. Слово *дуб* первоначально заключало в себе общее понятие дерева, что до сих пор слышится в производном *дубина* (*дубинка*): впоследствии название это исключительно усвоено самому крепкому дереву, которое и было посвящено богу грома (Тору, Перуну). У сербов дуб прямо называется *грмов*. Преломляя солнечные и лунные лучи и окрашиваясь чрез то блестящими красками, тучи-деревья породили сказания о металлических зменных лесах и веру в золотые «молодильные» яблоки.

Отсюда понятно, почему в немецкой сказке козы чем более пасутся в лесах медном, серебряном и золотом, тем более дают молока. *Молоко*, как известно, было одним из метафорических названий дождя, а *козы* и *овцы* — зооморфическими представлениями туч и облаков, подобно корове и другим животным. Белые облачка, являющиеся в жаркие дни на небе, до сих пор называются у немцев *Schäfchen*, а у нас — *барашки*. Напомним, что Тор представлялся разъезжающим по небу на козлах и что у греков козел играл значительную роль на празднествах Вакху.

Вечные, нескончаемые битвы Перуна с тучами представлялись в разнообразных поэтических образах, запечатленных глубочайшею древностью. Сказки знакомят нас с богатырями-великанами: *Дубыня* вырывает с корнем столетние дубы и другие деревья; он ровняет леса: которые деревья малы — те вверх вытягивает, которые велики — те в землю всаживает; ему вполне соответствует богатырь *Дугиня*, сгибающий вековые деревья в

дуги. У немцев богатырь этот известен под именами Baumdreher и Holzkrummtacher*. Подобно тому, как Дубыня испытывает свои силы над деревьями, так Горыня показывает свою мощь над горами; он ворочает самые высокие горы, бросает их куда вздумается, катает ногою, словно ком грязи, отшибает кулаком громадные скалы, и от его могучих ударов дрожит земля; у немцев он называется Steingerreiber и Felsenklipperer**. Мы уже указали, что тучи в древнейших эпических сказаниях уподоблялись горам и деревьям. Сказочные великаны, вырывающие дубы и сокрушающие горы, собственно разбивают тучи; в них олицетворено явление грозы, с ее потрясающим громом и молниеносными стрелами; почему в литовской сказке [...] Дубыня заменен кузнецом, который владеет громадным молотом, напоминающим подобное же орудие Тора: стоит ему ударить этим молотом, как тотчас падает самое крепкое дерево. В саге о Вельзунгах говорится о священном дереве, в которое Один врубил свой чудесный меч. По сказанию белорусов, Перун разъезжает по небу, и если увидит, что на земле творится беззаконие, то разбивает скалы или малые небеса и низводит на беззаконников молнию. Эда так выражается о божестве грома: Тор идет — скалы дрожат! [...] Титаны, сражавшиеся против Зевса, воздвигали горы на горы, желая достать до высокого неба; но Зевс бросил на них молнии и они пали под обломками скал. Страшно, говорит Гезиодова теогония, гудела земля и беспредельное море, потрясенное небо стонало и Олимп колебался в своих основаниях от воинских кликов и горного метания стрел! Верования всех арийских народов одинаково богаты повестями о борьбе громовержца с великанами гор, которые стараются задержать плодотворную влагу дождя и не допустить ее на жаждущие поля и нивы. На мифическом значении гор и скал основаны народные рассказы о том, будто великаны могут с такою силою сжимать в своих руках камни, что из них вода выступает. И у славян, и у немцев известно предание о превращении великанов в горы и скалы [...]; по другому преданию, города великанов отличались необычайной суровостью: они постоянно враждовали друг с другом и вели беспрестанные, жестокие войны, и за

* Древоверт и Древогиб (нем.).

** Камнетер и Скалолом (нем.).

эту вражду все до единого погибли в потоке [...], т. е. в переводе на простой язык — громоносные тучи тотчас же исчезают с неба, как скоро изливаются на землю в обильных потоках дождя. Дубыня и Горыня называются иногда *Вернидуб*, *Вернигора* или *Вертодуб*, *Вертогор*. В повестях и преданиях славянского племени [...] есть рассказ о жене охотника, которая родила в лесу двух близнецов и тут же померла; одного мальчика вскормила львица, а другого волчиха, и выросли из них силачи *Вырвидуб* и *Валигора*, победители страшного Змея. Валигора бросил на Змея целую гору и прищемил ему хвост, а Вырвидуб разможил ему голову коренастым дубом. То же значение разбивателя туч надо приписать и богатырю *Медведко*. Все это различные названия Перуна, определяющие те или другие его свойства и признаки. Медведко переставляет с места на место высокие горы и сразу выпивает целое озеро; как близнецы Вырвидуб и Валигора вскормлены львицею и волчихою, так и он рождается от Медведя. Медведь, исстари известный своею любовью к меду, наряду со многими другими животными попал в путаницу мифических представлений, и как мед был метафорическим названием дождя, так медведь сделался символом божества, разбивающего тучи и высасывающего из них дождь [...]. У древних германцев медведь почитался за царя животных; у нас в XVI и XVII столетиях, вместе с другими суеверными обрядами, духовенство запрещало также водить медведя. В одной из русских сказок [...] выведен царь-медведь — железная шерсть; царевич с царевною, спасаясь от него бегством, думают улететь на крыльях сокола и ворона, но попытка оказывается неудачною: медведь *опалает* птицам крылья, и они опускаются на землю.

Все названные богатыри-великаны борются с длинно-бородым карликом. Мужичок-с-ноготок, борода-с-локоток, или: сам-с-перст, борода на семь верст, у других славян называется: *Redonjčlovek-laketbrada* (у хорутан), *Надячовекъ-лакѣтъбрада* (у болгар); у литовцев известны «парстукки»: парстук — человек не более ступни, но с бороною в сажень; у немцев — *Daumesdick*, *Daumerling* — т. е. карлик величиною с большой палец. Это мифическое существо принадлежит к древнейшим и всеобщим верованиям арийских народов. У индийцев оно почиталось одаренным высшею мудростью. В *Тысяче и одной ночи* человек в полтора фута вышины, с боро-

дою в тридцать футов, является с железною палкою, удар которой неотразим и смертелен. Мужичок-с-ноготок — то же, что мальчик-с-пальчик, т. е. олицетворенная молния, а его длинная борода — туча. Белорусское предание говорит, что Перуну подвластны гарцуки — горные духи, которые живут в скалах (тучах) и подобны маленьким детям; когда они, играя, устремляются впускать, то от их быстрого бега подымается вихрь и начинает крутить песок, а когда несутся по воздуху, то полет их производит ветры и непогоду [...]. Эдда рассказывает, что Тор, поджигая своим молотом погребальный костер Бальдура, спихнул в огонь карлика, который вертелся у него под ногами [...]. В хорутанской сказке [...] Раїсек состязается с чертом — vrag: слово, справедливо сближаемое Гриммом с старонемецким warg — волк, готтский — vargs, исландский — vargr, санскрит — vṛka; волк, как мы знаем — зооморфический образ тучи; оттого-то, по свидетельству народной сказки, мальчик-с-пальчик, попадая в утробу волка, так неугомнен и так много причиняет ему бед. Мгновенно блещущая и быстро исчезающая молния, относительно горных туч, обнимающих все беспредельное небо, казалось малюткою в недрах великана и была уподоблена пальцу на его руке. Потому «громовые стрелки» (сосульки, образующиеся в песках от удара молнии и сварки песку, и беломниты) у немцев называются Donnerkeil, Donneraxte, Donnerhämmer и Teufelsfinger* [...], последнее название (*чертовы пальцы*) известно и между нашим простонародьем. В одной русской сказке [...] Змей наделен *огненным пальцем*, силою которого он приживляет отрубленные свои головы к туловищу; в других сказках Иванко-Медведко (или батрак Балда) убивает *щелчком* быка и медведя. По любопытному сказанию Эдды Громовержец Тор провел однажды целую ночь в *мизинце* перчатки гиганта, и потом, выйдя из этой темной спальни, ударил его в голову своим страшным молотом; но великан даже не тронулся: «Кажись, древесный лист упал мне на волосы!» — сказал он. Подобно тому в русской былине Илья-Муромец (смешиваемый в народных преданиях с Ильею-Пророком, на которого перенесены все атрибуты Перуна) очутился в кармане великана *Святогора* (гора-туча);

* Громовой клин, Громовой топор, Громовой молоток и Чертов палец (*нем.*).

Святогор был так громаден, что головой своей упирался в облака. Представление это не чуждо и финской поэме Калевале: могучий Вейнемейнен был проглочен великаном Винуненом, и, неожиданно очутившись в его желудке, словно в мрачной и просторной тюрьме, он развел там огонь, из рукавов своей одежды сделал мехи и начал ковать своей булавою: стучит, гремит, пламя раздувает; дым валит столбом вверх; искры так и сыплются во все стороны. Не стало великану покоя ни днем ни ночью, и чтобы заставить хитрого кузнеца выйти вон, он должен был передать ему всю свою мудрость.

Мальчик-с-пальчик является иногда под именем *слуги-невидимки* (в сказке «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что», [...]): название, приданное ему потому, что он постоянно прячется за облачными покровами. Он исполняет всевозможные желания своего господина (сказочного героя, которому обязан служить) и напоминает собою слуг *волшебной палицы*.

В древнейших преданиях молния обыкновенно уподоблялась воинскому орудию, и бог-громовник представлялся сражающимся и побеждающим несчетные рати демонов. Оружие это — *палица (палка, дубинка)*; сравни с созвучными словами: *за-палить* в кого мячом (ударить), подобно тому, как глаголы *ожечь, жигануть* также употребляются для обозначения удара и укола; *паля* — удар по руке линейкою. Прибавим, что *живой огонь*, истарин пользовавшийся особенным религиозным уважением, как символ небесного огня, добывался *трением из дерева* и что подобным же образом Индра буравил дерево-тучу и вызывал из нее молнию. Отсюда объясняется, почему сказочные герои, в лице которых фантазия олицетворяла бога-громовержца, метателя огненных стрел, рождаются из обрубка дерева (полена). Софийская летопись сохранила следующий любопытный рассказ о Перуновой палице: «И прииде к Новгороду архиепискуп Яким, и требища разори, а Перуна посече и повеле воврещи в Волхов. И повязавшие ужи, влечухут и по калу, биющие жезлием и пихающе... и вринуша его в Волхов. Он же, плотя сквозь великий мост, верже палицею свою и рече: на сем мя поминают новгородские дети, ею же и ныне безумнии убивающесея, утеху творят бесом». [...] Место диковинной палицы заступают иногда в народных сказках: а) *топор-самобур* и *дубинка-самобой*; оба эти орудия — и топор, и дубинка, по приказу своего обладателя, сами

собой бросаются на враждебные полки, побивают несчетные силы и возвращаются назад в его руки, подобно Торову молоту; б) *меч-самосек* или *кладенец*, добываемый богатырем из-под высокой горы (тучи), где лежит он скрытно от людских взоров, как некий драгоценный клад; в) *клюка* и *помело* (от *места*, *метель* — вихрь; ведьмы летают на помеле, т. е. в бурном вихре): где махнет помело, там в неприятельской рати улица; что ни захватит клюка, то и в плен волочет. При дальнейшей работе фантазии эти простые, первоначальные представления расширяются, и под влиянием той или другой обстановки обыденной жизни человека выражаются в формах более искусственных и сложных. Чудесная дубинка уже не прямо сама собой поражает врагов, а получает волшебное свойство вызывать против них такую же или еще большую силу своих ратников. Стоит только махнуть или ударить ею, как тотчас — словно из земли — вырастает несчетное воинство. Точно и стук молота представляет несчетные полки солдат. В одной русской сказке [...] выведены мифические кузнецы, которые напоминают собою циклопов, занимавшихся ковкою громовых стрел для Зевса. Кузнецы эти калят железо и бьют его молотами: что ни удар — то и солдат готов — с ружьем, с саблею, хоть сейчас в битву! Здесь кроется объяснение того, до сих пор бывшего загадочным, греческого предания, что Язон вспахал поле медными быками, сделанными Вулканом, извергавшими из ноздрей и ртов пламя, и посеял драконовы зубы, из которых выросли железные люди — в шлемах, с копьями и мечами; с яростью устремились они на битву и, поражая друг друга, все до единого погибли. Если напомним, что громоносные тучи, по древнейшим представлениям арийцев, уподоблялись быкам, а молнии — острым зубам дракона, то смысл означенного предания будет совершенно ясен. По нашим сказкам *змеиный зуб* (в заговорах он называется *золотым*), вонзаясь в голову человека или зверя, причиняет ему смерть; а если попадет в дерево, то оно немедленно засыхает. Другой греческий миф представляет воинственную Минерву, рождающуюся из головы Зевса (т. е. из громовой тучи) во всем бранном вооружении. Топор-саморуб строит города и корабли: тят да ляп — и готов корабль! ударь лёзом по земле — станет дворец или город; ударь обухом — и нет ничего! И *город* (*крепость*), и *корабль* означают здесь тучу, облако (см. ниже о лету-

чем корабле). Венгерские сказки [...] говорят о молоте, который сам собою разбивает стены и башни замков, и об золотой ветке, которая имела то дивное свойство: если ударить ею по скале (туче), то скала вмиг раскрывается и изливает воду. Эта золотая ветка то же самое, что Springwurzel, Wünschelruthe* и наша разрыв-трава, прикосновение которой уничтожает все запоры.

Слуга-невидимка не только доставляет своему господину топор-саморуб и строит для него дворец, но еще носит его по воздуху с быстротою ветра, точно на ковре-самолете, кормит его вкусными яствами и поит славными винами, подобно скатерти-самобранке. И ковер-самолет, и скатерть-самобранка (у немцев: Tischchen deck dich**) — метафорические названия тучи; первое указывает на ее быстрый полет, а последнее на приносимый ею дождь (нектар) — неперемное условие урожая.

Теперь о длинной бороде Карлика. Темные тучи, покрывающие небо, на древнем метафорическом языке уподоблялись кудрявым, всклокоченным волосам, а самый небесный свод черепу головы. Индийский миф утверждает, что небо создано из черепа Браммы, а по скандинавскому преданию, оно произошло из черепа великана Имера. Безоблачное, ясное небо до сих пор удерживает у сибирских шаманов знаменитый эпитет *лысого*. При жертвоприношениях они обращаются к небу с такою мольбою: «Отец лысое Небо! Младший сын плешивого Неба! сделайте, чтоб N(имярек) был богат скотом, счастлив в промыслах и имел бы большую семью». [...] Вспомним обиходные выражения: «плешь просвечивает, лысина светит» и народную загадку о месяце: «Лысый жеребец через прясла глядит», т. е. месяц, не затемненный облаками, светит на двор. Как обломок древних мифических верований, в нашем народе уцелели названия: *лысый бес* и *лысая гора*, на которую, как известно, слетаются ведьмы творить свои чары. У южных славян человек с сросшимися бровями называется *волчьим глазом* (волк — туча; [...]); в нашем языке нахмуренные очи сближаются с небесными светилами, помраченными наплывом туч; сравни *хмуриться*, *хмура* и *хмара* — туча. Зевсу стоит только кивнуть своими черными бровями, как весь Олимп (т. е. небо — то же значение соединялось

* Разрыв-корень (нем.).

** Столик-накройся (нем.).

с нашею лысою горою [...] потрясается; когда Доннар гневается, он, по немецким сказаниям, потрясает своею красною бородою и чрез то производит в облаках гром [...]. Тот же мифический смысл, какой придан бороде и бровям, распространен и на усы; рядом с длиннородым карликом народная фантазия создала особых богатырей *Усыню* и *Вия* (*виц* — ресницы) и наделила первого такими огромными усами, что он легко может запрудить ими реку; по его длинному усу переправляются витязи на другой берег, как по мосту. Богатырь этот нередко сливается с длиннородым мужичком в одно лицо: сам-с-перст, усы на семь верст, или *Усыня* — сам-с-ноготок, борода с локоток, усы по земле тащатся, крылья на версту лежат; крылья постоянно соединяются со всеми представлениями туч, для обозначения их быстрого полета. Вию предание дает такие страшные брови и ресницы, что они опускаются до самой земли; приподнять их можно только соединенными усилиями нескольких силачей и то с помощью железных вил; но как скоро брови и ресницы подняты, Вий сожигает своим взглядом (т. е. молнией) все, на что ни посмотрит [...].

В Калевале есть рассказ, что на свадьбу божественного ковача Ильмаринена достали столь огромного *быка*, что ласточке нужно было употребить на пролет между его рогами целый день. Никто не брался заколоть это чудное животное, в образе которого финская поэма, согласно с общими индоевропейскими преданиями, олицетворила дожденосное облако; но явился из моря крошечный человек, ростом с большой палец, с бородой до колена, волосами по пятки, с каменной шапкой на голове, и зарезал быка *золотым ножом*, наполнив мясом его сто ушатов, жиром шесть бочек и кровью семь лодок. По немецким и славянским преданиям, карлики поражают драконов, знают, где хранится живая вода, обитают в горах (тучах), обладают богатыми сокровищами и являются то искусными кузнецами, то рудокопами, добывающими серебро и золото; таким образом, народные поверья роднят их с кузнецами-великанами, приготавливающими Зевсу молнии, и с драконом, покоившимся на золотом ложе и охранявшим драгоценные клады.

Больно достается богатырям (Дубыне с товарищами) от могучего карлика; но потом побежденный он сам бежит и уходит под *камень* (т. е. скрывается в тучи), и чтобы добраться до него, надо спуститься в мрачные пол-

земелья. В некоторых вариантах сказки, вместо этого бородатого карлика, выводится Баба-Яга: приподымая огромный камень, она приезжает из подземного царства на ступе и бьет богатырей своим неотразимым толкачом. Баба-Яга, в качестве мудрой и могучей ведьмы, свободно распоряжается естественными силами природы и сливается с ними; ее быстрые полеты, обладание конями-вихрями и заметание следа помелом указывают на бурю и метели, толкач и ступа — на тот мифический жернов, на котором разъезжал Перун. Заметим, что в отдаленную эпоху жизни первобытных племен зерна толклись, а не мололись; ручной жернов заменил ступу и толкач и свою очередь должен был уступить мельнице. Одинаковое впечатление, производимое грохотом грома, стуком кузнечных молотов, мельничных жерновов и молотильных цепов сблизило между собою эти разные понятия и породило целый ряд баснословных сказаний; сравни слова: *молот* (miölnig), *молния*, *молоть* и *молотить* [...]. Толкач или клюка Бабы-Яги точно так же побивают недругов, как и Перунова палица. Между нашими поселянами существует предание о чертовой мельнице; малороссийские народные рассказы представляют чертей в виде мирошников [...]; наконец в некоторых сказках чудесные жерновки (или мельница) играют такую же роль, как скатерть-самобранка [...].

Сделанные нами выводы о значении мифических лиц, действующих в борьбе с длиннородым карликом или Бабой-Ягой, подтверждаются литовскою сказкою, которая развивает подобное же содержание, но вместо Дубыни, Горыни и Бабы-Яги выводит *Перуна*, *дьявола* (обыкновенная замена дракона или змея), *Лауму*. Когда-то вздумал странствовать по свету молодой плотник; на дороге присоединились к нему Перун и дьявол; и пошли все вместе. Перун и дьявол добывали припасы, а мужик варил и жарил; жили они, словно кочующие дикари, пока не вздумалось плотнику построить избу. При помощи своих товарищей, которые притащили все нужные материалы, он построил красивую избушку; потом сделал соху, запряг в нее Перуна и дьявола и вспахал поле; смастерил борону и на тех же товарищах взборонил пашню и посеял репу. И повадился к ним ходить по ночам вор и таскать репу. Надо было караул держать. На первую ночь досталось стеречь дьяволу. Вот приезжает на тележке вор и начал таскать репу;

дьявол бросился было ловить, но вор так избил его, что еле живого оставил, а сам ускакал. Воротившись домой, дьявол скрыл от товарищей свою неудачу. На другую ночь пошел караулить Перун — и с ним то же случилось; умолчал и он о своем сраме. На третью ночь отправился караул держать плотник и захватил с собой скрипку; сел под дерево и стал наигрывать. Вот слышит он — едет кто-то по полю, кнутом похлопывает, а сам приговаривает: «Пич-пач! живей, железная тележка, проволочный кнут!» Мужик продолжал пилить на скрипке, думая тем напугать вора; но вору понравилась музыка. Он остановился, начал прислушиваться: это была дикая, злая Лаума, которая жила в том самом лесу, где поселились Перун, дьявол и плотник. Она была так сильна, что никто не мог с нею сладить. Пленясь музыкою, Лаума подошла к мужику и просила, чтобы он дал ей поиграть на скрипке. Мужик подал скрипку, но сколько она ни прилагала усилий, музыка ей не давалась. Тогда стала она просить плотника, чтобы научил ее играть на скрипке. Мужик заметил, что для этого нужны пальцы такие же тонкие, как у него, и потому надо ее пальцы немного сжать. Лаума согласилась. Мужик сделал трещину в толстом пне, забил туда клин и велел Лауме всунуть в эту трещину свои пальцы; как скоро она это сделала, он вытащил клин и защебил ей пальцы; потом взял проволочный кнут и больно отстегал ее. Вырвавшись наконец из западни, Лаума бросилась бежать, покинув и свою тележку, и свой кнут. Наутро плотник вдоволь насмеялся над своими товарищами, что они не сумели устеречь репы и позволили прибить себя старой бабе. Тогда-то не шутя стали побаиваться его и Перун и дьявол, думая, что он великий силач. Наконец вздумали они разойтись и порешили оставить избу за тем, кто ничего не испугается. Двое должны были оставаться в избушке, а третий пугал. Первая очередь пугать досталась черту. Он поднял такой вихрь и шум, что Перун от страха убежал в окно; но плотник спокойно сидел и читал молитвы. Вторая очередь была за Перуном; он так сильно разразился громом и молнией, что дьявол в ужасе бросился из окна. Он уже давно не доверял Перуну и боялся, чтобы тот не поразил его громовой стрелою; дьяволу хорошо было известно, что Перун побивает всех чертей, сколько ни рыщет их по белу свету. (Это место литовской сказки прямо указывает,

что под дьяволом скрывается здесь древний великан-гуча). Плотник безбоязненно продолжал читать свой молитвенник. Когда очередь пугать дошла до него, он сел на тележку, покинутую Лаумой, взял в руки ее кнут, поехал к избушке и запел, подражая Лауме: «Пич-пач! живей, железная тележка, проволочный кнут!» Перун и дьявол так струсили, что совсем убежали, оставив плотника хозяином избы [...]. Лаума соответствует нашей Бабе-Яге; она такая же старая и злая баба, проживающая в лесу; ее страшный кнут и сама собой едущая тележка — то же, что толкач и ступа Бабы-Яги. Близкая связь Лаумы с явлением грозы очевидна из названия громовой стрелки — *сосцем Лаумы* (*Láumes paras*).

Богатыри-великаны, представители весенних гроз, являются и в сказке о Летучем корабле [...]. Содержание исполнено многих любопытных указаний, раскрывающих перед нами старинные поэтические воззрения на природу. Герой сказки отправляется добывать несказанную красавицу; странствование в ее далекое царство он совершает на летучем корабле, а чтобы получить невесту — должен, следуя обычному приему, совершать разные трудные задачи, в исполнении которых ему помогают могучие товарищи. Летучий корабль, подобно птице, может носиться по воздушным пространствам с изумительной скоростью; по свидетельству одной сказки, он находится во власти мифического старика, наделенного чудовищными бровями и ресницами. Чтобы вызвать появление этого корабля, герой ударяет в дуб, дерево, посвященное Перуну, и это напоминает нам об одном из Семи Семионов: взял Семион топор, срубил громадный дуб — тят да ляп — и сделал корабль, который мог плавать и по воде и под водою. Вообще сказка о Семи Семионах, по содержанию своему, родственна со сказкой о Летучем корабле: это разные вариации одного и того же эпического предания. Другие народы также знают о летучем корабле. В норвежских сказках упоминается о кораблике, который так мал, что его можно в карман спрятать, но который тотчас же вырастает в большое судно, как скоро поставить на него ногу, и свободно несется через горы и доли по воздуху; упоминается еще о лодке с такой рукояткою, что если приподнять ее слегка — подует попутный ветер, а приподыми выше — и зашумит буря [...]. *Летучий корабль* — то же самое, что и ковер-самолет, т. е. метафора облака или тучи, носимой

по поднебесью буйными ветрами. Не случайно наш поэтический язык удержал за легкими, всегда подвижными облаками постоянный эпитет *ходячих*. Их стремительный полет, в период образования языка, породил много метафорических названий, основанных на весьма близких и понятных тогдашнему человеку уподоблениях. Быстро-несущееся облако представлялось и ковром-самолетом, и птицею, и окрыленным конем, и летающим кораблем. Представление облака и тучи кораблем возникло одновременно с представлением неба — морем, и тем легче было возникнуть этой метафоре, что, на основании живого впечатления [...], оба эти понятия одинаково уподоблялись птице. До сих пор народные песни сравнивают лодки с чайками, а корабли с лебедями; корабль Соловья Будимировича назывался соколом; то же название присвоено былиной и кораблю новгородского гостя Садка.

Один из списков рассматриваемой теперь сказки заменяет летучий корабль *крылатым конем*: замена, несколько не противоречащая смыслу предания; это только другой образ, а заключенное в нем понятие остается то же самое. Крылатый конь — символ порывистого ветра, бури и громоносной тучи; с другими же дополнительными эпитетами — огненный, золотой — символ солнца. В старинном византийском романе, встречающемся в наших рукописях под названием «Девгениева жития», упоминаются три волшебные коня, *рекомые*: *Ветреница*, *Гром* и *Молния*. [...] Богатырские кони наших былин и сказок с такою легкостью и быстротою скачут с горы на гору, через моря, озера и реки, отличаются такой величиной, силой и предвидением, что нимало не скрывают своего мифического происхождения и сродства с обоже-ствленными явлениями природы. Русские и сербские сказки нередко говорят о крылатых конях; таков был бурый конь Дюка Степановича. По выражению болгарской пословицы, ветер носится на белой кобыле; а в хорутанской приповедке [...] молодец, отыскивая свою невесту и не дознавшись о ней ни у Солнца, ни у Месяца, приходит на луг, где паслась бурая кобыла — «*to je bila buga ili veter*» (сравни слова: *бурый* и *бурный*), и прячется под мост; когда прибежала кобыла пить воду, молодец выскочил, сел на нее верхом, и она быстрее птицы примчала его в великанские города. В венгерской сказке [...] молодец, ищущий свою невесту, обращается к

Ветру, и тот дает ему коня-вихря (Windpferd), бегущего со скоростью мысли; в норвежских же и немецких сказках Ветер сам переносит юношу в ту далекую страну, куда скрылась его красавица. Очутившись в царстве вил, герой хорутанской приповедки три ночи должен был прятаться от враждебных покушений: первую ночь он проводит в хвосте бурой кобылицы, другую — в ее гриве, а третью — в ее подкове. Соответственно тому в наших сказках мальчик-с-пальчик (молния) прячется в лошадином ухе; а добрый молодец, победитель Змеев (т. е. Перун, громитель туч), влезает в голову сивки-бурки: в одно ухо войдет, в другое выйдет — и делается необоримым силачом и красавцем. В переводе на общепринятый язык, смысл этих метафорических выражений таков: молния скрывается в голове гигантского коня-тучи и, выходя оттуда, является глазам смертного во всем торжестве своей блестящей красоты и всесокрушающей силы. В уподоблении бурной дождевой тучи коню кроется объяснение многих эпических подробностей, по свидетельству которых: а) чудовищные Змеи разъезжают на конях; б) сказочные герои находят богатырских жеребцов и кобылиц внутри гор (в тучах), а с) самые богатырские кони пьют медовую сыту (мед-дождь, [...]), носят при себе в пузырьках живую и целящую воду [...] и ударом своих копыт выбивают подземные ключи [...]. Недалеко от Мурома — там, где бьет родник, явившийся по преданию из-под копыт богатырского коня Ильи-Муромца, поставлена часовня во имя Ильи-Пророка, на которого народное суеверие перенесло древние атрибуты Перуна. Происхождение святых колодцев, пользующихся особенным религиозным уважением на всем пространстве земель, заселенных славянами и немцами, приписывается громовым ударам. Все это невольно приводит на память крылатого коня Пегаса, который носил Зевсовы горы и молнии и, ударяя своими легкими ногами, творил новые источники живой воды. Народные сказки нередко говорят о *морских* кобылицах, выходящих из глубины вод; купаясь в молоке этих баснословных кобылиц, добрый молодец становится юным, могучим и красивым, а враг его, делая то же самое, погибает смертью. Как вместилища дождевых потоков, тучи нередко уподоблялись морю; отсюда легко объясняется, почему мифическим кобылицам придан эпитет «морских или водяных»; молоко их есть живая вода — дождь.

С весенними дождями оканчивается владычество Зимы, и возрожденная природа является в своем роскошном убранстве, что и выражено баснею о купании в кобыльем молоке. Вместе с героем сказки отправляются на летучем корабле разные спутники, принадлежащие к породе великанов: а) *Объедало*, который разом пожирает двенадцать быков, хлеб кидает в рот полными возами и все кричит: мало! б) *Опивало*, которому целое озеро — на один глоток становится; опорожнить сорок огромных бочек вина для него ничтожное дело! в) *Скороход* — на одной ноге идет, а другая к уху подвязана; если он захочет воспользоваться обеими ногами, то за один шаг весь свет перешагнет. г) *Стрелок*, который на тысячу верст так метко попадает в цель, что ему нипочем попасть в глаз мухи. д) *Чуткой* — слух его такой тонкий, что он слышит, как трава растет; прилегая ухом к земле, он узнает, что на том свете делается. е) *Мороз-Трескун* или *Студенец* — он входит в чугунную, до красна накаленную баню, в одном углу *дунул*, в другом *плюнул* — глядь — уж везде иней да сосульки висят! ж) Наконец старик с вязанкою дров, которые стоит только разбросать, как вмиг явится бесчисленное войско. Царь, отец красавицы, требует от доброго молодца, чтобы он заявил свою богатырскую мощь. И вот по приказу царскому выставлены для него горы печеных хлебов, двенадцать жареных быков и сорок бочек вина: надо все съесть и выпить. В этом деле помогают ему *Объедало* да *Опивало*. Потом приказывает царь молодцу, чтобы он в короткое время, пока будет обед продолжаться, добыл и принес живой воды. Вместо молодца бежит за водою *Скороход*, но на обратном пути засыпает крепким сном. *Чуткой* услышал его храп и сказал *Стрелку*; *Стрелок* разбудил соню своим выстрелом, и живая вода была доставлена вовремя. *Мороз-Трескун* спасает молодца от раскаленной чугунной бани; а старик с вязанкою дров выставляет столько войска, что царь покоряется и уступает жениху свою прекрасную дочь. Вариант, сообщенный г. Худяковым [...], отличается некоторыми особенностями; в нем выведены еще два богатыря: *Дубыня* и другой, с такою силою дующий из своих ноздрей, что за тысячу верст вертит крылья мельницы, гонит корабли; опрокидывает и уносит на воздух царские войска. Является в некое царство добрый молодец *Ивашко* и слышит — всему народу объявлено, что царевна вый-

дет замуж за того, кто ее перегонит и прежде ее принесет из колодца воды; а кто возьмется за такой подвиг, да не перегонит, с того голова долой. Сама же царевна куда шибко бегала! Ивашко выставил за себя скорохода; понесся скороход быстрее стрелы, добежал до колодца, почерпнул в кружку — и назад; на половине дороги поставил кружку наземь и утомленный лег спать, а царевна еще далеко до колодца не добежала; увидела спящего соперника, взяла его полную кружку, а свою пустую оставила на месте и повернула домой. Пробужденный стрелою, Скороход успел сбегать к колодцу и воротиться с водой раньше царевны. Не захотелось царю выдавать дочери за Ивашко,— вздумал откупаться деньгами. Ивашко потребовал столько золота, сколько один человек поднять может, и велел собирать со всего царства холсты и шить огромный мешок. Сшили мешок, наполнили золотом; думают — никто не подымет; а Дубыня взял его и спокойно понес. Жалко стало царю золота, послал за богатырями в погоню большое войско. Ивашко с товарищами уже плыли в ладьях по морю; видя то, и царское войско посажалось на корабли и пустилось за ними. Тогда тот из богатырей, что был мастер дуть, поднял сильные ветры: из одной ноздри направил он вихрь против царских кораблей, а из другой подул на свои собственные паруса; корабли назад отбросило, а ладьи живо к другому берегу прибило. Точно такая же сказка есть у сербов — «Джевојка бржа од коњ а»*. [...]

Чудная дева объявила по всему свету: кто, сидя на коне, перегонит ее, за того она пойдет замуж; но такой подвиг был весьма труден, потому что на бегу она выпускала «некака мала крила испод пазуха» и с помощью своих крыльев неслась быстрее всякого коня. Не менее любопытна итальянская редакция сказки [...]: Масционе отправляется закупать товары, на пути встречается разных богатырей и берет их с собою. «Я,— говорит о себе один из богатырей,— называюсь *Молния из Стрелогграда* и могу бегать так же быстро, как ветер». — «Меня,— говорит другой,— называют *Зячье Ухо из города Любопытных*: если я прилягу ухом к земле, то узнаю все, что делается на белом свете». — «Мое имя,— замечает третий,— *Хорошостреляй* из местечка *Прямо в цель*». —

* Девушка быстрее коня (сербск.).

«А меня,— прибавляет четвертый,— зовут *Дуй-богатырь* (Blasius) из *Ветрограда*; своим ртом я могу производить всякие ветры: захочу — и повеет тихий зефир, вздуваю — и зашумит свирепой бурей!» — и в подтверждение своих слов он начал дуть так сильно, что поднялась буря и низвергла целые ряды вековых дубов. «Мое имя,— говорит наконец пятый,— *Крепкая Спина*, родом из *Твердой Скалы*; я могу поднять на плечи громадную гору, и она покажется мне не тяжелее пера». Спутники прибыли в некое государство, где царствовал король, а у него была дочь, которая бегала с быстротой и легкостью ветра: когда она неслась по нивам — под ее стопами даже негнулись колосья! Король обещал выдать свою дочь за того, кто превзойдет ее в беге. Богатырь-Молния опередил ее; но король назначил перебежку, а королева подарила своему сопернику перстень с волшебным камнем: тот, кто надевал этот перстень на палец, ни за что не мог тронуться с места. Заячье Ухо прислушался и узнал про коварный умысел; стрелок пустил с тугого лука стрелу и сбил с кольца волшебный камень; королева была побеждена, король предложил за дочь выкуп, и Крепкая Спина забрал у него все серебро и золото.

Все эти сказочные богатыри суть олицетворения могучих сил природы. Опивало есть особенное имя богатыря-громовника, рушителя и разверзателя дождевых туч; поглотив в себя целое море, он низвергает потом из своей пасти воду, и шумными потоками затопляет все окрестные поля и луга. В одной норвежской сказке [...] ему придано название Meersauger (*высасыватель моря*), ибо в три добрых глотка он осушает пространное и глубокое море. Это тот же сказочный Змей (Smok — *сосун*), который до какой реки ни припадет — ту и выпьет, словно лужицу, и который начинает напоследок тянуть самое море и до того опивается, что с треском лопается [...]: прекрасное поэтическое изображение переполнившейся дождем тучи, которая изливается на землю при оглушительных ударах грома и затем пропадает в небо. Сказки приписывают Опивалу неумеренное поглощение вина, и это имеет свое мифическое значение, потому что в числе других метафорических уподоблений дождя одно из наиболее употребительных было употребление его опьяняющим напитком; сравни выражения *пить* и *пьянство*, *вода* и *водка*, *живая вода* l'eau de vie (смотри подроб-

ные и остроумные розыскания по этому предмету в сочинении Куна — о происхождении огня и божественного напитка). В нашем простонародье существует следующий рассказ о кривой царевне: никто не мог возвратить ей утраченное зрение. Вызвался помочь ей *пьяница*. Для этого поехал он в змеиное царство, где жили одни змеи да гады; а кругом города лежала большая змея, обвинившись кольцом. Пьяница воспользовался сном исполинской змеи, сделал веревочную лестницу с железными крюками на конце, накинул ее на городскую стену и забрался в город. Посреди города был *камень* (туча), а под камнем целебная мазь (дождь): если помазать ею глаза, то слепота тотчас пройдет. Взял он эту мазь, спрятал под мышку, сел на корабль — и в море. Пробудилась большая змея, погналась за воров; плывет по морю, а под ней вода словно в котле кипит; махнула хвостом — и разбила корабль вдребезги. Но пьяница выплыл на берег и вылечил кривую царевну, то есть попросту: Перун, громитель туч, *выпил* или *похитил* из них дождь, и всевидящее око — солнце, потемненное перед тем облаками (так сказать — ослепленное ими), является со всем своим блеском на проясневшем небосклоне [...]. Лицо Обьедалы создано народною фантазией в соответствии Опивале; как тот много пьет, так этот много пожирает. Идея, выражаемая ими, та же самая: он пожирает быков, в образе которых (как мы знаем) доисторическая старина олицетворяла тучи. Мороз-Трескун уже самым названием указывает на свое значение; его *дуновение* производит холод, а иней и сосульки названы его *слюнями*. В варианте, напечатанном у г. Худякова [...], богатырь этот является с подвязанными волосами и, только распуская свои волосы, производит сильную стужу: *волоса* — метафора темных туч. Очевидно, что народные сказки разумеют под Морозом не отвлеченное, умственное понятие, а живой образ, олицетворивший в человеческих формах осеннюю или зимнюю тучу, веющую холодом и убирающую все в иней и сосульки. Богатырь, дующий ртом и ноздрями и напоминающий своим бурным дуновением свист Соловья-разбойника и средневековые изображения ветров, есть олицетворение вихря Крепкая Спина, богатырь итальянской сказки, соответствует нашему Горыне. Все остальные богатыри олицетворяют молнии; объяснение различных названий, приданных им, надо искать в старинных

метафорических сближениях блестящей мелькающей молнии с другими предметами. Скороход выражает ее неуловимую быстроту; в итальянской редакции он прямо назван молнией. Стрелок и старик с вязанкою дров указывает на связь молнии со стрелами, палицей и вообще оружием; сокрушительная сила грозы послужила основанием, опираясь на которое фантазия наделила божество грома луком, меткими стрелами и несокрушимую палицею. Пуская стрелы и бросая палицу, Перун истребляет своих демонических врагов. Это метание палицы (палки, дубинки) выражено в сказках разбрасыванием вязанки дров, вслед за которым появляются нечестные войска, поражающие неприятеля.

Сверх разнообразных зооморфических представлений силам природы издревле придавались и человеческие образы; облака и тучи олицетворялись прекрасными полногрудыми девами и женами; соответственно представление туч деревьями (лесами), морем — вместилищем дождя и коровами; девы и жены эти назывались лесными и морскими (водяными) нимфами, поливающими из своих сосудов (плодотворные источники), и ведьмами, доящими небесных коров. В грозе и буре видели свадебное торжество бога-громовника, вступающего в брачный союз с прекрасною нимфою, или стремительное преследование им красавицы, убегающей его объятий. Крутящиеся вихри до сих пор называются дьявольскою пляскою: черт женится на ведьме, и нечистая сила, празднуя их брак, вертится в пляске и подымает пыль столбом. В нашем простонародье ходит много рассказов о том, как ведьмы сдружаются с чертями и вместе с ними заводят ночные нецеломудренные гульбища; у немцев сохранились превосходные поэтические предания о дикой охоте Одина (Wodans wilde Jagd), преследующего нимфу (Wolkenfrau, Windsbraut). Обращаясь к приведенным сказкам, мы видим, что добрый молодец, с помощью своих могучих товарищей, или прямее — сам Перун обгоняет *легкокрылую* красавицу невесту и добывает *живую воду* и множество *золота* (то есть проливает дождь и выводит из-за туч яркое весеннее солнце). Иногда вместо девы-тучи сказки выводят невестами деву-Солнце; в этом отношении особенно любопытны редакции немецкая и чешская.

Содержание немецкой сказки [...] таково: царевич отправляется сватать прекрасную королеву, мать кото-

рой была волшебницей. На дороге ему попадаются великаны: а) *Толстяк* (der Dicke) — несмотря на то, что его брюхо равнялось горе, он мог расширяться по произволу и сделаться еще толще, хоть в три тысячи раз; б) *Длинный* (der Lange), который мог вытягиваться вверх по своему желанию, и когда хотел — превосходил ростом самые высокие горы; в) *Чуткой на ухо* (der Horcher) и г) двое с необычайно острым зрением (die Scharfäugigen): один из них обладал такую длинную шею, что мог глядеть через горы, и такими зоркими очами, что мог видеть весь свет; а другой вынужден был носить на глазах повязку, потому что взгляды его были так остры, что от них распадалось все вдребезги. Первая задача, которую возложила на жениха королева-волшебница, была: достать брошенное в море кольцо. Толстяк припал к морю устами и потянул в себя воду; волны покатались в его брюхо, словно в пропасть, и в короткое время он вытянул все море; на открытом дне товарищ с зоркими очами усмотрел кольцо, а Длинный достал и принес то кольцо царевичу. Вторая задача состояла в повелении съесть триста жирных, откормленных быков с костями, кожей и рогами, так чтобы не оставался несъеденным ни единый волос, и осушить до капли триста бочек вина. Царевич испросил позволения разделить этот обед с одним из своих товарищей, который все пожрал и выпил. Задавая царевичу третью задачу, волшебница сказала: «Сегодня вечером я приведу в твою комнату мою дочь; ты должен держать ее в своих объятиях; но берегись, чтобы не заснуть! Ровно в двенадцать часов явлюсь я, и если ее не будет в твоих руках — ты погиб!» Вечером царевич взял королевну в свои объятия; вокруг их обвился Длинный, а Толстяк заставил собою дверь так плотно, что ни одна живая душа не могла пролезть в комнату. Время шло, а красавица не промолвила ни слова. В одиннадцать часов королева нагнала на царевича и его помощников крепкий сон, и в это мгновение невеста была похищена. Когда уже было без четверти двенадцать, очарование потеряло силу, царевич проснулся и воскликнул: «Увы, теперь я погиб!» — «Тише! — возразил Чуткой, — дайте-ка я прислушаюсь». Он прислушался и сказал: «Королевна сидит в скале, на триста часов расстояния отсюда и клянет свою судьбу. Но Длинный может поправить дело: пара шагов — и он будет там». — «Да, — отвечал Длинный, —

только пусть со мной отправится товарищ с завязанными глазами, чтобы разрушить скалу». Быстро очутились они перед заколдованною скалою, и когда Острозоркий снял повязку с своих очей и взглянул, то скала в тот же миг разлетелась на тысячи кусков. Длинный взял королеву на руки и принес к жениху. Задачи были выполнены, царевич поехал венчаться с своею красавицей; но королева двинула за ними войско и приказала силою отнять свою дочь. Тогда Толстяк выплюнул часть морской воды, выпитой им прежде, и тотчас стало большое озеро и потопило погоню. Королева отправила новое войско, но и это погибло от сокрушительных очей Острозоркого. Подобная же сказка у чехов известна под заглавием «Dlouhý, široký a Bystrozraký» [...]. Царевич едет добывать красавицу невесту, заключенную злым чародеем в железном замке. Ему помогают: а) Длинный, который может вытянуться так высоко, что головой своею достанет облака; при таком росте ему ничего не значат пространства; сделает шаг или два — и очутится неведомо где! б) Широкий (Толстяк), брюхо которого может быстро расти во все стороны и сравняться с любой горю, и в) Быстрозоркий, от взоров которого воспламеняется огнем все, что только может гореть, а крепчайшие скалы трескаются и рассыпаются в песок, подобно тому, как распадаются столбы от взоров иотунов в одной из песен древней Эдды (изд. Симрока, стр. 47). Царевич и его помощники являются к старику-чародею, с седой бородой по колена; на нем длинная черная одежда и вместо пояса три железных обруча. «Если ты,— сказал чародей царевичу,— сумеешь уберечь красавицу три ночи — она будет твоя; в противном случае ты сам и твои товарищи будете превращены в камень — точно так же, как превращены все те, которые являлись прежде тебя». Наступила ночь, и царевич сел возле бледной и печальной красавицы; она не смеялась и не говорила ни слова,— точно была из мрамора. Царевич решился не спать целую ночь; для большей безопасности Длинный вытянулся подобно ремню и обвился вокруг всей комнаты по стенам; Широкий заложил собою двери, а Быстрозоркий стал за столбом на стражу. Но это несколько не помогло: все они заснули крепким сном, а пробудясь — не нашли красавицы. «За сто миль отсюда есть лес, среди леса старый дуб, на дубе желудь, и этот желудь — она!» — сказал богатырь с зоркими очами.

Благодаря своим товарищам царевич возвращает ее назад вовремя. На вторую ночь красная девица очутилась за двести миль: там была гора, на горе скала, в скале драгоценный камень, и этот камень — сама невеста, а на третью ночь — за триста миль: на дне черного моря лежала раковина, в раковине кольцо, и это кольцо — красная девица! Царевич находит ее и в скале, и на дне моря, и каждое утро, как только увидит чародей красавицу в комнате жениха, с его тела спадает по одному железному обручу и вместе с тем оживляются понемногу и окамененные им герои с их конями и слугами. Когда лопнул последний обруч — чародей превратился в ворона и улетел в разбитое окно; красавица зарумянилась, как роза, и стала благодарить царевича за свое избавление; в замке и в окрестностях все пришло в движение: окамененные ожили, деревья зазеленели, поля запестрели цветами, воздух огласился песнями жаворонков, и в реке появились стаи маленьких рыбок. Всюду жизнь, всюду радость!

Смысл предания, развиваемого в этих двух сказках, весьма знаменателен. Богатыри, действующие в них, — те же самые, с какими мы познакомились выше. Толстяк или Широкий соответствует нашему Опивале; он и Длинный в живых поэтических образах выражают то естественное явление, что надвигающаяся на небо туча быстро расширяется во все стороны и обнимает собою весь горизонт. Брюхо Толстяка, вмещающее в себе целое море, напоминает нам некоторые места гимнов Ригведы, где Индра представляется жадно поглощающим божественный нектар (сома-дождь) в свою неизмеримую утробу. Быстрозоркий то же, что Вий, т. е. Перун, мечущий из своих глаз молнии и разбивающий ими скалы-тучи. Как Опивало и Толстяк имеют своих двойников в Обьедале и Длинном, так и наряду с богатырем всевидящим народная фантазия создала еще другого всеслышащего (Чуткого); а немецкая сказка представление о богатыре с зорким зрением раздробила на два отдельных лица: одному приписала способность все видеть, а другому — пожигать очами. Красавица-Солнце попадет во власть старого чародея (Зимы) и повергнется в то же очарованное состояние, как и царевна спящего или окамененного царства: она бледна и молчалива, на устах ее не видать улыбки, на щеках румянца. Вместе с тем и вся природа: деревья, поля и воды ли-

шены жизни и движения. До сих пор небо, заволоченное тучами и туманами, называется *хмурым* («смотреть хмуро, смотреть сентябрем», т. е. невесело, сердито), и, согласно с этим, пасмурная зимняя природа представляется в народных сказках *Несмеяною-царевною*; напротив, когда на потемненном горизонте проглянет наконец солнышко, то слышатся выражения: «небо начинает *улыбаться* или *разгуливаться*». При восходе своем солнце окрашивает небо розовыми красками и, отражаясь в каплях утренней росы, — как бы претворяет их в блестящие бриллианты и жемчуг, что на языке метафорическом перешло в сказание о красавице Заре, которая когда улыбается, то сыплются розы, а когда плачет, то вместо слез падают самоцветные камни*. Очарованная дева Солнце сидит в *железном* замке, т. е. закрыта холодными зимними облаками и туманами; чародей, который держит ее в этом заключении, играет ту же роль, какую в других сказках исполняют лютый Змей и Кощей Бессмертный, а три *железных* обруча на его теле есть символ зимней стужи, замыкающей дождевые хляби в облаках и тучах. Мы до сих пор выражаемся о зиме, что она *сковывает* реки и оцепеняет природу, т. е. налагает на нее железные цепи; сравни Eis — лед (eisen — колоть лед) и Eisen — железо. С Михайлова дня (8 ноября) зима *кует* морозы [...]. Освобождение красавицы делается возможным только тогда, когда наступает весна и появляется добрый молодец Перун с своими всесильными спутниками** и когда под влиянием весенней теплоты лопаются железные обручи, наложенные на дождевые хранилища. В одной немецкой сказке читаем: «im Schlosse lag ein mächtiges Fass mit drei eisernen Reifen. Darin schlief der Drache seinen Jahresschlaf. Der war gerade zu Ende. Nur einmal sprang ein Reif, bald sprang der zweite und der dritte und krachte jedesmal so gewaltig wie ein Donnerschlag».

[...] Змей пробуждается от годового зимнего сна; на *бочке* (т. е. туче), в которой он заключен, лопаются сжимавшие ее обручи и лопаюсь производят громовые удары. Дождевое облако издревле уподоблялось плаваю-

* Сходство росы, слез и жемчуга повело к поверью, будто видеть во сне жемчуг — предвещает слезы.

** Он находит красавицу в море — золотым кольцом, на дубу — желудем, в скале — драгоценным камнем; море, дуб и скала — метафоры тучи, а золотое кольцо (*коло, колесо*) и драгоценный камень — солнца.

щему по небу *кораблю, ящику и бочке* (сравни: *корабль и короб*). Так как на зиму бог-громовник засыпает в туче или умирает в ней, оцепененный холодом, то в этом смысле корабль-облако и бочка-туча уподобились *гробу*. Народная загадка: «*Гроб плыет, мертвец ревет, ладан пышет, свечи горят*» означает *тучу, гром и молнию*. Малороссийское *нава* (санск. *pâvas*, греч. *vaûs*, латин. *pavis*) означает вместе и корабль (судно) и гроб; *навье* — в летописях — мертвец. Души усопших, по древнейшему представлению, плыли в страну блаженных по воздушному океану на летучих кораблях, т. е. облаках; отсюда возникли предания о перевозе душ на ладье или корабле мифическим кормчим (у греков Хароном) и обычай давать гробам форму лодок. Враждебный Тифон, приготовивши богато изукрашенный ящик, объявил на пиру, что подарит его тому, кому он придется по мерке. Все стали примериваться, и как только Озирис улегся в ящик, Тифон захлопнул крышкою и бросил его в Нил. То же сказание встречаем в былине про великана Святогора [...]: Святогор с Ильей-Муромцем наехали на великий гроб и прочитали на нем надпись: кому суждено покоемся в этом гробу, тот в нем и уляжется. Стал Святогор примериваться, — лег в гроб и закрылся крышкою; хотел потом поднять ее — и не может. Илья-Муромец берет его меч-кладенец, бьет поперек крышки, но за каждым ударом на гробе является *железная полоса*, и великан Святогор (гора-туча) умирает, т. е. оковывается холодом и засыпает зимним сном. Та же судьба постигает великана и в кашубском предании [...]. Пробуждение к жизни вещей мертвецов (колдунов и ведьм, которым народное суеверие приписывает воздушные полеты, скрадывание дождя и доение небесных коров) обыкновенно сопровождается в наших сказках распадением железных обручей, набитых на их гробы. В уподоблении дождевой тучи плавающей бочке находит объяснение и следующий часто повторяемый в народном эпосе рассказ: царица, посаженная в окованную железными обручами бочку и пущенная в море (небо), рождает в заключении сына-богатыря (бога-громовника), который растет не по дням, не по часам, а по минутам, потягивается и разрывает бочку на части. Отсюда же возникло верование в волшебный бочонок, из которого (только постучи в него) является несметное войско, и другое верование в бочонок неисчерпаемый, из которо-

го — сколько ни лей — он все полон. В сказке о Марье-Моревне Змей, умертвивши царевича, кладет его в засмоленную бочку, скрепляет железными обручами и бросает в море; но являются три птицы, олицетворение весенней грозы, и спасают царевича: орел воздымает бурю, и волны выкидывают бочку на берег, сокол уносит ее в поднебесье, бросает с высоты и разбивает на части, а ворон оживляет молодца живую водою [...]. По свидетельству валахской [...] и других сказок, обручи и цепи тотчас лопаются на Змее, как скоро он напьется воды или вина, т. е. как скоро утроба его наполнится дождевою влагою. Согласно с этими данными, в чешской сказке чародей, когда спали с него железные обручи, оборачивается вороном и улетает в разбитое окно, т. е. в переводе метафорических выражений на простой язык: снежные тучи превращаются весною в дождевые потоки (ворон — птица, приносящая живую воду или всеоживляющий дождь) и вслед за тем земля одевается зеленью и цветами, в лесах и полях начинают петь птицы, в водах плещутся рыбы, красавица-Солнце улыбается, на лице ее появляется румянец, а в очах веселье.

Солнце, удаляющееся на зиму, не всегда представляется в сказках царевною заколдованною или насильно похищаемую злым демоном. Целый разряд сказок говорит об измене красавицы жены своему мужу-богатырю; она отдается другому враждебному королю, уходит с ним в далекое государство и уносит с собою разные диковинки, символы летней природы; чтобы возвратить все это, покинутый муж должен бороться с величайшими затруднениями, но в свое время он все-таки одолевает их и получает обратно и жену и диковинные вещи (см. сказки о Волшебном кольце и «Рога»). В основе этого предания скрывается мысль о временном союзе красавицы-Солнца с летнею природою, о переходе ее во власть враждебной зимы, когда она как бы изменяет своему законному супругу и предается коварному оболстителю, и о восстановлении с новой весною прежнего благодатного брака.

Мы коснулись только некоторых сторон сказочного эпоса и, разумеется, далеко не исчерпали его богатого содержания. Поэзия и мифология найдет в нем прекрасные и обильные материалы. Вещие звери, птицы, деревья и травы, разнообразные превращения, волшебные диковинки, змеи, великаны и карлики — все это имеет

свое значение, свой смысл. Добрый молодец с солнцем во лбу напоминает Одина, а герой, у которого по всему телу часты звезды,— многоочитого Аргуса; сказка о Снегурке родственна с германскими представлениями о короле Снеге (König Schnee) и его дочерях; сказка о богатырях — безногом и слепом передает тот же сюжет, который в таких поэтических красках и в такой суровой драматической обстановке развит в поэме о Нибелунгах и проч. Не останавливаясь на этих любопытных сказаниях, объяснение которых потребовало бы целой книги, мы думаем, что и приведенных исследований уже достаточно, чтобы видеть всю важность и интерес народного сказочного эпоса.

НАУЗЫ. ПРИМЕР ВЛИЯНИЯ ЯЗЫКА НА ОБРАЗОВАНИЕ НАРОДНЫХ ВЕРОВАНИЙ И ОБРЯДОВ

Современные историко-филологические исследования неоспоримо доказали то важное влияние, какое постоянно оказывало слово человеческое в древнейшую эпоху существования народов на образование их верований, обычаев и обрядов. Из многочисленной массы примеров, предлагаемых наукою, позволяю себе остановить внимание читателя на одном, именно на понятии *вязать*, которое играет весьма значительную роль в заговорах, чародействе, симпатическом лечении, юридических и бытовых обычаях.

Первоначальный способ всякого приобретения и обладания предметом, владычества над ним состоял в вещественном схватывании его *рукою*, откуда возник общераспространенный обычай при купле-продаже, заступившей место простого, насильственного захвата, и потом при всяком договоре (где один как бы продается другому, уступает ему свою работу, услугу или право) *протягивать руку* в знак утверждения этого юридического акта. У нас существует выражение: *ударить по рукам* и действительный обряд *рукобитья* при заключении купли-продажи и вообще всякого договорного условия, например, при заключении свадебного соглашения вместо выражения: «Мы дочь просватали» — говорят: «Мы по рукам ударили», «Мы дочку пробили». Наложение руки, впрочем, не всегда могло быть достаточным для фактического овладения, особенно если оно касалось

дикого животного или нелегко подчиняющегося чужой власти человека — раба; надо было поймать это животное или раба, связать по рукам и по ногам, и тогда только можно было рассчитывать на упроченное и спокойное владение. Издревле веревка — *ужище* (санскр. юдж, лат. *jungege*, *conjungege*, слав. вѣзати, вѣзь, жзь, жза — *vinculum*, *узел*, *узы*, *на-уза*, *узда*, *г-уж* и *путы* (*опутывать*)) были видимым знаком того фактического обладания, которому человек подчинял пойманное им дикое животное: кто накидывал на коня узду, тот и делался его господином; в чьих руках была привязь, которою опутан бык или корова, тот и был их хозяином. Впоследствии узда и обротъ стали символически выражать самое право на обладание известным животным. «Кто коня купить,— говорит малороссийская пословица,— бере и уздечку». Юридический обычай, до сих пор существующий на Руси и в других славянских землях, требует, чтобы продавец вместе с животным отдавал покупщику и ту обротъ, веревку или узду, на которой оно приведено на базар, и эта передача веревки или узды почитается необходимым обрядом при всяком совершающемся акте продажи и купли домашней скотины; потому что в этом действии наглядно, материальным образом выражается переход власти над нею из одних рук в другие. Наоборот, чтобы купля была недействительна, надо, чтобы при совершении ее этот символический атрибут права собственности (узды, обротъ) остался в руках продавца, без передачи. В любопытной сказке, известной почти у всех славянских племен и немцев, добрый молодец, наученный великой мудрости превращаться в разные виды, оборачивается конем, наказывает своему отцу вести себя на продажу и при этом говорит: «Коня продавай, а уздечки ни за какие деньги не уступай!» Точно так же, превращаясь в собаку и в сокола, велит продавать первую без *ошейника*, а последнего без *пугцев*, и только в таком случае, по свидетельству сказки, проданный отцом сын может воротиться к нему без особенных затруднений. Когда старик позарился на деньги и продал сына, оборотившегося ретивым конем, вместе с уздечкою, то последний до тех пор не мог вырваться на волю, пока не сняли с него узду. Подобно тому, как дикое животное, опутанное веревкою, становилось собственностью человека, так и побежденный, связанный неприятель делался рабом. Кто поко-

рился в неравной борьбе своему врагу, отдался ему в плен, был схвачен его руками (*manuscaptus*), опутан его веревками или цепями, тот в глазах победителя был его собственностью. Наш древний язык дает пленникам названия: *вязень* и *узник*. Понятия плена и покорности побежденного в древности сливаются в одно с идеею рабства; в немецком языке *bändigen, überwinden* (собственно — *обвить*) указывают на насильное связывание побежденного в битве; *ring* — кольцо, звено цепи, эмблема подчинения жены мужу и раба хозяину, и *ringen* — бороться; латин. *vincio* — побеждаю, *victor* — победитель сродны с *vincio, vincitum* и *vinculum* — связывание, узы и цепи. Самый брак в глубочайшей древности, в эпоху господства грубой физической силы, был своевольным захватом невесты. Нестор о некоторых славянских племенах говорит, что у них брака не было, а «*умыкаху* жены себе». Слово *умычка* (похищение) совершенно совпадает со значением уз, связывания. Корень *мѣк (мьк)*, *лкну* — связываю, *закмькати* — обвязывать, оцеплять, окружать, откуда *замѣк* — уза и *зѣмок* — запертое, огражденное место, *крепость*. В применении к гражданским договорам слово «крепость» получило значение юридического акта, дающего на что-нибудь право собственности; выражение «*заклѣчити договор*» указывает на *ключ*, которым запирается установленная между договорившимися сторонами связь. *Умыкати*, следовательно: связывать, присваивать себе и увозить — *умчати* на коне; напротив, *размыкати* — разнести, разорвать, уничтожить связи; *размычка* — древнейший способ наказания: разорвание преступника лошадьми; *размыкати горе*, т. е. разорвать с ним союз, ибо старинный человек представлял себе горе живым существом и выражался о нем эпически: «*Ко мне горе привязалось*».

Так свидетельства языка переносят нас в глубь понятий и нравов того доисторического, почти животненного состояния человека, о котором не помнят самые древние письменные памятники. Когда с развитием гражданских и общественных отношений грубая сила мало-помалу была приведена в условные границы, взамен насильного завладения появились другие мирные способы приобретения и вступления в договоры; но в языке, в юридических формулах и обрядах, которыми были обставлены эти новые способы и договоры, необходимо сохранились древнейшие воззрения. Согласно с общим ходом исто-

рического развития языка, слова́, создавшиеся некогда для выражения понятий чисто материальных, мало-помалу одухотворяются в своем значении, т. е. им придается другой, более духовный смысл, но самое слово на́долго остается все то же, звучит все так же, и хотя первоначальное, коренное его значение забывается, но путем ученого анализа оно может быть раскрыто и объяснено. В договорах всегда есть одна сторона, принимающая на себя *обязательство* (*об-вzательство* от *вzать*, *obligatio*, *verbindlichkeit*), т. е. сторона как бы связанная, подчиненная, рабская, издревле, по установлениям Русской Правды¹, должник и наёмный работник (наймит) поступали к своему кредитору и наемщику во временное рабство и назывались *закупами*. Это название уже показывает, что свободный человек *запродал* себя другому во временное холопство — в кабалу, взявши вперед с хозяина, в виде займа, известную сумму денег или определенную меру хлебных припасов и зарабатывая свой долг вместе с процентами (ростом) в течение назначенного срока. Временное холопство могло даже переходить в вечное, если закуп убежит самовольно или будет уличен в покраже; в последнем случае господин отвечал за него перед другими свободными лицами и для их вознаграждения мог продать закуп. Самые высоконравственные, по преимуществу духовные — семейные и общественные отношения (между мужем и женою, родителями и детьми, церковными властями и паствою, царем и народом) доселе выражаем мы словами, в которых позднее развившиеся понятия любви, долга и добровольного подчинения не могут затемнить древнейших материальных представлений о торжествующей силе и налагаемых путях: все это *узы* родства и дружбы, *связи*, *привязанности*, *союзы*; немецкий *verwand* вместо *verband* — связанный, в наших древних памятниках *ужик* — родич и чешское *приузник* — приятель; выражение *долг* любви, дружбы, гражданской чести и проч. указывает на зависимость, подобную той, в какой стоял в старину *должник* (закуп).

Древнейшие символы брака, принятые и в христианский обряд, — *венец* и *кольцо*. Областное *вен* или *вьюн* — венок, венец от глагола *вить*, *вью* — свивать, сплести, скручивать; *веник*, *вица* и *вичка* — прут, розга, ветвь, из которых плетутся венки и связываются веники; в сербском списке библии слова *сноповия* и *вене* употреблены

как синонимические; в словаре Памвы Берынды *увязло* и *увязенье* — венец, *увязти венцы* — короновать; сравни немецкое *binden* и *winden* (древнегерм. *vidan*). Венок поэтому сделался метафорой супружеского союза: «Кому, мой вен, достанешься?» — спрашивает девица в народной песне, т. е. за кого-то я выйду замуж? По венку, брошенному в воду, девицы гадают о суженом, и молодая, недавно вышедшая замуж, называется у поселян *вьюницею*, слово в слово *окрученную, повязанною*. Слово *венец*, кроме общепринятого значения, имеет в областных наречиях еще следующие: женский головной убор (*повязка*), день свадьбы и обряд венчания. Так как в древности не всегда невест похищали, но часто покупали их за деньги, то *вено* получило значение платы за жену; старинное *венити* — покупать и продавать. В простом народе доселе употребительно слово *опутать* — в смысле сватать, и сват или сваха, отправляясь на переговоры с родителями невесты, действительно является в их дом с путем — веревкою. Идучи на сватовство, в Подольской губернии связывают ножки стола, чтобы скорее дело *связалось*; в других же местах сваха берет заранее приготовленный пут (веревка для спутания лошадей ног), опоясывается им и произносит заклятие: «Как конь скороход в этой веревке заплетается, так заплетись сердце такой-то!» (имя невесты). Любопытно, что подобным же образом на первый день Рождества опутывают ножки стола, ударяя по нем плетью, чтобы лошади не сбегали со двора. Подблюдная святочная песня, предвещающая супружество, выражает свое предсказание в этой эпической форме:

Ты, мати, мати-порода моя!
Ты взгляни, мати, в оконичко,
Ты выкинь, мати, *опутинку*,
Чтобы было чем *опутать* ясна сокола,
Что ясна сокола — моего жениха.

В старину, во время сватовства, клали на полу перед невестой *пояс в виде круга* или подставляли ей *юбку*, и она (в случае согласия на брак) прыгала в середину пояса или в юбку; в Тамбовской губернии соблюдается это поныне: брат невестин держит в руках *панёву*, наряд, носимый только замужними женщинами, и спрашивает: «Вскацы, сестрицунька, вскацы, белая лебедушка!» А невеста бежит по лавкам, говоря: «Хацу — вскацу, а хацу — не вскацу!» И не вскакивает, если жених ей не по-

сердцу; а если жених нравится, то, поломавшись, прыгает в панёву, которую тотчас стягивают на ней и завязывают; вслед за тем бывает «запой», или согласие, даваемое жениху, утверждается задравными чарками. Отсюда народная загадка, означающая *пояс*: «В день *колесом*, в ночь як *уж*; кто угадае, буде мий муж» (у поляков: *W dzień kolem, w nosy jak waż; kto zgadzie, będzie toу maz*). Накануне 30 ноября (день, посвящаемый гаданью) девушка, проснувшись поутру, *подвязывается поясом*, целый день постится и молится; а вечером, ложась спать, кладет *пояс* под подушку и верит, что во сне должен ей привидеться суженый. В Сербии, когда молодая от венца войдет в избу, на нее бросается из-за угла свекровь и повязывает поясом. Вступая в брак, невеста меняет свой девичий наряд на женский, облачается в панёву и на голову надевает кичку; косы ее заплетаются по-бабьи. Это переодевание называется *окручиванием*, от слова *крутить* — вить, вязать; вологодское *сукрутина* — круто свитая нитка; *окрутить* — выдать замуж, сыграть свадьбу. Расчесывая волосы невесты и заплетая на две косы, что во многих деревнях совершается в притворе самого храма, стараются *завязать их как можно крепче — узлами*, чтобы союз был крепкий, неразрывный. Коса в свадебных песнях — символ самой невесты; жених покупает ее по требованию старинного обряда. Во время святочных гаданий девица кладет под подушку гребенку, приговаривая: «Суженый-ряженный! причеши мне голову», — и суженый является во сне и чешет, т. е. *окручивает* ей голову.

Как венок или венец служит символическим знаком той связи, которая устанавливается между женихом и невестою, так и кольца, обмениваемые при венчании, суть звенья соединяющей их цепи. Кольцо в народных гаданьях — эмблема брака и любви: «Любовь — кольцо, а у кольца нет конца», — говорит пословица, указывая на христианское представление о неразрывности брачного союза. Потеря обручального кольца до венчания принимается за предвестие, что свадьба не состоится, разойдется; а после венца — что кто-нибудь из сочетавшихся вскоре умрет; в обоих случаях, следовательно, потеря кольца знаменует расторжение супружеской цепи. Та же примета относится и к венцу, если он спадет во время венчального обряда с головы жениха или невесты; у кого спадет венец, тому скоро вдовствовать. Обмен колец

называется *обручением* — от слова *рука*; ибо уже простое соединение рук помолвленных служило знаком их сочетания (*dextrarum junctio*), и теперь о сватающем женихе выражаются, что он *просит руки*; *заручить* — просватать, *обруч* — запястье на руке, металлическое кольцо (об-руце) и связующий *круг* на бочках и кадках, польск. *obgasczka* — перстень; сравни *коло*, *кольцо* и *колесо*. Надеваемые на пальцы жениха и невесты кольца вполне соответствуют повязке рук молодой четы полотенцами — ручниками. В Малороссии еще теперь, во время чтения Апостола, при обряде венчания, священник, следуя старинному обычаю, связывает руки жениха и невесты полотенцем. «Судьба придет — и *руки свяжет*» (т. е. оженит), — выражается пословица о брачном союзе, в котором народ видит «суд божий»: «Смерть да жена богом суждена». У наших предков, по свидетельству Барберини (XVI в.)², был такой обычай: в случае развода муж и жена шли к проточной воде, становились на противоположных сторонах и, держась за концы одного полотенца, тянули и *разрывали его пополам*. По указанию другого иноземца (Гванини)³ муж и жена выходили за деревню, становились на перекрестной дороге и держали полотенце за концы, а свидетели разрезывали его пополам. У черногорцев в этом случае жена подносила мужу *пояс*, и если он *перерезывал* его, то брак расторгался. Черемисы⁴ до сих пор совершают обряд развода таким образом: связывают несогласных супругов сзади опояскою, которую потом разрезывают, а разведенные бегут в разные стороны. На Руси, вслед за сговором, родители невесты в уверение того, что не отойдутся от данного слова, посылают жениху ручник или платок; родне его посылаются такие же подарки, и это называется *платки давать* или *побрать хустки*. Малороссийское «вже-й хустки побрали» значит: уже сговорили, просватали; «дали плат» — значит: дело решено, свадьба слажена. Если бы после того случилось какой-нибудь стороне отказаться, то она обязана заплатить за все сделанные издержки. Сюда же должно отнести русский обычай повязывать свадебных поезжан через плечо полотенцами, красными платками и кушаками. Если невеста уронит под венцом платок, то, по народной примете, ей придется вдовствовать. Самые названия *супруг*, *супруга* указывают на то же представление — от *прясть* (*пряду*, *пряжа* — плести, крутить нитку из кудели), не-

употребительная форма *прячь* (за-прячь, запрягать) — накладывать на животное ярмо, узду; *упряжь, пряжка* — чем застегивается или связывается кушак и одежда, — подобно тому, как *умыкать* одного корня со словами: *мычки, мыканье* льну и вообще пряжи; сравни немецкое *srappen* и *srippen*. В Малороссии слово *супруга* доселе употребительно в значении упряжной пары: «волив супруга добра»; с тем же значением встречается оно и в старославянском: «Супруг волов купих пять». От вышеуказанного санскритского корня *юдж*, соответствующего нашим *узам*, образовались немецкое *joch*, латинское *jugum, jumentum* и наше *уго*; таким образом, в слове «супружество» лежит представление того нравственного ига, ярма, которое налагают на себя вступающие в брак. В обрядах с пугом и в значении, придаваемом слову «опутать», мы уже видели сближение сосватанной девицы с пойманным и обратанным конем; согласно с этим в Воронежской губернии: а) *свозжаться* — значит: свести парню дружбу с девкою, тоже, что *иметь связь, связаться* с кем, и б) *запрягать* — жениться, венчаться. Отсюда объясняется народная примета: когда лошадь распряжется в дороге — знак, что жена неверна, сбросила с себя супружеские узы, и известный в Малороссии обычай надевать на мать и отца новобрачной или на сваху *хомут*, если невеста окажется недевственною: этим символическим знаком выражается, что она уже до брака была в любовной связи-сопряжении с другими.

Венцы, цепи и кольца мало-помалу сделались символами всех юридических и нравственных связей и стали равно атрибутами как той стороны, которая получает власть, право и обязывает других, так и той, которая подчиняется и несет обязанности. Приготавливаемые из благородных металлов, они явились знаками могущества, власти, свободы и, наоборот, означают покорность и рабство, если скованы из железа или заменены простой веревкой. Золотое кольцо было эмблемою свободного человека у древних германцев; золотые цепи и ожерелья, носимые на шее, указывали на благородство, достоинство, отличие, власть (цепи рыцарских орденов, феодальная инвеститура⁵, царская корона — знамение союза государя с народом); а железное кольцо на пальце и железный ошейник или веревка на шее — несомненные знаки неволи и рабства. В нашем языке любопытный пример перехода понятия о связующей веревке к идее админист-

ративного и государственного союза представляет старинное слово *вервь* (*врѣвь*), известное во всех славянских наречиях в смысле веревки, тесьмы; слово это послужило для определения семейного круга, общины и народного сборища: *врѣвник* — у сербов родственник, у хорутан сват, *врѣвница* — сваха, подобно тому, как у нас в старину родичи назывались *ужиками* и *снузниками* (от *ужище* и *узда*); в Русской Правде *вервь* — община, известное пространство земли; сербское *врѣва* — *turbo*, *multitudo*, *consorsus*, *frequentia*; скандинавское *waग्रh* — вече, фризское, *waгf* — место суда; мы до сих пор говорим *бразды* правления, а слово *бразды* означает, собственно, конские удила.

Метафорические выражения *связывать*, *делать узлы*, *замыкать*, *опутывать* могут служить для указания различных оттенков мысли и, смотря по применению — получают в народных преданиях и обрядах разнообразное значение. В заговорах на неприятельское оружие выражения эти означают то же, что *запереть*, *забить* вражеские ружья и тулы, чтобы они не могли вредить ратнику: «*Завяжу я, раб божий, по пяти узлов всякому стрельцу немирному, неверному, на пищалях, луках и всяком ратном оружии. Вы, узлы, заградите стрельцам все пути и дороги, замкните все пищали, опутайте все луки, повяжите все ратные оружия; и стрельцы бы из пищалей меня не били, стрелы бы их до меня не долетали, все ратные оружия меня не побивали. В моих узлах сила могуча, сила могуча змеиная сокрыта — от змея двенадцатьглавого, того змея страшного, что пролетел с океан-моря*». По сходству ползучей, извивающейся змеи и ужа с веревкою и поясом, сходству, отразившемся в языке (*ужище* — веревка-гуз и *уж*; в вышеприведенной загадке пояс метафорически назван ужом), чародейным узлам заговора дается та же могучая сила, какая приписывается мифическому многоглавому змею, представителю громовых туч и молний. В старину верили, что некоторые из ратных людей умели так «завязывать» чужое оружие, что их не брали ни сабли, ни стрелы, ни пули. Такое мнение имели современники о Стеньке Разине. Относительно болезней и вообще всякого зловредного влияния нечистой силы выражения *связывать* и *опутывать* получили значение спасительного средства, *связывающего* злых демонов и тем самым подчиняющего их воле заклинателя. Апокрифическое слово

о кресте честне (по болгарской рукописи) заставляет Соломона заклинать демонов принести ему третье древо этой формулой: «Заве(я)зую вас аз печатию господнею». Припомним, что печать в старину привешивалась на завязанном шнурке*. Тою же формулой действует заговор и против колдунов и ведьм: «Завяжи, господи, колдуну и колдунье, ведуну и ведунье и упирцу (уста и язык) — на раба божия (имярек) зла не мыслити». Завязать получило в устах народа смысл: воспрепятствовать, не допустить: «Мини як завязано» (малорос.) — мне ничто не удастся. Заговорные слова, означавшие победу заклинателя над нечистою силою мрака, смерти и болезней, опутывание их, словно пленников, цепями и узами (по необходимому закону древнейшего развития, когда все воплощалось в наглядный обряд) вызвали действительное завязывание узлов. Отсюда в народной медицине и волшебных чарах играют значительную роль *наузы, узлы, навязки* — амулеты. Кирилл Туровский, исчисляя мытарства, по которым шествует грешная душа по смерти, говорит: «13-е мытарство — волхование, потворы, *наузы*». Софийская летопись под 1044 годом рассказывает о Всеславе: «Матери бо родивши его, бе ему на главе знамя язвено — яма на главе его; рекоша волсви матери его: се язвено, *навязи на-нь*, да носить е (наузу) до живота своего на себе». В старинном слове, приписанном св. Кириллу, читаем: «А мы суще истинные христиане прельщены есмы скверными бабами... оны прокляты и скверны и злокозныны (бабы) *наузы* (наузами) много верныя прельщают: начнет на дети наузы класти, смеривати, плююще на землю, рекше — беса проклинаеть, а она его боле призывает творится, дети врачующе». Митрополит Фотий в послании своем к новгородцам (1410 г.) дает такое наставление церковным властям: «Також учите их (паству), чтобы басней не слушали, лихих баб не принимали *ни узлов*, ни примовленья, ни зелья, ни вороженья, и елика такова; занеже с того гнев божий приходит. И где таковые лихие бабы находятся, учите их, чтобы престали и каялись бы, а не имут слушати, не благословляйте их; христианом заказывайте, чтобы их не держали межу себе нигде, гонили бы их от себе, а сами бы

* Печать получает значение налагаемых уз: *запечатать кому уста* — все равно, что «завязать кому рот», т. е. заставить молчать. Особенно важную роль играет это слово в заговорах на остановление крови («*запечатать рану*»), вследствие сродства его с выражением: кровь или рана *запеклась*.

от них бегали, аки от нечистоты, а кто не имать слушати вас, и вы тех такоже от церкви отлучайте». Но обычай был сильнее этих запретов, и долго еще «мнози от человек, приходящи к волхвам и чародеям, принимали от них некие бесовские наузы и носили их на себе». В рукописных сборниках поучительных слов XVI столетия встречаем упреки: «Немощь волжбою лечат и *наузы* чарования и бесом требы приносят, и беса, глаголемого трясцю (лихорадку), творят (ся) отгоняющи... Се есть проклято. Того дея многи казни от бога за неправды наши находят; не рече бо бог лечитися чарованим и *наузы*, ни в стречу, ни в полаз, ни в чех веровати,— то есть поганско дело». (Вариант: «жертву приносят бесом, недуги лечат чарами и наузы, немощного беса, глаголемого трясцю, мняться прогоняюще некими ложными писмяны»). Болгарская рукопись позднейшего письма осуждает жен, «кои завезуют зверове (вариант — скоти), и мечки, и гледать на воду, и завезуют деца малечки» (детей). Знахарям, занимавшимся навязыванием таких амулетов, давались названия *наузника* и *узольника*, как видно из одной рукописи С.-Петербургской публичной библиотеки, где признаны достойными отлучения от св. причастия: *обавник*, *чародеи*, *скоморох* и *узольник*. Наузы состояли из различных привязок, надеваемых на шею: большею частью это были травы, коренья и иные снадобья (уголь, соль, сера, засушенное крыло летучей мыши, змеиные головки, змеиная или ужовая кожа, и прочее), которым суеверие приписывало целебную силу от той или другой болезни; смотря по роду немощи, могли меняться и самые снадобья*. Иногда, вместо всяких целебных средств, зашивалась в лоскут бумажка с написанным на ней заговором и привешивалась к шейному кресту. У германских племен привязывались на шею, руку или другую часть тела *руны* (тайные письмена) для излечения от болезни и предохранения от колдовства, и амулеты эти назывались *ligaturae* (в средние века) и *angehenke*. В христианскую эпоху употребление в наузах *ладана* (который получил особенно важное значение, потому что возжигается в храмах) до того усилилось, что все привязки стали называться *ладанками* — даже и тогда, когда в них не было ладану. Ладанки до сих пор играют важную роль в простонародье: отпра-

* Наузы (чеш. *navusi*, *navasy*, *navasovati* — колдовать) в употреблении и между другими славянскими племенами.

ляясь в дальнюю дорогу, путники надевают их на шею в предохранение от бед и порчи. В XVII веке приведен был в приказную избу крестьянин Игнашка Васильев и вместе с тем подан его «крест медный да корешок невелик, да травки немного *завязано в узлишки у креста*». На расспросе Игнашка показал, что тот «корешок девесильный, а травка-де растет в огородах, а как ее зовут, того он не ведает: а держит-де он тот корешок и травку от лихорадки». По осмотру посадского человека Якушки Паутова оказалось, что корень тот называется «девятины — от сердечные скорби держат, а травишко-де держат от гнетенишные скорби, а лихого-де в том ничего нет». За такое леченье Игнашка был наказан батогами. В Твёрской губернии, для охраны стада от зверей, навязывают на шею передовой* коровы сумку с каким-то снадобьем; сумка эта называется *вязло*, и значение чары состоит в том, что она *связывает* пасть дикого зверя. При весеннем выгоне лошадей в поле берут висячий *замок*, и, то запирая его, то отмыкая, обходят трижды кругом стада и причитывают: «*Замыкаю я сим булатным замком серым волкам уста от моего табуна*». За третьим обходом запирают замок окончательно и кладут его в воротах, чрез которые выгоняют лошадей; замок же прячут где-нибудь, оставляя замкнутым до самой осени, пока табун гуляет в поле. Крепкое слово заговора, словно ключом, замыкает уста волков. Подобным образом болгары думают сберечь свои стада суеверным обрядом, основанным на выражении *зашить волчьи уши, очи и уста*. Вечером баба берет иголку с ниткою и начинает зашивать полу своей одежды, а какой-нибудь мальчик ее спрашивает: «Что шіешь, бабо?» — «Зашивам, сынок, на вльцы-те уши-те, да не чуют овце-те, козы-те, свине-те и теленца-та». Мальчик повторяет свой вопрос и получает ответ: «Зашивам, сынок, на вльцы-те очи-те, да не видят овце-те» и т. д. В третий раз баба говорит: «Зашивам на вльцы-те уста-те, да не едят» овец, коз, свиней и телят. Нередко наузы состоят из простой нитки или бечевки с узлами, и это едва ли не древнейшая их форма; так от лихорадки носят на руках и ногах повязки из *красной* шерсти или тесьмы; девять ниток подобной шерсти, навязанные на шею ребенка, предохраняют его от *скарлатины-краснухи*; от глистов употребляют тоже *навязывание* пряжи на детей. Если *разовьется ру-*

* Корова, которая ходит впереди стада.

ка, т. е. заболит связка ручной кисти, то ее *обвязывают красною пряжею*. Такое симпатическое лечение известно и у немцев. Кроме того, на Vogelsberg'e от лома в костях носят *железные кольца*, выкованные из такого гвоздя или крюка, на котором кто-нибудь *повесился*. В случае вывиха или перелома и у нас и в Германии крестьяне отыскивают дерево, которое, разделившись на две ветви, потом снова срослось в один ствол, и в образовавшееся от того отверстие протаскивают больных детей; или нарочно раскалывают молодое зеленое дерево (преимущественно дуб) *на́двое*, протаскивают больного сквозь расщепленные половины и потом связывают их веревкою: пусть также срастется поломанная кость, как срастается связанное дерево. От бородавок на Руси известно такое лечение: завязывают на нитке столько узлов, сколько насчитано бородавок, и потом зарывают ее в землю, с убеждением, что как скоро сгниют узлы — тотчас же пропадут и бородавки. Есть еще обычай, в силу которого снимают с больного *поясок* и бросают на дороге; кто его подымет и наденет на себя, тот и заболеет, т. е. к тому болезнь и *привяжется*, а хворый выздоровеет. Нить с узелками или еще лучше *сеть* (потому что нигде нет столько узлов, как на ней) почитаются охранительными средствами против нечистой силы, колдунов и ведьм. Чтобы поймать ведьму, должно спрятаться под осиновою *борону* и ловить ее *уздою*; под бороною она не может повредить человеку, так как верхняя часть бороны делается из *свитых вместе лоз**. В некоторых местах, наряжая невесту к венцу, накидывают на нее *брeдeнь* (рыболовная сеть) или, навязав на *длинной нитке* как можно более *узелков*, *подвязывают* ее невесту; делается это с целью противодействовать порче. Точно так же и жених и самые поезжане опоясываются *сеткою* или *вязаным поясом* — в том убеждении, что колдун ничего злого не в силах сделать до тех пор, пока не распутает бесчисленных узлов сети или пока не удастся ему снять с человека его пояс. Некоторые крестьяне думают, что

* Кто желает добыть шапку-невидимку или неразменный червонец от нечистого, тот, по народному поверью, может выменять у него эти диковинки на черную кошку, но непременно должен обвязать ее сетью или ниткою с узелками, а то — беда неминуемая! Сказанное же средство спасает от несчастья, потому что нечистый до тех пор связан в своих злобных действиях, пока не распутает всех узлов.

ходить без пояса грешно и что под шкурою убитого оборотня не раз находили парня или бабу, превращенных колдовством в хищного зверя, и всегда *без пояса*.

Мы указали, что слово *крутить, окручивать*, от первоначального значения: завивать, плести — перешло к определению понятий: одевать, наряжать (*окрута* — женское нарядное платье и вообще одежда, *окрутить* — одеть, *окручать* — заплетать невесте две косы, наряжать в женский головной убор, *окручаться* и *окрутиться* — наряжаться, маскироваться, *окрутник* — наряженный посвяточному, замаскированный, и в этом смысле явилось синонимом глаголам: *облача(и)ть* и *оборотить* (обвертывать, обернуть), точно так же, как слово *окрута* — одежда тождественно по значению со словом *облако* (облачение). Облака и тучи издревле понимались, как темные покровы, в которые облакается светлое небо. До сих пор об облачном, туманном небе говорится: *заволокло*; в областном языке облако называется *наволока*. Творческие силы природы, являясь в грозных тучах, представлялись демоническими существами, облачившись в волчьи или другие животненные шкуры, *оборотнями* (вовкулаками), что в символическом обряде стародавних языческих празднеств представлялось наряживаньем *окрутников*. Оборотень-вовкулак (до слова: покрытый, обернутый волчьей шкурою), по объяснению старинного памятника, есть дух, нагоняющий на горизонт темные тучи — тучегонитель. С другой стороны, в весенней грозе древний человек созерцал свадебное торжество, брачный союз, в который бог-громовник вступал с облачными нимфами, проливая на землю плодотворное семя дождя. Поэтому латинское *pubere* (от *pubes* — облако) — покрываться получило еще другое значение: жениться; греческое *νεφος* — облако и *νυμφη*, *νυμφος* — невеста и жених. Покрывало, которым окручивают голову невесты, ее *фата*, есть символическое знамение того облачного покрова, под которым являлась прекрасная богиня Весна, рассыпающая на всю природу богатые дары плодородия. Покрывание головы сделалось признаком замужества. Только девица может ходить с открытою головою и красоваться своею русою косою; замужним строго воспрещается показывать хотя один волосок из-под платка или кички — быть *простоволосою*. Митрополит Симон в послании своем 1501 года, возвышая голос свой против разных отступлений от церков-

ных уставов, прибавляет: «А жены ваши ходят просто-власы непокровенными главами, ино то чините не по закону христианскому». Арабский писатель XIII века так описывает брачный обряд у славян: «Если кто чувствовал склонность к какой-нибудь девице, то *набрасывал ей на голову покрывало* — и она беспрекословно становилась его женою». То же воззрение высказывается в слове *покрытка*, которым в Малороссии клеймят девицу, потерявшую невинность.

Из сейчас указанной связи понятий, под несомненным воздействием метафорического языка, возникло поверье о превращении молодой четы и всего свадебного поезда в оборотней-волков. Это превращение приписано чарам колдунов и ведьм, которым предания присваивают полеты в тучах и власть над грозowymi явлениями природы. Сейчас было сказано, что науза связывает колдуна, мешая его чарам и что он не прежде может превратить человека в зверя, как снявши с него предохранительную сетку или пояс; но, с другой стороны, та же науза в руках колдуна и ведьмы получает страшную силу: ею он покоряет себе все и все заставляет повиноваться своей воле. Своими метафорическими выражениями древний язык пользовался весьма свободно и сочетал с ними разнообразные и часто совершенно противоположные представления. По связи *окручивания с наузами* — эти последние почитаются даже необходимым условием оборотничества. Чтобы превратить свадебное сборище в стаю волков, колдуны берут столько ремней или мочалок, сколько нужно оборотить лиц, нашептывают на них и потом этими ремнями или мочалками *подпоясывают* обреченных, которые тотчас же и становятся вовкулаками. Обратни не иначе могут получить прежний человеческий образ, как только в том случае, когда чародейный пояс изотрется и лопнет. В подляшской Руси рассказывают, что ведьма, чтобы обратить свадебный поезд в волков, *скрутила свой пояс* и положила под порог избы, где была свадьба, и все, кто только переступил через пояс — обратились в волков. По другому рассказу она *крутила для этого липовые лыки*, варила их и отваром этим обливала поезжан. Сами ведьмы и колдуны, желая превратиться в волков, бросают на себя *кольцо* или *кувыркаются* через *обручи*.

Замок, как та же науза, получает в свадебных обрядах символическое значение орудия, замыкающего суп-

ружескую цепь. В Нижегородской губ. сват, ударивши по рукам с отцом невесты, вынимает маленький замок, запирает его и прячет в карман во знамение крепости предположенного союза; в других местностях, отпуская невесту к венцу, кладут ей в карман замок (Астр. губ.), или: когда жених и невеста приедут из церкви — то старая женщина кладет замок и ключ на порог избы, и как только новобрачные переступят через него — тотчас же запирает этот замок, а ключ бросает в реку, на всегдашнюю любовь и нерушимое согласие юной четы. Крепость запертого замка, от которого потерян ключ (заброшенный в воду), сближается с мыслью о всегдашней замкнутости супружеского союза. Но метафора эта могла иметь и другие применения и соответственно им породить новые и даже совершенно противоположные представления и поверья. Тот же ключ, который скрепляет союз любящихся, смыкая соединяющую их цепь, в ином метафорическом применении может *запереть сердце милого* и сделать его недоступным внушениям любви. В одной песне девица жалуется:

У милого сердце каменно,
Золотым ключом заперто,
Золоты ключи потеряны.
Что в Оку-реку брошены,
Белым камешком наложены.

Отсюда легко было возникнуть чарам на *остуду* красной девицы или добра молодца: стоило только запереть на имя той или другого замок и забросить ключ в реку — и дело сделано. Мало того: одна и та же метафора могла служить и для означения оплодотворяющей силы, действующей в браке, и для выражения бесплодия и мужской немощи. Язык доселе удерживает выражения: *любовная связь*, парень *повязался*, *свозжался* с девкою, обозначая тем в пластическом образе сочетание мужчины и женщины воедино. Эта метафора подала повод к созданию любопытной народной сказки, принадлежащей к разряду неудобных для печати. Колдун дает мужику волшебный *ремешок*; тот накрывает свою неверную жену с любовником на самом деле незаконной любви, *завязывает на ремне узелок* и тем самым скрепляет их так, что никакие усилия не могут их развести. Собирается толпа и решает послать за знахарями; явился один знахарь, только стал ворожить да обдувать невольную чету, как мужик завязал еще узелок на ремне — и зна-

харь прилип бороною к любовникам. Явился другой знахарь, и после завязанного еще узла прилип с другой стороны; третий знахарь сунул было свою руку, и за вновь сделанным узлом рука его так крепко пристала, что и оторвать нельзя. Стал было один парень разбивать их метлою, а мужик завязал новый узел — и парень вместе с метлою прилип к любовникам и знахарям. Все это сборище только тогда и разошлось, как развязал оскорбленный муж узлы на своем ремне. Этот нескромный рассказ напоминает нам греческий миф о том, как Гефест опутал тонкими *сетями* ложе, на котором покоилась Киприда с любовником Ареем^б (Одиссея, песнь VIII), и сказки, известные у разных народов о том, как неверная жена, любовник и все, кто хотел им помочь, прилипали к золотому гусю, или как вор, вздумавший похитить овцу с серебристой волною, прилип к ней обеими руками, а вслед за ним прилипали и все те, которые хотели его оторвать. Впрочем, в этих сказках опущена самая существенная черта предания: свидетельство о наузах.

Но древний метафорический язык допускал и такое выражение: «замкнуть, завязать силу плодородия». В зимнее время небо перестает посылать на землю оплодотворяющее семя дождей; холода и стужи как бы *запирают* небесные источники, *запирают* и самую землю, которая лежит, окованная снегами и льдами, и ничего не рождает из своей материнской утробы. Старинное поучительное слово обозначает бездождие — *завязанным* или *замкнутым* небом. Восставая против суеверного уважения к отреченным (апокрифическим) сказаниям, проповедник замечает: «Того ради *завязано* небо, не пустить дождя на землю». С возвратом весны бог-громовик, разбиватель темных туч и податель плодородия, отпирает своею молнией облачные источники и напояет землю дождями; он дает земле производительную силу и отпирает ее замкнутые недра. До первого грома земля, по народному выражению, *не растворяется*. Потому молния в поэтических сказаниях народа есть золотой Перунов *ключ*. Народная загадка так выражается о молнии: «Дева Мария (христианская подмена древней богини Весны-громовницы), по воду ходила, ключи обронила», т. е. чтобы добыть дождевую воду — она бросает ключ-молнию. В сербской песне громовник Илья-Пророк говорит Огняной Марии, огорченной людскими грехами:

Моли́мо бога истино́га,
Нек нам даде *ключе од небеса*,
Да затворим' седмера небеса,
Да ударим' печат на облаке,
Да не падне дажда из облака.
Плаха дажда, нити роса тиха...
Да не падне за три године,
Да не роди вино, ни шеница.

(Станем молить истинного бога — пусть даст нам ключи от неба, и затворим седьмь небес, наложим печать на облака, да не падет из них ни шумящий дождь, ни тихая роса... три года и да не родится ни вино, ни пшеница). Языческие предания о Перуне в позднейшую эпоху были перенесены двоеверным народом на Илью-Пророка и Юрия Храброго. На вешний Юрьев день (23 апреля), когда бывает первый выгон скотины на пастбище, белорусы причитывают:

Святы́й Юрья, божий пасоль;
До бога пашов,
А узяв ключи золотые,
Атамкнув землю сырусенькую,
Пусьцив росу цяплюсенькую (теплую)
На Белую Русь и на увесь свет.

Но главным образом представление о ключе-молнии сочталось в народных поверьях с апостолом Петром, так как ему, по евангельскому свидетельству, обещаны ключи царства небесного. По выражению сербских песен, при разделе могучих сил природы — ему достались летние жары (льетне врубине), урожайи нив и виноградников и «кюучеве од небеског царства». Чехи зывают к нему: «*Sv. Petr na vrchu (на небе) hřimá, dá nám trochu vína!*» Сейчас приведенная нами белорусская песня варьируется еще так:

А Юрью, мой Юрью!
Подай Петру ключи
Зямлю одумкнуци,
Траву выпусцици,
Статок (скотину) накормици.

Соответственно с символическим представлением ветров и грозы быстролетными птицами, народное русское поверье говорит, что ключи от неба (рая) находятся у той или другой птицы, которая, улетая на зиму, уносит их с собою, а весной снова прилетает отпирать небесные источники. В марте месяце, закликая весну, в деревнях Смоленской губ. поют:

Благослови, боже,
Весну кликаць,
Зиму провожаць,
Лета дожидаць!
Вылети, сизая галочка,
Вынеси золоты ключи,
Замкни холодную зимоньку,
Отомкни цеплое летечко.

В одной обрядовой песне Полтавской губернии галка называется *золотою ключницею*. В Малороссии рассказывают, что ключи от рая-вирия хранит при себе вестница весны — кукушка или соя. В великорусских губерниях верят, что 9 марта «прилетает кулик из-за моря, *приносит воду из неволья*». Итак, следуя поэтическому выражению старины, Перун отпирает облака и посылает дожди и плодородие; но в его божественной воле было и не давать благодатного дождя и наказывать смертных неурожаями, почему ему приписывали и самое замыкание туч, задержание дождевых потоков. В числе разнообразных метафорических сближений, какие с необыкновенною смелостью и свободою допускала фантазия древнейшего человека, падающий с неба дождь уподоблялся крови, истекающей из ран, наносимых Перуновыми стрелами облачным демонам. Отсюда возникли заговоры на остановление руды (крови), заговоры, обращенные к богу-громовнику с мольбою запереть кровавые раны — так же, как запирает он дождевые источники. Приведем слова заговоров: «Шел господь с небес с вострым копьем, *ручьи-протоки запирает*, руду унимает — стрельную, ручебную, ножевую, топоровую...» «Встану благословясь, пойду перекрестясь во чистое поле, во зеленое поморье, погляжу на восточную сторону: с правой, со восточной стороны летят три *врана*, три брательника, *несут трои золоты ключи, трои золоты замки; запирали они, замыкали они воды и реки и синие моря, ключи* (источники) *и родники*; заперли они, замкнули они раны кровавые — кровь горячую. *Как из неба синегс дождь не канет, так бы у раба божьего* (имярек) *кровь не канула*. Аминь». «Есть в святом море — лежит лотырь-камень, на том камню стоит Иоанн-креститель, подпершись железным посохом, и уговаривает у раба божьего (имярек) кровавую рану — посеченную, порезанную, в белом теле щипоту, в костях ломоту, уговаривает у раба божьего семьдесят жил, станowych три жилы и замыкает ключом божиим» (Новгородская губ.).

Выражения эти перешли в самый обряд: при сильном течении крови из носу берут *замкнутый замок* и дают крови капать сквозь его дужку, или вместо этого — держат в обеих руках по ключу и верят, что такое средство останавливает течение руды: кровавая жила запирается. Подобно тому, как зимние холода и летние засухи запирают плодотворное семя дождей, так точно можно чародейными заговорами замкнуть силу плодородия в обвенчанной чете. Германцы приписывают ведьмам такую чару над молодыми супругами: во время свадьбы ведьма *запирает замок* и забрасывает его в воду, и пока замок не будет найден и отомкнут, супружеская чета делается неспособною к соитию. Чара эта называется schloss — schlissen и nestelknüpfen (nest — шнурок, ремешок, knüpfen — завязывать). В Сербии враги, желающие, чтобы у новобрачных не было детей, украдкою завязывают одному из них узлы на платье. Интересна жалоба, занесенная в протокол стародубского магистрата 1 января 1690 года. Тимошка Матвеев бил челом на Чернобая, который во время свадьбы *обязывал* его неведомо для чего *ниткою-портнинкою*, и с того-де часу он, Тимошка, уже два года не имеет со своей женою никакого *сполкованя* (spolkowanie — соитие), а портнинку Чернобай забросил и сказывает, что без нее пособить беде не умеет. Как в приведенных чарах узлы производят плотское бессилие, так точно *закручиванье* колосьев (ржи, овса, конопли) на ниве может, по поверью, отнимать у хлеба спорынью (плодородие) и вместе с тем производить гибель скота и людей — обычные следствия неурожая и голода в старину, когда не знали предосторожности и не делали запасов. Неурожай, голод и поварьные болезни бывали, по свидетельству летописей, всегда неразлучны. *Закрут* (*залом, завиток*), до сих пор наводящий ужас на целые села, не должно смешивать с завиваньем колосьев на бороду Волосу; это последнее возникло из уподобления связанных созревших колосьев завитой бороде древнего бога, имело значение жертвенного приношения и доныне совершается явно и с добрыми пожеланиями — на урожай и обилие. Напротив, *закрут* завивается тайно из жажды мщения, из желанья причинить хозяину нивы зло и сопровождается заклятьем на гибель плодородия; он совершается так: злобный колдун берет на корню пучок колосьев, заламывает их и крутит (свива-

ет) на *запад* — сторона, с которой соединяется понятие смерти, нечистой силы и бесплодия; в узле залома находят иногда распаренные зерна и могильную землю; и то и другое — символ омертвения. В старинных требниках есть молитвы, которые следовало читать над таким очарованным местом: после установленного молитвословия священник выдергивал закрут церковным крестом и тем отстранял его зловерное влияние.

У греков и римлян *пояс* служил эмблемою девственности, подобно тому, как в нашем сказочном эпосе девица представляется под символом замкнутого ларчика, ключом от которого владеет ее будущий супруг. Всякая девица подпоясывалась шерстяным поясом, который разрешался в первую брачную ночь ее мужем (см. Одиссею, песня XI, стихи 245—6).

Во время родов узлы и пояс почитаются вредными, потому что с ними нераздельно понятие связывания, замыкания, а в настоящем случае нужно, чтобы женщина *разрешилась* от бремени (нем. *entbunden werden*), чтобы ребенку был свободный, открытый путь. Влияние языка обнаружилось в создании следующих поверий: на родильнице не должно быть ни одного узла, даже расплетают ей косу. Но этого недостаточно: при трудных родах призывают отца и заставляют его развязать или ослабить пояс, отстегнуть воротник сорочки, распуścić учкур (поясок у штанов) и в то же время открывают у печи заслонку, отпирают сундуки и выдвигают все ящики. Во многих местах, во время трудных родов, просят священника отворить царские врата в храме, а повивальная бабка читает при этом «Сон пресвятой богородицы». В Курской губернии страждущую родильницу переводят троекратно через *порог* избы, чтобы ребенок скорее *переступил порог своего заключения* и явился на свет из утробы матери. В Германии думают, что сложенные вместе руки и поставленные одна на другую ноги мешают родильнице разродиться. В новогреческой сказке муж, покидая свою беременную жену, опоясывает ее поясом и говорит: «Ты не прежде родишь дитя, пока я не расстегну тебе этого пояса!» — и она действительно не могла разрешиться до того часу, пока не обрела своего мужа и пока он не разрешил ее пояса. В албанской редакции этой сказки муж, вместо пояса, запирает чрево жены своей серебряным ключом.

Сходно с этими данными, если умирающий долго мучится, то, чтобы душа скорее *рассталась* с телом, делают отверстие в потолке и в кровле избы или отворяют окно: обычай этот известен и в России и в Германии. Продолжительная агония отходящего в иной мир и трудные роды родильницы заставляют германских простолюдинов отворять дверь, отпирать окно и приподымать с крыши несколько черепиц или драницу. Душа представлялась связанною с телом до той поры, пока не являлась Смерть и не разрезывала соединяющей их нити, выпряденной парками. Освобожденная от земных уз, душа улетает в открытое для нее отверстие. Во многих деревнях, по выносе покойника со двора, *запирают ворота*, а в некоторых даже *завязывают их красным поясом*, чтобы вслед за умершим хозяином не *сошли со двора* его родичи иivotы, т. е. чтобы не перемерли и другие члены семьи и домашний скот. Желание скрыть от Смерти дорогу в людское жилище вызвало обычай выносить труп усопшего не в те *двери*, которыми ходят живые, а в какое-нибудь нарочно сделанное отверстие, которое потом снова *закрывалось*. Так германцы в языческую эпоху разбирали для того стену и выносили мертвеца *спиною вперед* либо прокапывали отверстие под стеною и сквозь него выносили покойника. Ныне обычай этот соблюдается там только с трупами злодеев и самоубийц, которых выносят не дверями, а чрез отверстия под порогом или стеною. Нестор рассказывает, что когда умер Владимир святой, то «ночью *между клетми проиравше помост*, обертевше в ковер и ужи свесиша на землю» отнесли его тело в церковь. Народные русские рассказы доселе сохраняют воспоминание о том, что мертвые выносились сквозь отверстие, прорытое под порогом.

Множество других поверий и обрядов, живущих в народе, возникло из того же источника. Приведем наиболее любопытные примеры: а) чтобы ребенок стал скорее ходить, для этого на Руси *разрезают ножом промеж его ног те невидимые путы*, которые задерживают его ходу; б) увидевши первый цвет на огурцах, тыквах, арбузах или дынях, хозяйка *перевязывает огудину красною ниткою из пояса* и произносит: «Як густо сей пояс вязався, щоб так и мои огурочки густо *вязались* у пупянки в огудини». Здесь высказывается желание, чтобы не было пустоцвету; цвет, зарождающий плод, называ-

ется *завязью*, и на этом слове создан самый заговор и сопровождающий его обряд; с) того, кто сажал в печь свадебный каравай, подвязывают утиральником и сажают на покутье, чтоб каравай *не разошелся, не расплылся*; д) *круговая линия*, как замкнутая со всех сторон, получила в народных верованиях значение охранительной черты, защищающей человека от зловредного действия колдовства и от покушений нечистой силы. Через круговую черту не может переступить ни злой дух, ни ведьма, ни самая Смерть; против чумы и других повальных болезней опахивают кругом деревни и села; при добычании кладов и цвета папоротника, при совершении различных чар и произнесении заклятий очерчивают себя круговой линией, для охраны от демонского наваждения. На Украине дети, завидя полет диких гусей, причитывают: «Гуси-гуси! *завяжу* вам дорогу, щоб не втрапили до дому», или «Гуси-гуси! *колесом*, червонним поясом»,— и думают, что от этих слов гуси закружатся на одном месте. У лужичан перед Рождеством дают курам корм, *окружая его цепью или обручем*, чтобы они клали яйца дома: этот обряд есть науза, замыкающая птицу в границах хозяйского двора. В Моложском уезде не обводят новобрачных вокруг стола, чтобы молодая не была бесплодна, т. е. чтобы не замкнуть ее плодородия круговою чертою. С дующими ветрами фантазия сочтала представление о буйных, неистовых, всесокрушающих существах, которым удалось вырваться на свободу; в тихое время они сидят в заключении, окованные и связанные своим владыкою. Норманны и вообще жители северных поморий верили, что колдуны могли продавать ветры мореплавателям, давая им *ремни с волшебными узлами*: когда развязывали на ремне один узел—начинали дуть тихие и благоприятные ветры, развязывали другой узел—ветры крепчали, а вслед за разрешением третьего узла—подымалась страшная буря.

Указанных примеров, я думаю, достаточно, чтобы увидеть, как важно и значительно влияние языка на образование народных поверий и обычаев и как необходимо занимающимся изучением народного быта и старины обращаться к пособию филологии. Опираясь на действительные факты, наука эта ясно доказала, что духовная сторона человека, мир его убеждений и верований в глубокой древности не были вполне свободным

делом, а неизбежно подчинялись материальным условиям, лежавшим столько же в природе окружающих его предметов и явлений, сколько и в звуках родного языка. Слово человеческое, по мнению наших предков, наделено было властительною, чародейною и творческою силою; и предки были правы, признавая за ним такое могущество, хотя и не понимали, в чем именно проявляется эта сила. Слово, конечно, не может заставить светить солнце или падать дождь, как верили язычники; но если не внешнею природою, зато оно овладело внутренним миром человека и там заявило свое чарующее влияние, создавая небывалые отношения и образы и заставляя младенческие племена на них основывать свои нравственные и религиозные убеждения. Часто из одного названия, из одного метафорического выражения, как из зерна, возникает целый ряд примет, верований и обрядов, опутывающих жизнь человеческую тяжелыми цепями, и много-много нужно было усилий, смелости, энергии, чтобы разорвать эту невидимую сеть предрасудков и взглянуть на божий мир светлыми очами!

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИФА, МЕТОД И СРЕДСТВА ЕГО ИЗУЧЕНИЯ

Богатый и можно сказать — единственный источник разнообразных мифических представлений есть живое слово человеческое, с его метафорическими и созвучными выражениями. Чтобы показать, как необходимо и естественно создаются мифы (басни), надо обратиться к истории языка. Изучение языков в разные эпохи их развития, по уцелевшим литературным памятникам, привело филологов к тому справедливому заключению, что материальное совершенство языка, более или менее возделанного, находится в обратном отношении к его историческим судьбам: чем древнее изучаемая эпоха языка, тем богаче его материал и формы и благоустроеннее его организм; чем более станешь удаляться в эпохи позднейшие, тем заметнее становятся те потери и увечья, которые претерпевает речь человеческая в своем строении. Поэтому в жизни языка, относительно его организма, наука различает два различные периода: период его образования, постепенного сложения (*развития форм*) и период упад-

ка и расчленения (*превращений*). Первый период бывает продолжителен; он задолго предшествует так называемой исторической жизни народа, и единственным памятником от этой глубочайшей старины остается слово, запечатлевающее в своих первоначальных выражениях весь внутренний мир человека. Во второй период, следующий непосредственно за первым, прежняя стройность языка нарушается, обнаруживается постепенное падение его форм и замена их другими, звуки мешаются, перекрещиваются; этому времени по преимуществу соответствует забвение коренного значения слов. Оба периода оказывают весьма значительное влияние на создание баснословных представлений.

Всякий язык начинается с образования корней или тех основных звуков, в которых первобытный человек обозначал свои впечатления, производимые на него предметами и явлениями природы; такие корни, представляющие собою безразличное начало и для имени и для глагола, выражали не более как *признаки, качества*, общие для многих предметов и потому удобно прилагаемые для обозначения каждого из них. Возникавшее понятие пластически обрисовывалось словом, как верным и метким *эпитетом*. Такое прямое, непосредственное отношение к звукам языка и после долго живет в массе простого, необразованного населения. Еще до сих пор в наших областных наречиях и в памятниках устной народной словесности слышится та образность выражений, которая показывает, что слово для простолюдина не всегда есть только знак, указывающий на известное понятие, но что в то же время оно живописует самые характеристические оттенки предмета и яркие, картинные особенности явления. Приведем примеры: *зыбун* — неокрепший грунт земли на болоте, *пробежь* — проточная вода, *леи* — (от глагола лить) — проливные дожди, *сеногной* — мелкий, но продолжительный дождь, *листодер* — осенний ветер, *поползуха* — метель, которая стелется низко по земле, *одран* — тощая лошадь, *лизун* — коровий язык, *куроцап* — ястреб, *каркун* — ворон, *холодянка* — лягушка, *полоз* — змей, *изъедуха* — злобный человек и проч.; особенно богаты подобными речениями народные загадки: *мигай* — глаз, *сморкало*, *сопай* и *нюх* — нос, *летайло* — язык, *зевало* и *ядало* — рот, *грабилки* и *махалы* — руки, *понура* — свинья, *лепета* — собака, *живулечка* — дитя и многие другие, в которых находим пря-

мое, для всех очевидное указание на источник представления*. Так как различные предметы и явления легко могут быть сходны некоторыми своими признаками и в этом отношении производят на чувства одинаковое впечатление, то естественно, что человек стал сближать их в своих представлениях и придавать им одно и то же название, или по крайней мере названия, производные от одного корня. С другой стороны, каждый предмет и каждое явление, смотря по различию своих свойств и действий, могли вызвать и в самом деле вызывали в душе человеческой не одно, а многие и разнородные впечатления. От того, по разнообразию признаков, одному и тому же предмету или явлению придавалось по несколько различных названий. Предмет обрисовывался с разных сторон и только во множестве синонимических выражений получал свое полное определение. Но должно заметить, что каждый из этих синонимов, обозначая известное качество одного предмета, в то же самое время мог служить и для обозначения подобного же качества многих других предметов и таким образом связывать их между собою. Здесь-то именно кроется тот богатый родник *метафорических* выражений, чувствительных к самым тонким оттенкам физических явлений, который поражает нас своею силою и обилием в языках древнейшего образования и который впоследствии, под влиянием дальнейшего развития племен, постепенно иссякает. В обыкновенных санскритских словарях находится 5 названий для руки, 11 для света, 15 для облака, 20 для месяца, 26 для змеи, 35 для огня, 37 для солнца и т. д. В незапамятной древности значение корней было осязательно, присуще сознанию народа, который с звуками родного языка связывал не отвлеченные мысли, а те живые впечатления, какие производили на его чувства видимые предметы и явления. Теперь представим, какое смешение понятий, какая путаница представлений должны были произойти при забвении коренного значения слов; а такое забвение рано или поздно, но непременно постигает народ. То сочувственное созерцание природы, которое сопровождало человека в период создания языка, впоследствии, когда уже перестала чувствоваться потребность в новом творчестве, постепенно ослабевало. Более

* «*Виса* висит, *хода* ходит, *виса* впала, *хода* съела», — говорит народная загадка про древесный плод (яблоко, грушу, желудь) и *свиною*.

и более удаляясь от первоначальных впечатлений и стараясь удовлетворить вновь возникающим умственным потребностям, народ обнаруживает стремление обратить созданный им язык в твердо установившееся и послушное орудие для передачи собственных мыслей. А это становится возможным только тогда, когда самый слух утрачивает свою излишнюю чуткость к произносимым звукам, когда силою долговременного употребления, силою привычки слово теряет наконец свой исконный живописующий характер и с высоты поэтического, картинного изображения нисходит на степень абстрактного наименования — делается не чем более, как фонетическим знаком для указания на известный предмет или явление, в его полном объеме, без исключительного отношения к тому или другому признаку. Забвение корня в сознании народном отнимает у всех образовавшихся от него слов их естественную основу, лишает их почвы, а без этого память уже бессильна удержать все обилие словозначений; вместе с этим связь отдельных представлений, державшаяся на родстве корней, становится недоступною. Большая часть названий, данных народом под наитием художественного творчества, основывалась на весьма смелых метафорах. Но как скоро были порваны те исходные нити, к которым они были прикреплены изначала, метафоры эти потеряли свой поэтический смысл и стали приниматься за простые, непереносные выражения и в таком виде переходили от одного поколения к другому. Понятные для отцов, повторяемые по привычке детьми, они явились совершенно неразгаданными для внуков. Сверх того, переживая века, дробясь по местностям, подвергаясь различным географическим и историческим влияниям, народ и не в состоянии был уберечь язык свой во всей неприкосновенности и полноте его начального богатства; старели и вымирали прежде употребительные выражения, отживали век грамматические формы, одни звуки заменялись другими родственными, старым словам придавалось новое значение. Вследствие таких вековых утрат языка, превращения звуков и подновления понятий, лежавших в словах, исходный смысл древних речений становился все темнее и загадочнее, и начинался неизбежный процесс мифических обольщений, которые тем крепче опутывали ум человека, что действовали на него неотразимыми убеждениями родного слова. Стоило только забыться, затеряться первоначальной связи

понятий, чтобы метафорическое уподобление получило для народа все значение действительного факта и послужило поводом к созданию целого ряда баснословных сказаний. Светила небесные уже не только в переносном, поэтическом смысле именуется «очами неба», но в самом деле представляются народному уму под этим живым образом, и отсюда возникают мифы о тысячеглазом, неусыпном ночном страже — Аргусе¹ и одноглазом божете солнца; извилистая молния является огненным змеем, быстролетные ветры наделяются крыльями, владыка летних гроз — огненными стрелами. В начале народ еще удерживал сознание о тождестве созданных им поэтических образов с явлениями природы, но с течением времени это сознание более и более ослабевало и наконец совершенно терялось; мифические представления отделялись от своих стихийных основ и принимались как нечто особое, независимо от них существующее. Смотря на громоносную тучу, народ уже не усматривал в ней Перуновой колесницы, хотя и продолжал рассказывать о воздушных поездах бога-громовника и верил, что у него действительно есть чудесная колесница. Там, где для одного естественного явления существовали два, три и более названий, — каждое из этих имен давало обыкновенно повод к созданию особенного, отдельного мифического лица, и обо всех этих лицах повторялись совершенно тождественные истории; так, например, у греков рядом с Фебом находим Гелиоса². Нередко случалось, что постоянные эпитеты, соединяемые с каким-нибудь словом, вместе с ним прилагались и к тому предмету, для которого означенное слово служило метафорой: солнце, будучи раз названо *львом*, получало и его когти, и гриву и удерживало эти особенности даже тогда, когда позабывалось самое животненное уподобление. Под таким чарующим воздействием звуков языка слагались и религиозные, и нравственные убеждения человека. «Человек (сказал Бэкон³) думает, что ум управляет его словами, но случается также, что слова имеют взаимное и возвратное влияние на наш разум. Слова, подобно татарскому луку, действуют обратно на самый мудрый разум, сильно путают и извращают мышление». Высказывая эту мысль, знаменитый философ, конечно, не предчувствовал, какое блистательное оправдание найдет она в истории верований и культуры языческих народов. Если переложить простые, общепринятые нами выраже-

ния о различных проявлениях сил природы на язык глубочайшей древности, то мы увидим себя отовсюду окруженными мифами, исполненными ярких противоречий и несообразностей: одна и та же стихийная сила представлялась существом и бессмертным и умирающим, и в мужском и в женском поле, и супругом известной богини и ее сыном, и так далее, смотря по тому, с какой точки зрения посмотрел на нее человек и какие поэтические краски придал таинственной игре природы. Ничто так не мешает правильному объяснению мифов, как стремление систематизировать, желание подвести разнородные предания и поверья под отвлеченную философскую мерку, чем по преимуществу страдали прежние, ныне уже отжившие методы мифотолкования. Не имея прочных опор, руководясь только собственной, ничем не сдержанною догадкою, ученые, под влиянием присущей человеку потребности уловить в бессвязных и загадочных фактах сокровенный смысл и порядок, объясняли мифы каждый по своему личному разумению; одна система сменяла другую, каждое новое философское учение рождало и новое толкование старинных сказаний, и все эти системы, все эти толкования так же быстро падали, как и возникали. Миф есть древнейшая поэзия, и как свободны и разнообразны могут быть поэтические воззрения народа на мир, так же свободны и разнообразны и создания его фантазии, живописующей жизнь природы в ее ежедневных и годовых превращениях. Живой дух поэзии не легко поддается сухому формализму ума, желающему все строго разграничить, всему дать точное определение и согласить всевозможные противоречия; самые любопытные подробности преданий остались для него неразгаданными или объяснены с помощью таких хитрых отвлеченностей, которые нисколько не вяжутся со степенью умственного и нравственного развития младенческих народов. Новый метод мифотолкования потому именно и заслуживает доверия, что приступает к делу без наперед составленных выводов и всякое свое положение основывает на прямых свидетельствах языка: правильно поняты, свидетельства эти стоят крепко, как правдивый и неопровержимый памятник старины.

Следя за происхождением мифов, за их исходным, первоначальным значением, исследователь постоянно должен иметь в виду и их дальнейшую судьбу. В историческом развитии своем мифы подвергаются значительной

переработке. Особенно важны здесь следующие обстоятельства: а) *раздробление мифических сказаний*. Каждое явление природы, при богатстве старинных метафорических обозначений, могло изображаться в чрезвычайно разнообразных формах; формы эти не везде одинаково удерживались в народной памяти: в разных ветвях населения выказывалось преимущественное сочувствие к тому или другому сказанию, которое и хранилось как святыня, тогда как другие сказания забывались и вымирали. Что было забываемо одною отраслью племени, то могло уцелеть у другой, и наоборот, что продолжало жить там, то могло утратиться здесь. Такое разъединение тем сильнее заявляло себя, чем более помогали ему географические и бытовые условия, мешавшие близости и постоянству людских сношений. б) *Низведение мифов на землю и прикрепление их к известной местности и историческим событиям*. Те поэтические образы, в каких рисовала народная фантазия могучие стихии и их влияние на природу, почти исключительно были заимствуемы из того, что окружало человека, что по тому самому было для него и ближе и доступнее; из собственной житейской обстановки брал он свои наглядные уподобления и заставлял божественные существа творить то же на небе, что делал сам на земле. Но как скоро утрачено было настоящее значение метафорического языка, старинные мифы стали пониматься буквально, и боги мало-помалу унизились до человеческих нужд, забот и увлечений и с высоты воздушных пространств стали низводиться на землю, на это широкое поприще народных подвигов и занятий. Шумные битвы их во время грозы сменились участием в людских войнах; ковка молниеносных стрел, весенний выгон дождевых облаков, уподобляемых дойным коровам, борозды, проводимые в тучах громами и вихрями, и рассыпание плодоносного семени-дождя заставили видеть в них кузнецов, пастухов и пахарей; облачные сады, и горы, и дождевые потоки, вблизи которых обитали небесные боги и творили свои славные деяния, были приняты за обыкновенные земные леса, скалы и источники, и к этим последним прикрепляются народом его древние мифические сказания. Каждая отдельная часть племени привязывает мифы к своим ближайшим урочищам и чрез то налагает на них местный отпечаток. Низведенные на землю, поставленные в условия человеческого быта, воинственные боги утрачивают свою не-

доступность, нисходят на степень героев и смешиваются с давно усопшими историческими личностями. Миф и история сливаются в народном сознании; события, о которых повествует последняя, вставляются в рамки, созданные первым; поэтическое предание получает историческую окраску, и мифический узел затягивается еще крепче. с) *Нравственное (этическое) мотивирование мифических сказаний.* С развитием народной жизни, когда в отдельных ветвях населения обнаруживается стремление сплотиться воедино, необходимо возникают государственные центры, которые вместе с тем делают и средоточиями духовной жизни; сюда-то приносится все разнообразие мифических сказаний, выработанных в различных местностях; несходства и противоречия их бросаются в глаза, и рождается естественное желание примирить все замеченные несогласия. Такое желание, конечно, чувствуется не в массах простого народа, а в среде людей, способных критически относиться к предметам верования, в среде ученых, поэтов и жрецов. Принимая указания мифов за свидетельства о действительной жизни богов и их творческой деятельности и стараясь по возможности устранить все сомнительное, они из многих однородных редакций выбирают одну, которая наиболее соответствует требованиям современной нравственности и логики; избранные предания они приводят в хронологическую последовательность и связывают их в стройное учение о происхождении мира, его кончине и судьбах богов. Так возникает *канон*, устрояющий царство бессмертных и определяющий узаконенную форму верований. Между богами устанавливается иерархический порядок; они делятся на высших и низших; самое общество их организуется по образцу человеческого, государственного союза, и во главе его становится верховный владыка с полною царственною властью. Степень народной культуры оказывает несомненное влияние на эту работу. Новые идеи, вызываемые историческим движением жизни и образованием, овладевают старым мифическим материалом и мало-помалу одухотворяют его: от стихийного, материального значения представление божества возвышается до идеала духовного, нравственно-разумного. Так, могучий Один из властителя бурь и гроз переходит в представители народного германского духа; облачные девы (норны и музы) получают характер мудрых

вещательниц судеб, наделяющих смертных дарами предвиденья и поэтического вдохновения.

Итак, зерно, из которого вырастает мифическое сказание, кроется в первоизданном слове; там, следовательно, и ключ в разгадке басни, но чтобы воспользоваться им, необходимо пособие *сравнительной филологии*. Наука о языке сделала в последнее время огромные успехи; в широкой, разнообразной и изменчивой области человеческого слова, где еще недавно видели или необъяснимое чудо, сверхъестественный дар, или искусственное изобретение, она указала строгие, органические законы; в прихотливых разливах языков и наречий, на которых выражается человечество, определила группы более или менее родственных потоков, изшедших из одного русла, и вместе с этим начертила верную картину расселения племен и их кровной близости. Так называемые индоевропейские языки, к отделу которых принадлежат и наречия славянские, суть только разнообразные видоизменения одного древнейшего языка, который был для них тем же, чем позднее для наречий романских был язык латинский,— с тою, однако ж, разницей, что в такую раннюю эпоху не было литературы, чтобы сохранить нам какие-нибудь остатки этого праязыка. Племя, которое говорило на этом древнейшем языке, называло себя ариями, и от него-то, как многоплодные отрасли от родоначального ствола, произошли народы, населяющие почти всю Европу и значительную часть Азии. Каждый из новообразовавшихся языков, развиваясь исторически, многое терял из своих первичных богатств, но многое и удерживал, как залог своего родства с прочими арийскими языками, как живое свидетельство их былого единства. Только путем сравнительного изучения можно доискаться действительных корней слов и с значительною точностью определить ту сумму речений, которая принадлежала еще отдаленному времени ариев, а с тем вместе определить круг их понятий и самый быт; ибо в слове заключена внутренняя история человека, его взгляд на самого себя и природу. Принято те представления, какие у всех или большинства индоевропейских народов обозначаются родственными звуками, относить к той давней эпохе, когда означенные народы существовали, так сказать, в возможности, когда они сливались еще в одно прародительское племя. После того, как племя это раздробилось на отдельные ветви и разошлось в разные

стороны, каждая ветвь, согласно с вновь возникавшими потребностями, продолжала создавать для себя новые выражения, но уже налагала на них свою особенную, национальную печать. Один и тот же предмет, с которым познакомились народы после своего разобщения, они начинают называть разными именами, смотря по тому, какое применение давалось ему здесь и там в житейских нуждах, или по тому, какие из его признаков наиболее поражали народное воображение. Первые страницы истории человечества навсегда бы остались белыми, если бы не явилась на помощь сравнительная филология, которая, по справедливому замечанию Макса Мюллера⁴, дала ученым в руки такой телескоп, что там, где прежде могли мы видеть одни туманные пятна, теперь открываем определенные образы. Анализируя слова, возводя их к начальным корням и восстанавливая забытый смысл этих последних, она открыла нам мир доисторический, дала средства разгадать тогдашние нравы, обычаи, верования, и свидетельства ее тем драгоценнее, что старина выражается и перед нами теми же самыми звуками, в каких некогда выражалась она первобытному народу. Хотя наука и далека еще от тех окончательных выводов, на которые имеет несомненное право, тем не менее сделано много. Замечательная попытка восстановить, по указаниям, сбереженным в архиве языка, стародавний быт ариев принадлежит Пикте⁵; задаче этой он посвятил два больших, превосходно составленных тома «*Les origines Indo-européennes ou les Aryas primitifs*»*. Тщательный разбор слов, происхождение которых относится к арийскому периоду, свидетельствует, что племя, гением которого они созданы, обладало языком вполне образовавшимся и чрезвычайно богатым, что оно вело жизнь наполовину пастушескую, кочевую, наполовину земледельческую, оседлую, что у него были прочные семейные и общественные связи и известная степень культуры: оно умело строить села, города, пролагать дороги, делать лодки, готовить хлеб и опьяняющие напитки, знало употребление металлов и оружия, знакомо было с некоторыми ремеслами; из зверей — бык, корова, лошадь, овца, свинья и собака, из птиц — гусь, петух и курица уже были одомашнены. Большая часть мифических представлений индоевропей-

* «Происхождение индоевропейцев, или первых арийцев» (фр.).

ских народов восходит к отдаленному времени ариев; выделяясь из общей массы родоначального племени' и расселяясь по дальним землям, народы, вместе с богато выработанным словом, уносили с собой и самые воззрения и верования. Отсюда понятно, почему народные предания, суеверия и другие обломки старины необходимо изучать сравнительно. Как отдельные выражения, так и целые сказания и самые обряды не везде испытывают одну судьбу: искаженные у одного народа, они иногда во всей свежести сберегаются у другого; разрозненные их части, уцелевшие в разных местах, будучи сведены вместе, очень часто поясняют друг друга и без всякого насилия сливаются в одно целое. Сравнительный метод дает средства восстановить первоначальную форму преданий, а потому сообщает выводам ученого особенную прочность и служит для них необходимою проверкою. При таком изучении мифа весьма важная роль выпадает на долю санскрита и Вед⁶. Вот что об этом говорит Макс Мюллер: «К сожалению, в семье арийских языков ни один не имеет такого значения, какое для романских языков имеет язык латинский, с помощью которого мы можем определить, в какой степени первообразна форма каждого слова в языках: французском, итальянском и испанском. Санскрит нельзя назвать отцом латинского и греческого (равно как и других родственных) языков, как латинский можно назвать отцом всех романских наречий. Но хотя санскрит только брат между братьями, тем не менее брат старший, потому что его грамматические формы дошли до нас в древнейшем, более первобытном виде; вот почему, как скоро удастся проследить видоизменения какого-нибудь греческого или латинского слова до соответствующей ему формы в санскрите, это уже почти всегда даст нам возможность объяснить его построение и определить его первоначальное значение. Это имеет особенную силу в применении к именам мифологическим. Для того, чтобы какое-нибудь слово получило мифологический смысл, необходимо, чтобы в языке утратилось или затемнилось сознание первоначального, собственного значения этого слова. Таким образом, слово, которое в одном языке является с мифологическим значением, очень часто в другом имеет совершенно простой и общепонятный смысл», или по крайней мере легко может быть объяснено при помощи уцелевших в нем речений, производных от того же корня. «Так на-

зывается индусская мифология имеет мало или вовсе не имеет значения для сравнительных исследований. Все сказания о Шиве, Вишну, Магадеве⁷ и пр. позднего происхождения: они возникли уже на индийской почве (т. е. уже после выделения индусов из общеарийской семьи). Но между тем, как позднейшая мифология Пуран⁸ и эпических поэм не представляет почти никакого материала для занимающегося сравнительной мифологией, в Ведах сохранился целый мир первобытной, естественной и удобопонятной мифологии. Мифология Вед для сравнительной мифологии имеет то же самое значение, какое санскрит — для сравнительной грамматики. К счастью, в Ведах мифология не успела еще сложиться в определенную систему. Одни и те же речения употребляются в одном гимне как нарицательные, в другом — как имена богов; одно и то же божество занимает разные места, становится то выше, то ниже остальных богов, то уравнивается с ними. Все существо ведийских богов, так сказать, еще прозрачно; первоначальные представления, из которых возникли эти божественные типы, еще совершенно ясны. Родословные и брачные связи богов еще не установились: отец иногда оказывается сыном, брат — мужем; богиня, которая в одном мифе является матерью, в другом играет роль жены. Менялись представления поэтов — менялись свойства и роли богов. Нигде так резко не чувствуется огромное расстояние, отделяющее древние поэтические сказания Индии от самых ранних начатков греческой литературы, как при сравнении еще не успевших установиться, находящихся еще в процессе развития ведийских мифов с достигшими полного, окончательного развития и уже разлагающимися мифами, на которых основана поэзия Гомера. Настоящая теогония⁹ арийских племен — Веда, между тем как «Теогония» Гезиода¹⁰ не более, как искаженная карикатура первоначального образа. Чтобы убедиться, в какой степени дух человеческий неизбежно подчиняется неотразимому влиянию языка во всем, что касается сверхъестественных и отвлеченных представлений, следует читать Веда. Если хотите объяснить индусу, что боги, которым он поклоняется, не более, как названия явлений природы, названия, которые мало-помалу утратили собственный, первоначальный смысл, олицетворились, наконец были обоготворены, заставьте его читать Веда». Свидетельства, сохраненные

гимнами Вед, осветили запутанный лабиринт мифических представлений и дали путеводные нити, с помощью которых удалось проникнуть в его таинственные переходы; лучшие из современных ученых постоянно пользуются этим богатым источником при своих исследованиях, и пользуются небесплодно: значительная часть добытых ими результатов стоит уже вне всяких сомнений.

Постепенность, с которою разветвлялись индоевропейские племена, не должна быть оставляема без внимания; указывая на большую или меньшую близость родства между различными народами и их языками, она в то же время может до известной степени руководить при решении вопроса об относительной давности народных сказаний: сформировались ли они на почве арийской, или в какой-нибудь главной племенной ветви, до разделения ее на новые отрасли, или наконец образовались в одной из этих последних? В первом случае сказание повсюду удерживает более или менее тождественные черты не только в основе, но и в самой обстановке; во втором случае — тождественность эта будет замечаться только у народов, происшедших от главной ветви, а в последнем — у народов, составляющих побеги одной из вторичных отраслей родословного древа. Чем позднее редакция сказания, тем теснее границы ее распространения и тем явственнее отражаются на ней национальные краски. Славяне, о которых нам придется говорить преимущественно пред всеми другими народами, — славяне прежде, нежели явились в истории как самобытное, обособившееся племя, жили единою, нераздельною жизнью с литовцами; славяно-литовское племя выделилось из общего потока германо-славяно-литовской народности, а эта последняя составляет особо отделившуюся ветвь ариев. Итак, хотя славяне и состоят в родстве со всеми индоевропейскими народами, но ближайшие кровные узы соединяют их с племенами немецким и еще более — литовским.

Изо всего сказанного очевидно, что главнейший источник для объяснения мифических представлений заключается в языке. Воспользоваться его указаниями — задача широкая и нелегкая; к допросу должны быть призваны и литературные памятники прежних веков, и современное слово, во всем разнообразии его местных, областных отличий. Старина открывается исследователю не только в произведениях древней письменности; она и донныне

звучит в потоках свободной, устной речи. *Областные словари* сохраняют множество стародавних форм и выражений, которые столько же важны для исторической грамматики, как и для бытовой археологии; положительно можно сказать, что без тщательного изучения провинциальных особенностей языка многое в истории народных верований и обычаев останется темным и неразгаданным. Сверх того, как часто выражение обиходное, общеупотребительное, по-видимому, ничтожное для науки, при более внимательном разборе его дает любопытное свидетельство о давно позабытом, отжившем представлении. Просвещение, подвинутое христианством, могло одухотворить материальный смысл тех или других слов, поднять их до высоты отвлеченной мысли, но не могло изменить их внешнего состава; звуки остались те же, и с помощью ученого анализа позднейшая мысль, наложенная на слово, может быть снята и первоначальное его значение восстановлено. Особенною силою и свежестью дышит язык эпических сказаний и других памятников устной словесности; памятники эти крепкими узами связаны с умственными и нравственными интересами народа, в них запечатлены результаты его духовного развития и заблуждений, а потому, вместе с живущими в народе преданиями, поверьями и обрядами, они составляют самый обильный материал для мифологических исследований. Летописные свидетельства о дохристианском быте славян слишком незначительны, и, ограничиваясь ими, мы никогда не узнали бы родной старины, тогда как указанные источники дают возможность начертить довольно полную и верную ее картину. Поэтому считаем бесполезным предпослать несколько кратких заметок о памятниках народной литературы, свидетельствами которых придется нам постоянно пользоваться.

1. *Загадка*. Народные загадки сохранили для нас обломки старинного метафорического языка. Вся трудность и вся сущность загадки именно в том и заключается, что один предмет она старается изобразить чрез посредство другого, какой-нибудь стороною аналогического с первым. Кажущееся бессмыслие многих загадок удивляет нас только потому, что мы не постигаем, что мог найти народ сходного между различными предметами, по-видимому, столь непохожими друг на друга; но как скоро поймем это уловленное народом сходство, то не

будет ни странности, ни бессмыслия. Приведем несколько примеров: «Черненька *собачка*, свернувшись, лежит; не лает, не кусает, а в дом не пускает» (замок); «Легит *баран* — не столько шерсти на нем, сколько ран» (колода, на которой дрова рубят); «В хлеву у *быка* копна на рогах, а хвост на дворе у бабы в руках» (ухват с горшком); «Сивая *кобыла* по полю ходила, к нам пришла — по рукам пошла» (сито); «Сквозь *лошадь и корову свињи* лен волокут» (тачать сапоги). С первого взгляда кажется нелепостью назвать замок — собакою, колоду — бараном, ухват — быком, сито — кобылою; но если взглянем пристальнее, то увидим, что собака послужила метафорой для замка, потому что она так же сторожит хозяйское добро, как и запертый замок; крепкий удар бараньего лба заставил уподобить этому животному деревянные орудия, употреблявшиеся в старину для разбития стен и оград, а потому и всякая свая, колода могла назваться бараном; ухват своими распорками (вилами) напоминает рога быка, почему в некоторых областных наречиях он называется *рогач*; сито готовится из конского волоса, и в приведенной загадке *целое* поставлено вместо *части*; то же и в загадке, означающей «тачать сапоги»: сквозь лошадь и корову, т. е. сквозь конскую и коровью кожи (подошву и юфть), свињи, т. е. щетина на конце нити, лен волокут. Загадка: «*Царь Костянтин гонит кони через тын* (гребешок) покажется более нежели странною, если не обратим внимания на ее малорусские варианты: «Зубчатый *косян* через гору свињи гнав», или: «*Маленьке-косяненьке* хочь з якого лесу густого скот выжене», т. е. гребешок вычесывает из волос вшей; назван он царем Константином по созвучию этого имени с словом «косяной». Подобно тому веник получил в загадках название *Митя*, по созвучию этого слова с глаголом *мести, мету*: «Туда Митя, сюда Митя (первоначальная форма, конечно, была: туда *мете*, сюда *метё*), и под лавку ушел».

В то время, когда корни слов затемняются для народного сознания, богатый метафорический язык древнейшей эпохи, сроднивший между собой разнообразные предметы и явления, делается для большинства малодоступным, *загадочным*, хотя и надолго удерживается в народе силою привычки и сочувствием к старинному выражению. Только избранные, *вещие* люди могут объяснить его смысл; но с течением времени и они мало-помалу

теряют исходную нить и забывают те мотивы, которыми руководствовалась фантазия при создании тех или других метафорических названий. Связь между известным предметом или явлением и его образным представлением память народная удерживает целые столетия, но истинный смысл этой связи, как и почему она возникла? — утрачивается, и уловить его без пособия науки невозможно. Стройный эпический склад народных загадок, необыкновенная смелость сближений, допускаемых ими, и та наивность представлений, которая составляет их наиболее характеристическое свойство, убедительно свидетельствуют за их глубокую древность. Хотя и в позднейшее время сочинялись, по образцу старинных загадок, новые, но в них нетрудно уже заметить большее или меньшее отсутствие художественного такта и творческой силы. Так как происхождение загадок тесно связано с образованием метафорического языка, то понятно, какой важный материал представляют они для исследований мифологических, и особенно те из них, которые наименее доступны непосредственному пониманию, а требуют для своего разъяснения ученого анализа. В них запечатлел народ свои старинные воззрения на мир божий: смелые вопросы, заданные пытливым умом человека о могучих силах природы, выразились именно в такой форме. Такое близкое отношение загадки к мифу придало ей значение таинственного ведения, священной мудрости, доступной преимущественно существам божественным. У греков задает загадки чудовищный сфинкс; в скандинавской Эдде боги и великаны состязаются в мудрости, задавая друг другу загадки мифического содержания, и побежденный должен платить своею головою. Славянские предания загадыванье загадок приписывают Бабе-Яге, русалкам и вилам; как лужицкая полудница наказывает смертью того, кто не сумеет отвечать на ее мудреные вопросы, так и наши русалки готовы защекотать всякого, кто не разрешит заданной ими загадки. Ответы древних оракулов, поучения кельтских друидов, предсказания вещих людей обыкновенно облекались в этот таинственный язык и в кратких изречениях ходили в народе, как выражения высшего разума и правдивого взгляда на жизнь и природу. Ученая разработка загадок доставит исследователю много драгоценных указаний на языческую старину, которыми рано или поздно наука непременно воспользуется; но само собою разумеется, что, трудясь над

раскрытием истинного смысла загадочных выражений, должно постоянно иметь в виду связь их со всеми другими преданиями и поверьями, и с устной народной речью. Все это может показаться сомнительным только тому, кто привык видеть в загадке одну пустую забаву, в которую обратилась она в позднейшее время. Но ведь и другие остатки язычества из религиозного обряда и мифического сказания выродились в праздную забаву и досужую игру, подобно тому, как некогда обоготворенные прекрасные истуканы Аполлона и Афродиты в наше время не более, как изящные произведения, назначенные украшать сады и залы. Впрочем, наш простолудин *не всегда* забавляется загадками: бывает в году пора, когда он считает обрядовым долгом задавать загадки и разрешать их — это праздник Коляды¹¹. Хитрое препирание загадками составляет любимый эпический прием у всех младенческих народов; на нем основаны многие произведения старинной книжной литературы, народные сказки, песни и знаменитый стих о Голубиной книге, исполненный любопытных космогонических преданий.

2. *Пословицы, поговорки, присловья, прибаутки* мало представляют осязательных намеков на языческие верования; но они важны, как выразительные, меткие, по самой форме своей наименее подверженные искажению образцы устной народной речи и как памятники издавна сложившихся воззрений на жизнь и ее условия. Разработке этих любопытных материалов была посвящена г. Буслаевым подробная статья (во 2-й книге Архива историко-юридических сведений о России), в которой он, опираясь на свидетельства пословиц и поговорок, сумел выяснить многие черты старинного быта пастушеского и земледельческого¹². А потому, не повторяя уже высказанного прежде нас, мы заметим только, что пословицы и поговорки сливаются со всеми другими краткими изречениями народной опытности или суеверия, как-то: *клятвами, приметами, истолкованиями сновидений и врачебными наставлениями*. Эти отрывочные, нередко утратившие всякий смысл изречения примыкают к общей сумме стародавних преданий и в связи с ними служат необходимым пособием при объяснении различных мифов.

Примета всегда указывает на какое-нибудь соотношение, большею частью уже непонятное для народа, между двумя явлениями мира физического и нравствен-

ного, из которых одно служит предвестием другого, непосредственно за ним следующего, долженствующего сбыться в скором времени. Главным образом приметы распадаются на два разряда: а) во-первых — приметы, выведенные из действительных наблюдений. По самому характеру первоначального быта пастушеско-земледельческого человек всецело отдавался матери-природе, от которой зависело все его благосостояние, все средства его жизни. Понятно, с каким усиленным вниманием должен был он следить за ее разнообразными явлениями, с какою неустанною заботливостью должен был всматриваться в движение небесных светил, их блеск и потухание, в цвет зари и облаков, прислушиваться к ударам грома и дуновению ветров, замечать вскрытие рек, распускание и цветение деревьев, прилет и отлет птиц и проч. и проч. Живое воображение на лету схватывало впечатления, посылаемые окружающим миром, старалось уловить между ними взаимную связь и отношения и искало в них знамений грядущей перемены погоды, приближения весны, лета, осени и зимы, наступления жаров или холода, засухи или дождевых ливней, урожая или бесплодия. Не зная естественных законов, народ не мог понять, почему известные причины вызывают всегда известные последствия; он видел только, что между различными явлениями и предметами существует какая-то таинственная близость, и результаты своих наблюдений, своей впечатлительности выразил в тех кратких изречениях, которые так незаметно переходят в пословицы и так легко удерживаются памятью. Приметы эти более или менее верны, смотря по степени верности самых наблюдений, и многие из них превосходно обрисовывают быт поселянина. Приведем несколько примеров: если в то время, когда пашут землю, подымается пыль и садится на плечи пахаря, то надо ожидать урожайного года, т. е. земля рыхла и зерну будет привольно в мягком ложе. Частые северные сияния предвещают морозы; луна бледна — к дождю, светла — к хорошей погоде, красновата — к ветру; огонь в печи, красен — к морозу, бледен — к оттепели; если дым стелется по земле, то зимою будет оттепель, летом — дождь; если подымается вверх столбом — это знак ясной погоды летом и мороза зимою: большая или меньшая яркость северных сияний, цвет луны и огня и направление дыма определяют степень сухости и влажности

воздуха, от чего зависят также и ясная погода или ненастье, морозы или оттепель. На том же основании падение туманов на землю сулит непогоду, а туманы, подымающиеся кверху, предвещают ведро. Если зажженная лучина трещит и мечет искры — ожидай ненастья, т. е. воздух влажен и дерево отсырело.

б) Но, сверх того, есть множество примет суеверных, в основании которых лежит не опыт, а мифическое представление, так как в глазах язычника, под влиянием старинных метафорических выражений, все получало свой особенный, сокровенный смысл. Между этими приметами, на которые наталкивали человека его верования и самый язык, и приметами, порожденными знакомством с природою, таятся самая тесная связь. Древнейшее язычество состояло в обожании природы, и первые познания об ней человека были вместе с его религией; поэтому действительные наблюдения часто до того сливаются в народных приметах с мифическими воззрениями, что довольно трудно определить, что именно следует признать здесь за первоначальный источник. Многие приметы, например, вызваны, по-видимому, наблюдением над нравами, привычками и свойствами домашних и других животных. Нельзя совершенно отрицать в животных того тонкого инстинкта, которым они заранее предчувствуют атмосферные перемены; предчувствие свое они заявляют различно: перед грозой и бурей рогатый скот глухо мычит, лягушки начинают квакать, воробьи купаются в пыли, галки с криком носятся стаями, ласточки низко ширяют в воздухе, и так далее. Еще теперь поселяне довольно верно угадывают изменения погоды по хрюканью свиней, вою собак, мычанью коров и бляню овец. Народы пастушеские и звероловные, обращаясь постоянно с миром животных, не могли не обратить внимания на эти признаки и должны были составить из них для себя практические приметы. Но, с другой стороны, если взять в соображение ту важную роль, какую играют в мифологии зооморфические олицетворения светил, бури, ветров и громовых туч, то сам собою возникает вопрос: не явились ли означенные приметы плодом этих баснословных представлений? О некоторых приметах, соединяемых с птицами и зверями, положительно можно сказать, что они нисколько не соответствуют настоящим привычкам и свойствам животных, а между тем легко объ-

ясняются из мифических сближений, порожденных старинным метафорическим языком; так, например, рыжая корова, идущая вечером впереди стада, предвещает ясную погоду на следующий день, а черная — ненастье.

Древность народных примет подтверждается и их несомненным сродством с языческими верованиями, и свидетельством старинных памятников, которые причисляют их к учению «богоотметному», еретическому. «Се бо не погански ли живем,— говорит Нестор,— аще урести (в стречю) верующе? аще бо кто урещеть чернорица, то възвращается ли единец, ли свинью (или конь лыс); то не поганьскы ли се есть? Се бо по дьяволу наученю кобь сию держать, друзии же и закиханью веруют, еже бываеть на здравье главе. Но сими дьявол лстить и другими нравы, всячьскими лестьми превабляны от бога». Летописи часто упоминают о приметах по светилам и другим явлениям природы, прибавляя, что знамения эти «овы бывают на добро, а овы на зло». В слове Кирилла Туровского¹³ о мытарствах сказано: «15-е мытарство — всякая ересь, иже веруют в стречю, и в чох, и в полаз, и во птичей грай, и в ворожбу». В славянском дополнении к древнему переводу слова Григория Богослова¹⁴ читаем: «Ов присягы костью чловечами творить*, ов кобени птичь смотреть, ов съретения сумьнитъся». Подобные указания продолжают в памятниках разных веков до позднейшего времени; но самое полное исчисление суеверных примет встречаем в статье, известной под названием «О книгах истинных и ложных». Большинство списков этого индекса относится к XVI и XVII столетиям; здесь осуждаются: «сонник, волховник — волхвующе птицами и зверьми, еже есть се: стенотреск (вариант — храм трещит), ухозвон, вранограй, куроклик (т. е. крик воронов и пение петухов), окомиг, огонь бучит, пес выет, мышеписк, мыш порты изгрызет, жаба вокоче (вариант — воркочет, квогчет), мышца подрожат, сон страшен, слепца стряцет (встретить), изгорит нечто, огонь пишит, искра из огня (прянет), кошка мявкает, падет человек, свеча угаснет, конь ржет, вол на вол (вскочет), птичник (вариант — поточник различных птиц; течение — полет), пчела поет, рыба вострепещет, трава шумит, древо о древо скрипит, лист шумит, сорока поще-

* Вероятно: клянется костями предков.

кочет, дятел, жолна, волк выет, гость придет, стеношелк, полатничик. (вариант — лопаточник), путник-книга, в ней же есть писано о стречах и коби всяческая еретическая о часех о злых и о добрых...»*

Когда метафорический язык утратил свою общедоступную ясность, то для большинства понадобилась помощь вещей людей. Жрецы, поэты и чародеи явились истолкователями разнообразных знамений природы, глашатаями воли богов, *отгадчиками* и *предвещателями*. Они не только следили за теми приметам, которые посылала обожествленная природа независимо от желаний человека, но и сами допрашивали ее. В важных случаях жизни, когда народ или отдельные лица нуждались в указаниях свыше, вещие люди приступали к религиозным обрядам: возжигали огонь, творили молитвы и возлияния, приносили жертву и по ее внутренностям, по виду и голосу жертвенного животного, по пламени огня и по направлению дыма заключали о будущем; или выводили посвященных богам животных, и делали заключения по их поступи, ржанию или мычанию; точно так же полет нарочно выпущенных священных птиц, их крик, принятие и непринятие корма служили предвестиями успеха или неудачи, счастья или беды. Совершалось и множество других обрядов, с целью вызвать таинственные знамения грядущих событий. Подобно тому, как старинное метафорическое выражение обратилось в *загадку*, так эти религиозные обряды перешли в народные *гадания* и *ворожбу*. Сюда же относим мы и *сновидения*: это та же примета, только усмотренная не

* Сличы в сборнике XVIII столетия: «И пса слушают, и кошки мявкают, или гусь кокочет, или утица крикнет, и петел стоя поет, и курица поет — худо будет, конь ржет, вол ревет, и мыш порты грызет, и хорь порты портиг, и тараканов много — богату быти, и сверьцков — такожде, и мыш в жниве высоко гнездо совет — и снег велик будет и погода будет, кости болят и подколенки свербят — путь будет, и длани свербят — пенязи имать, очи свербят — плакати будуг, и встреча добрая и злая — и скотская, и птичня, и звериная, и человеческая; изба хре(у)-стит, огонь бучит, и искра прынет, и дым высоко в избе ходит — к погодую, и берег подымается, и море дичится, и ветры сухие или мокрые тянут, и облаки дождевыя и снежныя и ветренныя, и гром гремит, и буря веет, и лес шумит, и древо о древо скрипает, и волки воюг, и белки скачют — мор будет и война встанет, и вода пребудет, и плодов в лете в коем не будет или умножится, и зори смотрят, небо дряхлует (?) — ведро будет, и пчолы шумят — рой будет, и у яблони хвостики колотят, да яблоки будут велики... Сне творяще да будут прокляти».

наяву, а во сне; метафорический язык загадок, примет и сновидений один и тот же. Сон был олицетворяем язычниками, как существо божественное, и все виденное во сне почиталось внушением самих богов, намеком на что-то неведомое, чему суждено сбыться. Поэтому сны нужно *разгадывать*, т. е. выражения метафорические переводить на простой, общепонятный язык. Необходимо, однако, заметить, что исследователи должны с крайнею недоверчивостью и осторожностью пользоваться так называемыми «сонниками», и даже лучше — совсем от них отказаться. Если бы издатели сонников потрудились собрать действительно живущие в народе объяснения сновидений, это был бы драгоценный материал для науки, по важному значению для нее тех метафорических сближений, на которых, собственно, и держится истолкование снов. Но, вместо того, издание сонников всегда было делом спекулянтов, рассчитывавших на людское невежество и простодушие; составляя свои объемистые книги, они не думали собирать того, чему в самом деле верил народ, а выдумывали от себя, лгали и не останавливались ни перед каким вымыслом, только бы захватить в круг своих объяснений возможно более житейских мелочей и на каждый случай дать особенный ответ. Вера в пророческое значение сновидений и желание разгадывать их давали ход этим книгам в малообразованных классах общества, и они в свою очередь могли распространить в народе разные нелепости, неоправдываемые ни преданиями старины, ни свидетельствами языка. Потому собиратель снотолкований преимущественно и даже исключительно должен обращаться в те уединенные местности, куда не проникала еще грамотность и где старина сохраняется в большей неприкосновенности.

Чтобы нагляднее показать то важное влияние, какое имели на создание примет, гаданий, снотолкований и вообще поверий, язык и склонность народного ума во всем находить аналогию, мы приведем несколько примеров. Самые примеры выбираем такие, смысл которых ясен и без особенных ученых разысканий.

а) Не должно кормить ребенка *рыбою* — прежде, нежели минет ему год; в противном случае он долго не станет *говорить*: так как рыба *нема*, то суеверие связало с рыбною пищею представление о долгой немоте ребенка. б) Не должно есть с *ножа*, чтобы не сделаться

злым — по связи понятий убийства, резни и кровопролития с острым ножом. с) Если при весеннем разливе лед не тронется с места, а *упадет на дно* реки или озера, то год будет *тяжелый*; от *тяжести* потонувшего льда поселяне заключают о *тяжелом* влиянии грядущего лета: будет или неурожай, бескормица, или большая смертность в стадах, или другая беда. Вообще *падение* сулит несчастье, так как слово *падать*, кроме своего обыкновенного значения, употребляется еще в смысле умереть: *падеж* скота, *падаль*. Если *упадет со стены* образ — это служит знаком, что кто-нибудь умрет в доме. d) При рассадке капусты хозяйка хватается за *голову* и произносит: «Дай же, боже, час добрый! щоб моя капусточка приймалась и в *головки* *складалась*, щоб из кореня була коренистая, а из листу *голови-стая!*» Потом приседает наземь со словами: «Щоб не росла высоко, а росла *широко!*» Посадив стебель, придавливает гряду коленом: «Щоб була *туга*, як *колино!*» Закончив посадку, в начальном краю гряды ставит большой горшок дном кверху, накладывает на него камень и покрывает белым платком, с приговором: «Щоб капуста была *туга*, як *каменець*, *головата*, як *горшок*, а *бела*, як *платок!*» В день, посвященный памяти *усекновения главы* Иоанна Предтечи, крестьяне не срезавают и не рубят *капусты*; по их мнению, если приняться за эту работу, то на сечке или ноже *выступит кровь*. А при посеве проса не советуют браться за *голову* и чесаться, чтобы не было между всходами *головни* (сорной травы). е) На святой неделе стелят на лавку полотенце, на которое ставятся принесенные из церкви образа; по окончании обычного молитвословия хозяйка просит священника *вскинуть это полотенце на крышу* избы, *чтобы лен родился долгой* (высокий); если полотенце не скатится с крыши, то лен уродится хороший. В Германии, при посеве льна, хозяйка влезает на стол и прыгает на пол: «So hoch sie niedersprang, so hoch sollte der Flachs wachsen»*. У литовцев на празднике, после уборки хлеба, рослая девушка становилась на скамью на одной ноге и, поднявши левую руку вверх, призывала бога Вайсганта¹⁵: «Возрасти нам такой же длинный лен, как высока я теперь, чтоб мы не ходили голые!» За недобрую примету почиталось, если бы она

* «С какой высоты она прыгнула, на столько же должен вырасти лен» (нем.).

пошатнулась при этом обряде. f) Не должно *варить яиц там, где сидит наседка*; иначе зародыши в положенных под нее яйцах также *замрут, как и в тех, которые сварены*. Сходно с этим, кто *испечет луковицу* прежде, чем собран лук с гряд, у того он весь *засохнет*. g) В случае пореза обмакивают белую ветошку в кровь и просушивают у печки: *как высыхает тряпица, так засохнет*, т. е. затянется, и самая рана. Сушить ветошку надо слегка, не на сильном огне, а то рана еще пуще разболится. В былое время даже врачи не советовали тотчас после кровопускания ставить кровь *на печку* или *лежанку*, думая, что от этого может усилиться в больном внутренний *жар, воспаление*. h) Когда невеста моется перед свадьбою в бане и будут в печи головешки, то не следует *бить* их кочергою; не то молодой муж будет *бить* свою суженую. Для пояснения этой приметы прибавим, что пламя очага издревле принималось за эмблему домашнего быта и семейного счастья. Подруги раздевают невесту, моют и парят ее, избегая всякого *шума* и приговаривая: «Как тихо моется раба божия (такая-то), так да будет тиха ее жизнь замужняя!» В Литве думают, что вымытые детские пеленки не должно *катать на скалке*, а потихоньку перетирать в руках, чтобы не мучили ребенка желудочные боли. i) Два человека *столкнутся* нечаянно головами — знак, что им жить вместе, думать заодно (Воронежская губ.). Принимая часть за целое, народные приметы соединяют с волосами представление о голове: не должно остриженных волос *жечь* или *кидать зря*, как попало; от этого приключается *головная боль*. Крестьяне собирают свои остриженные волосы, свертывают вместе и затыкают под стреху или в тын. Чьи волосы унесет птица в свое гнездо, у того будет *колтун*, т. е. волосы на голове *собьются так же плотно, как в птичьем гнезде*. Вместе с тем волосы сделались эмблемою мысли, думы и самого характера человека. Именно такое значение придается им в чарах на любовь; по свидетельству малороссийской песни, цыганка ворожит девице:

Ой уризала русой косы
Да казака накурыла,
Уризала чорнаго чубу
И дивчыну накурыла,—

т. е. заставила казака и девицу думать друг о друге. У кого *жестки* волосы, у того, по примете, *жесткой* (кру-

той, сварливый) нрав, и наоборот, *мягкие* волосы говорят о *мягкости*, кротости характера. Как с волосами, так и с *шапкою*, назначенною покрывать голову, следует обращаться осторожно: кто играет своей шапкою, у того *заболит голова*. к) *Нога*, которая приближает человека к предмету его желаний, *обувь*, которую он при этом *стучает*, и *след*, оставляемый им на дороге, играют весьма значительную роль в народной символике. Понятиями *движения*, *поступи*, *следования* определялись все нравственные действия человека; мы привыкли называть эти действия *поступками*, привыкли говорить: *войти в сделку*, *вступить* в договор, *следовать* советам старших, т. е. как бы идти по их следам; отец *ведет* за собою детей, муж — жену, которая древле даже называлась *водимою*, и смотря по тому, как они шествуют за своими вожатыми, составляется приговор о их *поведении*; нарушение уставов называем *проступком*, *преступлением*, потому что соединяем с ним идею свращения с настоящей дороги и переступания законных границ: кто не следует общепринятым обычаям, тот человек *беспутный*, *непутевый*, *заблуждающийся*; сбившись с дороги, он осужден блуждать по сторонам, идти не прямым, а окольным путем. Выражение: «перейти кому дорогу» до сих пор употребляется в смысле: повредить чьему-либо успеху, заградить путь к достижению задуманной цели. Отсюда примета, что тому, кто отправляется из дому, не должно *переходить дороги*; если же это случится, то не жди добра. Может быть, здесь кроется основа поверья, по которому *перекрестки* (там, где одна дорога пересекает другую) почитаются за места опасные, за постоянные сборища нечистых духов. В тот день, когда уезжает кто-нибудь из родичей, поселяне не метут избы, чтобы не *замести ему следа*, по которому бы мог он снова воротиться под родную кровлю. Как метель и вихри, *заметая* проложенные следы и ломая поставленные вехи, заставляют плутать дорожных людей, так стали думать, что, уничтожая в дому следы отъехавшего родича, можно помешать его возврату. По стародавнему верованию колдун может творить чары «на след»; «повредить или уничтожить след» означало метафорически: отнять у человека возможность движения, сбить его с ног, заставить слечь в постель. И на Руси, и в Германии чара эта совершается одинаково: колдун снимает широким ножом след

своего противника, т. е. вырезывает землю или дерн, на котором стояла его нога, и вырезанный ком *сжигает в печи* или *вешает в дымовой трубе*; как *сохнет* дерн и земля, так *высохнет-исчухнет* и тот несчастный, из чей след творится чара; лошадь, по немецкому поверью, может *охрометь, если воткнуть гвоздь в ее свежий след*. Литовцы вынутый след *зарывали на кладбище* и верили, что человек ради этого должен умереть в скором времени, т. е. *отправиться по своему следу* в жилище усопших. Допускалось еще следующее применение: подобно тому, как охотник добирается по следам до зверя, так злой враг может добраться по свежим следам до человека и причинить ему гибель; поэтому, спасаясь от колдуна или ведьмы, должно бежать задом наперед («пятиться»), чтобы обмануть их обратным направлением ступни. В народных гаданиях и приметах нога и обувь вещают о выходе из отеческого дома: «подколенки свербят — путь будет» — сказано в старинном сборнике при исчислении различных суеверий. На святках девицы бросают свои башмаки (или лапти) и потом присматриваются: в какую сторону упал башмак *носком* — в той стороне быть замужем. Если *башмак ляжет носком к воротам*, это предзнаменует скорое замужество, *выход* в чужую семью. *Ворота* указывают на предстоящий отъезд; то же предвешание соединяют и с *дверями*. У лужичан девица, становясь посреди избы, бросает свой башмак через левое плечо к дверям, и если он *вылетит вон из комнаты* — то быть ей вскоре просватанной, а если нет — то оставаться при отце, при матери. На Руси мать завязывает дочери глаза, водит ее взад и вперед по избе и затем пускает идти, куда хочет. Если случай приведет девушку в *большой угол* или к *дверям* — это служит знаком близкого замужества, а если к печке — то оставаться ей дома, под защитою родного очага. Большой угол потому предвещает свадьбу, что там стоят иконы и оттуда достается образ, которым благословляют жениха и невесту. Сваха, являясь с предложением к родителям невесты, старается усесться на лавку так, чтобы половица из-под *ее ног шла прямо к двери*; думают, что это содействует успеху дела, что родители согласятся выдать невесту*.

* Девицы во время святочных вечеров слушают под окнами соседней; если гадающей послышится слово *иди* — знак, что она в том же году *выйдет замуж*; слово *сядь* означает, что *сидеть ей в девках*, а слово *ляжь* — *лежать во гробу* (Чернигов. губ.).

дому, *зацепится в дверях* или *споткнется на пороге*, о том думают, что его что-то задерживает, притягивает к этому дому, и потому ожидают его скорого возврата. Любопытна еще следующая примета: перед поездом к венцу невеста, желающая, чтобы сестры ее поскорее вышли замуж, должна *потянуть за скатерть*, которою покрыт стол*. Метафорический язык уподобляет дорогу разостланному холсту; еще доньше говорится: *полотно дороги*. Народная загадка: «ширинка — всему свету не скатать» означает «дорогу»; в святочном гадании кому вынется *платок*, тому скоро в путь ехать; то же предвещает и подблюдная песня: «золота *парча* развивается, кто-то в путь собирается». Когда кто-нибудь из членов семейства уезжает из дому, то остающиеся на месте махают ему платками, чтобы «путь ему лежал *скатертью*» — был бы и ровен, и гладок. «Потянуть скатерть» означает, следовательно: потянуть за собою в дорогу и других родичей. Подобные представления должны были заявить себя и в юридической обстановке быта. По древнегерманскому праву слуга, переходя во власть нового господина, и невеста, вступающая в брачный союз, обязаны были «in den Schuh des Gebieters treten»** — в ознаменование того, что они будут шествовать одною с ним жизненною дорогою, ходить вслед за ним, т. е. покоряться его воле и с нею сообразовать свои *поступки*. Я. Гримм указывает на обряд, в силу которого кающийся в грехах *наступал на правую ногу* исповедника, изъявляя тем свою готовность идти по его праведным стопам. У нас замечают: кто из молодой четы — жених или невеста вступит во время венчания прежде на разостланный плат, тот и будет властвовать в доме; здесь как бы решается вопрос, кто из новобрачных за кем будет следовать по жизненному пути. О мужьях, послушных женам, говорится, что они «под башмаком», «под туфлею». В крестьянском быту доньше совершается на свадьбах древний обряд *разувания* жениха невестою (см. ниже). 1) Если чешутся глаза — придется плакать, если лоб — кланяться с приезжим, *рубы* — кушать гостинец, *ладонь* — считать деньги, но-

* В некоторых деревнях сваха прежде, нежели отправится на переговоры с родителями невесты, берется за угол стола и сдвигает его с места с таким приговором: «сдвину я столечницу, сдвину и сердечную» (т. е. подвину и невесту к замужеству).

** наступать на башмак повелителя (нем.).

ги — отправляться в дорогу, *нос* — слышать о новорожденном или покойнике; понятие «слуха» и «чутья» отождествляются в языке: малор. *чую* — слышу, наоборот, великоруссы говорят: «слышу запах», у кого горят *уши* — того где-нибудь хулят или хвалят, т. е. придется ему услышать о себе худую или хорошую молву.

т) Кто хочет избавиться от бородавок, тот должен навязать на нитке столько же узелков, сколько у него бородавок, и закопать ее в землю: когда *сгниет* нитка, вместе в нее *пропадут* и болячки. Или, вместо этого, должен бросить на улицу такое же число горошин: кто их подымет и съест, на того перейдут и болячки. Опираясь на внешнее сходство, народное воззрение сблизило бородавки с шариками узелков и горошинами: бросая последние, человек как бы сбрасывает с себя самые бородавки — и тот невольно принимает их на себя, кто решится поднять кинутые зерна. Передача болезни есть одно из самых обыкновенных средств народной медицины. Так, чтобы избыть чесотку, берут кусок холста, *утираются* им и бросают на дорогу; кто подымет холст, на того перейдет и болезнь. Больные лихорадкой делают на палочке столько нарезок, сколько было параксизмов, и потом кидают ее на дорогу или идут на перекресток в том самом платье, в каком почувствовали впервые болезнь, и, *оставляя там свое платье*, возвращаются домой нагишом; поднявший брошенную палочку или одежду подвергается лихорадке, а больной выздоравливает. Вместе с одеждою *снимается* и самая хворь и вместе с нею передается она другому. Страдающий куриною слепотою идет на перекресток, садится наземь и притворяется, будто ищет чего-то. На вопрос прохожего: «Что ищешь?» должно отвечать: «Что найду, то тебе отдам!» — и при этих словах *утереть глаза рукою* и *махнуть* на любопытного; этого достаточно, чтобы болезнь оставила одного и перешла на другого.

п) Большой урожай *рябины* бывает к *оспе*: примета, основанная на созвучии слов: *рябина* — известное дерево и *рябина* — знак, оставляемый на теле оспою*.

о) На подобном же созвучии основано лечение *глазного ячменя ячменным зерном*. Берут это зерно, колют слегка больное место и причитывают: «*Житина,*

* «Ешь кашу *дочиста*, не оставляй на тарелке зерен, чтобы жених не был *рябой*» (или невеста — *ряба*); «мети избу *чище*, чтобы жених был *хороший*» — *чистый* лицом и душою.

житина! (ячменное зерно), *возьми свою житину* (глазной ячмень») и вслед за тем отдают зерно петуху; эта некогда священная птица, съедая ячменное зерно, вместе с ним истребляет и ячмень глаза. р) Если *мертвец* лежит с *открытыми глазами*, если гроб для покойника сделан *велик*, если *западет могила*, т. е. образуется в ней яма,— все эти приметы служат предвещением, что вскоре еще кто-нибудь умрет в семье. Об открытых глазах покойника думают, что они *высматривают*, кого бы увести с собой на тот свет, и потому на Руси и в Литве закрывают умершему веки и накладывают на них медные монеты; гроб велик — значит *есть еще место* для другого покойника, а яма в могиле — знак, что она *требует новой жертвы*; крестьяне, как только заметят, что могила запала, тотчас же засыпают ее снова и выравнивают. q) Если муж бьет жену, то надо положить *под мертвеца* осколок того орудия, которым он дрался, и тогда он сделается кротким (Калужской губ.): *злоба его скончается*. Если муж распутен, то жена должна взять с какой-нибудь *могилы* щепоть земли, всыпать ее в напиток и попотчевать мужа: *распутство в нем замрет* навсегда. Кто *прикасался к мертвому*, тот не должен сеять: зерно *замрет* в его руках и не даст всходов. Мыло, которым обмывали покойника, называется у знахарей *мертвым*; этим мылом они очерчивают у человека, пораженного сибирскою язвою, больные места; натирают им шнуры, из которых делаются петли для ловли зайцев; намазывают капканы, приготовляемые на волков и других зверей. Смысл тот, что действием «мертвого мыла» сибирская язва *замирает* — уничтожается, а петли и капканы приобретают мертвящую силу: *попавший зверь уже не вырвется!*

3. *Заговоры* суть обломки древних языческих молитв и заклинаний и потому представляют один из наиболее важных и интересных материалов для исследователя доисторической старины. Без сомнения, они не могли прийти и не дошли до нас во всей своей свежести, полноте и неизменности; наравне с другими устными памятниками и они подверглись значительным искажениям — отчасти вследствие сокрушительного влияния времени, отчасти вследствие того разрыва, какой произвело в последовательном развитии народных убеждений принятие христианства. Несмотря на это, заговоры сохранили нам драгоценные свидетельства. В них встречаем мы мно-

го странного, загадочного, необъяснимого с первого взгляда, что близорукие любители народности привыкли принимать за бесполезный хлам, но что при более серьезной критике оказывается отголосками поэтических воззрений глубочайшей древности. Кто приступит к изучению заговоров сравнительно с ведаическими гимнами, того непременно поразит замечательное согласие в представлениях, допускаемых теми и другими. Различие только в том, что в гимнах Вед представления эти не утратили еще ни своей ясности, ни взаимной связи; а в заговорах смысл их уже окончательно затерян для народа. Такая вековая прочность заговорного слова обуславливалась самым значением его в народной жизни. В то время, как загадки, песни и сказки делались средством развлечения, усладою досуга, низошли с своей эпической высоты и потому удобнее могли быть подновляемы в языке и в обстановке главного содержания,— заговоры удержали за собою тот строгий характер, который не позволяет никаких намеренных отступлений и профанации. Они непригодны для забавы и, как памятники вещего, чародейного слова, вмещают в себя страшную силу, которую не следует пытаться без крайней нужды; иначе наживешь беду. Заговоры поэтому вышли из общего употребления и составили предмет тайного ведения знахарей, колдунов, лекарок и ворожеек; к ним и обращается народ в тех случаях, когда необходимо прибегнуть к помощи старинных заклятий. Могучая сила заговоров заключается именно в известных эпических выражениях, в издревле узаконенных формулах; как скоро позабыты или изменены формулы — заклятие недействительно. Это убеждение заставило с особенною заботливостью оберегать самое слово заговора, хранить его как святыню. В помощь памяти стали заносить заговоры на тетрадки, и редкий народный лечебник или травник найдется без заговоров; подобные рукописи, писанные большею частью безграмотно, составляют истинный клад для науки. К сожалению, они не восходят ранее XVIII столетия; допетровская Русь сурово относилась к народному суевию и вместе с колдунами и ведьмами жгла и их волшебные тетрадки.

4. Из отдела народных лирических песен для исследователя старины особенно важны *обрядовые*, названные так потому, что ими сопровождаются семейные и праздничные обряды. Это песни свадебные, похоронные

заплачки и причитания, колядки, веснянки, троицкие, купальские и т. под. Они служат необходимым пояснением различных церемоний и игр, совершаемых в том или другом случае, и сохраняют любопытные указания на старинные верования и давно отживший быт. Впрочем, таких указаний немного, потому что песни эти подверглись значительному подновлению; большая часть из них, очевидно, позднейшего происхождения и ничего не дает для науки. Причина такого явления заключается в подвижности, изменчивости личного чувства, которым главным образом определяется содержание лирических песен. Другое должно сказать о песнях эпических — *богатырских*, состоящих в самой тесной связи с народными преданиями и сказками. Основа их — древнее мифическое сказание, и если станем ближе в них всматриваться и сличать их вариации, живущие там и здесь у народов родственных, то необходимо убедимся, что влияние христианства и дальнейшей исторической жизни коснулось только имен и обстановки, а не самого содержания: вместо мифических героев подставлены исторические личности или святые угодники, вместо демонических сил — названия враждебных народов, да в некоторых местах прибавлены позднейшие бытовые черты. Но самый ход рассказа, его завязка и развязка, его чудесное остались неприкосновенными. Древние эпические сказания чужды личного произвола; они не были собственностью того или другого поэта, выражением его исключительных воззрений на мир, а напротив, были созданием целого народа. Вот что в течение долгих веков оберегало народный эпос от окончательного падения и давало ему необыкновенную живучесть. Действительным поэтом был народ; он творил язык и мифы и таким образом давал все нужное для художественного произведения — и форму, и содержание; в каждом названии уже запечатлевался поэтический образ и в каждой мифе высказывалась поэтическая мысль. Отдельные лица являлись только пересказчиками или певцами того, что создано народом: одаренные от природы способностью хорошо рассказывать или петь, они передавали в своих повестях и песнях давно всем известное и знакомое. Даже в выборе слов и оборотов они не были совершенно свободны; народный певец постоянно чувствовал неудержимо влекущую его силу предания: характеристические эпитеты, меткие уподобления,

картинные описания — все это, однажды созданное творческим гением народа, тотчас же обратилось в общее достояние и стало повторяться без малейшей перемены. Множество готовых выражений и целых стихов значительно облегчали труд составления песни и делали ее, при самом ее рождении, для всех близкою, родною. Неразлучным товарищем эпической песни были у славян гусли, до сих пор составляющие необходимую принадлежность почти каждого дома в гористых местах Сербии, Боснии, Герцеговины и Черногорья; у малороссиян для этого служит бандура. Старинные поэтические сказания возглашались под звуки музыкальных инструментов; размер стихов и напев постоянно оставались неизменными, а чуткость уха, любовь к мелодии заставляли дорожить каждым словом. Изучение эпических песней, так называемых *былин*, тогда только приведет к прочным выводам, когда исследователи будут держаться сравнительного метода, когда путем обстоятельного сличения различных вариантов былины с родственными памятниками и преданиями других народов они определят позднейшие отмены, снимут исторические наросты и восстановят древнейший текст сказания. Тогда раскроются настоящие основы басни, а вместе с этим и самой эстетической критике будет дана та твердая опора, без которой она обращается не более как в набор фраз и мнений, оправдываемых разве одним темным сочувствием или несочувствием к народной поэзии. Толковать о художественном достоинстве тех образов и красок, смысл которых остается неведомым, — все равно, что рассуждать о меткости и живописности выражений незнакомого нам языка: смелость, которую ничем нельзя извинить в науке! Именно такую смелостью отличаются эстетические приговоры наших критиков, рассуждавших о народных былинах. В литературе высказаны ими два противоположные и равно бездоказательные мнения. Одни хотели видеть в богатырских типах идеалы доблести, великодушия и добрых нравов русского земства и, проводя этот взгляд, вынуждены были многие стороны народного эпоса или вовсе оставить без внимания, или объяснять их внешними влияниями, преимущественно татарским игмом. Другие, наоборот, увидели в богатырских песнях только избыток грубой, материальной силы, возведенной до чудовищных размеров, и приписали его грубости самого

народа и отсутствию в нем эстетических и нравственных элементов. Подобный же приговор был произнесен нашими критиками и над финскою поэмою Калевалою, хотя Яков Гримм, которого никак нельзя упрекнуть в отсутствии художественного понимания, признал за нею высокое поэтическое достоинство, и хотя прекрасная статья его, посвященная Калевале, уже за несколько лет до того была переведена на русский язык в одном из ученых журналов. Наслаждение народным эпосом никому не дается даром; оно бывает плодом всестороннего, чуждого предубеждений изучения, становится возможным не прежде, как будут сняты таинственные покровы с древнего сказания и объяснен действительный смысл его поэтических образов. Народные эпические герои — прежде, чем низошли до человека, его страстей, горя и радостей, прежде, чем явились в исторической обстановке, — были олицетворениями стихийных сил природы; отсюда объясняются и те громадные размеры, и та сверхъестественная сила, которые придаются им в былинах и сказках; и в этом нет ничего странного, антихудожественного: поэтический образ создавался фантазией согласно с громадностью и могуществом естественных явлений и надолго удерживал за собою их существенные признаки. Воспевая подвиги богатырей, народный эпос рассказывает, как единым взмахом меча-кладенца побивают они несчетные рати и как за единый дух выпивают чару зелена вина — в полтора ведра. Видеть в этих подробностях апофеозу грубого насилия и пьянства может только тот, кто не потрудился вникнуть в мифические основы сказаний, живописующих перед нами борьбу бога-громовника с демоническими силами дожденосных туч. Как в Ведах Индра¹⁶, а в Эдде Тор¹⁷, богатыри наши поражают враждебные рати несокрушимым мечом-молнией и не в меру упиваются дождем, который метафорически назывался медом и вином. На древние мифические основы сказаний и у славян, как у всех других народов, историческая жизнь накладывает свое клеймо. Хранимое в памяти народа, передаваемое из поколения в поколение, эпическое предание необходимо заимствует частные, отдельные черты из действительно-го быта и сливает их с стародавним содержанием; вместо облачных духов фантазия заставляя своих богатырей сражаться с полчищами татар и других кочевни-

ков и самого богатыря, представителя весенних гроз, представляет каким-нибудь прославленным витязем или героем из козацкой вольницы. Тем не менее старина ярко выступает из-за этих новых представлений, которые далеко не приходится ей по мерке. Исследователь обязан отделить такие разновременные наслоения и каждой эпохе отдать свое. Как бы ни были отрывочны и случайны позднее привнесенные в народный эпос черты, они далеко не лишены значения, и историк вправе ими воспользоваться; но принимать былины, во всем их объеме, за материал, свидетельствующий о действительных событиях и действительном быте, и навязывать то характеру старинного козачества и отношениям русского населения к азиатским кочевникам, что было плодом мифического творчества, — значит поступать вопреки законов исторической критики*.

Народные духовные песни, известные на Руси под именем *стихов*, могут дать полезные указания для разъяснения мифов, так как мотивы христианские более или менее сливаются в них с древнеязыческими. Хотя песни эти сложились под несомненным влиянием апокрифической литературы, но это не умаляет их важности для науки; потому что самые апокрифы явились как необходимый результат народного стремления согласить предания предков с теми священными сказаниями, какие водворены христианством. Откуда бы ни были принесены к нам апокрифические сочинения — из Византии или Болгарии, суеверные подробности, примешанные ими к библейским сказаниям, большею частью коренятся в глубочайшей древности — в воззрениях арийского племени, и потому должны были найти для себя родственный отголосок в преданиях нашего народа. Этим объясняется и то особенное сочувствие, какое издавна питал народ к статьям «отреченным»: они были для него доступнее, ближе, не шли вразрез с его верованиями и действовали на его воображение знакомыми ему об-

* Такой недостаток замечается в XIII томе Истории проф. Соловьева, который в поэтических изображениях народных былин видит прямые свидетельства о нравах и быте допетровского времени; богатырь и козак, по его мнению, *названия односторонние*, «и наши древние богатырские песни в том виде, в каком они дошли до нас, суть песни козацкие, о козаках». Если бы автор отделил в этих песнях все, что принадлежит русскому народу наравне с другими индоевропейскими племенами, как их общее наследие, то увидел бы, как немного останется на долю действительного козачества!

разами. Из числа духовных песен, сбереженных русским народом, наиболее важное значение принадлежит *стиху о Голубиной книге*¹⁸, в котором что ни строка — то драгоценный намек на древнее мифическое представление. Некоторые из преданий, занесенных в означенный стих, встречаются в старинных болгарских рукописях апокрифического характера, появившихся на Руси после принятия христианства; но заключать отсюда, что предания эти чужды были русским славянам и проникли к ним только через посредство литературных памятников, было бы грубою ошибкою. Суеверные сказания, передаваемые стихом о Голубиной книге, составляют общее достояние всех индоевропейских народов, находят свое оправдание в истории языка и совершенно совпадают с древнейшими мифами индусов и с показаниями Эдды: свидетельство в высшей степени знаменательное! Происхождение их, очевидно, относится к арийскому периоду, и рукописные памятники могли только подновить в русском народе его старинные воспоминания. Самая форма, в какой передается содержание стиха, — форма вопросов или загадок, требующих разрешения, отзывается значительной давностью. Как в Эдде владыка богов Один задавал мудрые вопросы великану Вафтрудниру¹⁹: откуда создались земля и небо, месяц и солнце, ночь и день и что будет при кончине мира? — так и в нашем стихе предлагаются и разрешаются подобные же космогонические вопросы царем Давидом и Волотом Волотовичем, имя которого означает великана; позднее оно заменено именем князя Владимира. Поводом к такому разговору послужило чудесное явление Голубиной книги: со восточной стороны восходила туча грозная, из той тучи выпадала книга Голубиная. Народная фантазия изображает ее в таких чертах:

Приподнять книгу — не поднять будет,
На руках держать — не сдержать будет,
А по книге ходить — всю не выходить,
По строкам глядеть — всю не выгледеть.

Эпизод этот считаем мы за позднейшую приставку, сочиненную под влиянием книжной литературы; источником ее был греческий апокриф об «Откровении Иоанну Богослову». У церковных писателей очень обыкновенно уподобление небесного свода раскрытому свитку, на котором божественный перст начертал таинственные

письмена о своем величии и бытии мира. Из старинных рукописей метафора эта перешла в народ, что доказываетея живущею в устах его загадкою *о звездном небе*:

Написана грамотка
По *синему* бархату;
Не прочесть этой грамотки
Ни попам, ни дьякам,
Ни умным мужикам*.

Небесный свод наводил человека на вопросы: откуда солнце, луна и звезды, зори утренняя и вечерняя, облака, дождь, ветры, день и ночь? И потому с народным стихом, посвященным космогоническим преданиям, соединено сказание о гигантской книге, в которой записаны все мировые тайны и которой ни обозреть, ни вычитать невозможно. С этим представлением неба книгою слилась христианская мысль о священном писании, как о книге, писанной св. духом и открывшей смертным тайны создания и кончины мира; так как голубь служит символом св. духа, то необъятной небесной книге было присвоено название *Голубиной*:

Выпадала книга голубиная,
Божественная книга евангельская**.

Отсюда становится понятным и то глубокое уважение, которым пользуется стих о Голубиной книге между староверами и скопцами***.

5. До последнего времени существовал несколько странный взгляд на народные *сказки*. Правда, их охотно собирали, пользовались некоторыми сообщаемыми ими подробностями, как свидетельством о древнейших верованиях, ценили живой и меткий их язык, искренность и простоту эстетического чувства; но в то же время в основе сказочных повествований и в их чудесной обстановке видели праздную игру ума и произвол фантазии, увлекающейся за пределы вероятности и действительности. Сказка — складка, песня — быль, говорила старая пословица, стараясь провести резкую границу между эпосом сказочным и эпосом историческим. Изв-

* Та же загадка у болгар: «Господь книга написал, а не може и сам да я прочесте».

** В житии Авраамия Смоленского, сочиненном в XIII стол., сказано, что он был обвиняем в ереси, «а инии глаголаху нань — *глубинныя книги* почитает»...

*** В так называемых скопческих «Страдах» читаем: «и дастся тебе книга *голубина* от божьего сына».

рашая действительный смысл этой поговорки, принимали сказку за чистую ложь, за поэтический обман, имеющий единою целью занять свободный досуг небывальными и невозможными вымыслами. Несостоятельность такого воззрения уже давно бросалась в глаза. Трудно было объяснить, каким образом народ, вымышляя фантастические лица, ставя их в известные положения и надевая их разными волшебными диковинками, мог постоянно и до такой степени оставаться верен самому себе и на всем протяжении населенной им страны повторять одни и те же представления. Еще удивительнее, что целые массы родственных народов сохранили тождественные сказания, сходство которых, несмотря на устную передачу их в течение многих веков от поколения к поколению, несмотря на позднейшие примеси и на разнообразие местных и исторических условий, обнаруживается не только в главных основах предания, но и во всех подробностях и в самых приемах. Что творится произволом ничем не сдержанной фантазии, то не в состоянии произвести такого полного согласия и не могло бы уцелеть в такой свежести; творчество не остановилось бы на скучном повторении одних и тех же чудес, а стало бы выдумывать новые. Доказательством служат все искусственные подделки под народные рассказы, подделки, в которых чудесное близко граничит с нелепицей и бессмыслием. И к чему народ стал бы беречь, как драгоценное наследие старины, то, в чем сам бы видел только вздорную забаву? Сравнительное изучение сказок, живущих в устах индоевропейских народов, приводит к двум заключениям: во 1-х, что сказки создались на мотивах, лежащих в основе древнейших воззрений арийского народа на природу, и во 2-х, что, по всему вероятно, уже в эту давнюю арийскую эпоху были выработаны главные типы сказочного эпоса и потом разнесены разделившимися племенами в разные стороны — на места их новых поселений, сохранены же народною памятью — как и все поверья, обряды и мифические представления. Итак, сказка не пустая складка; в ней, как и вообще во всех созданиях целого народа, не могло быть и в самом деле нет ни нарочно сочиненной лжи, ни намеренного уклонения от действительного мира. Точно так же старинная песня не всегда была; она, как уже замечено выше, большею частью переносит сказочные предания

на историческую почву, связывает их с известными событиями народной жизни и прославившимися личностями и чрез то вставляет стародавнее содержание в новую рамку и придает ему значение действительно прожитой былины. Сказка же чужда всего исторического; предметом ее повествований был не человек, не его общественные тревоги и подвиги, а разнообразные явления всей обоготворенной природы. Оттого она не знает ни определенного места, ни хронологии; действие совершается в *некое время* — в *тридевятом царстве, в тридесятом государстве*; герои ее лишены личных, исключительно им принадлежащих характеристических признаков и похожи один на другого, как две капли воды. Чудесное сказки есть чудесное могучих сил природы; в собственном смысле оно нисколько не выходит за пределы естественности, и если поражает нас своею невероятностью, то единственно потому, что мы утратили непосредственную связь с древними преданиями и их живое понимание.

Как народная песня, так и сказка не раз обращалась к христианским представлениям и отсюда почерпала материал для новой обстановки своих древних повествований. Заимствование событий и лиц из библейской истории, самый взгляд, выработавшийся под влиянием священных книг и отчасти отразившийся в народных произведениях, придали этим последним интерес более высокий, духовный; песня обратилась в *стих*, сказка в *легенду*. Разумеется, и в стихах, и в легендах заимствованный материал передается далеко не в должной чистоте. Это, во-первых, потому, что источниками, из которых брал народ данные для своих легендарных сказаний, были по преимуществу сочинения апокрифические, составлявшие его любимое чтение; а во-вторых, потому, что новые христианские черты, налагаемые на старое, давно созданное содержание, должны были подчиняться требованиям народной фантазии и согласоваться с преданьями и поверьями, уцелевшими от эпохи доисторической. [...]

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ



ПИСЬМА



ДО ГИМНАЗИИ И В ГИМНАЗИИ

Я убежден, что записки частного человека могут быть весьма любопытны, если он сумеет представить характеристичные черты того общества, какое в разное время окружало его детство, юность и старость. С этой мыслию принимаюсь записывать виденное, слышанное и испытанное мною самим; происшествий и перемен собственной моей жизни я коснусь постольку, сколько это будет нужно, чтобы дать моим воспоминаниям связь и единство.

Я родился в 1826 году в уездном городке Богучаре (Воронежской губ.), и вскоре семья наша переехала на житье в Бобров (уездный город той же губ.), где отец мой долгое время был стряпчим. Отсюда начинаются мои воспоминания. До 11-ти лет я воспитывался в этом городке. Читать и писать выучился я на дому у одного учителя уездного училища, а потом продолжал учение последовательно у двух тамошних попов — отцов Иванов, которых посещал поутру и после обеда вместе с старшим братом и другими мальчиками и девочками, детьми уездного чиновного люда. Это ученье мне очень памятно, хотя из него вынес я очень немного. Собирались мы рано утром, часов в восемь, и просиживали до 12 за книгами; после обеда та же история от 2-х часов до 4-х и пяти. И первый, и второй отцы Ивановы были люди вовсе не злые; но, воспитанные в семинарии, они были знакомы только с суровым духом воспитания и вполне поясняли нам, что корень учения горек. Они выучили меня бегло читать по-русски и по-латыни, познакомили с десятками двумя латинских слов, несколько с арифметикой и священной историей, и только. Хотя учили они и грамматике русской и латинской, но я очень хорошо помню, что ровно ничего из того не понимал. Толковать нам никогда не толковали, а отмеривали ногтем урок от такого-то слова до такого-то и заставляли учить наизусть, слово в слово, что на техническом языке школьников называлось *зубрить* урок. Сидя все в одной комнате у попа, мы зубрили вслух, так что крик наш мог надоесть всякому, кроме почтенной семьи попа, и зубрили очень часто, не понимая ни слова из хитрых фраз

наших учебников. Особенно трудны были для меня писанные правила латинского синтаксиса (вероятно, из семинарских лекций), которыми меня потчевал второй отец Иван и которых я, несмотря на все усилия, не мог запомнить. Понять их едва ли смог бы я и после; крепко в том сомневаюсь, да и понимал ли их мой учитель — не знаю. Когда поп уезжал с требю (а это было нередко), то уроки у нас спрашивала его жена, и ученье шло под ее надзором; но в этих случаях мы чувствовали больше простора. За незнание и шалости наказывали нас тем, что ставили нас на колени, били *палями*, т. е. линейкой по руке, оставляли без обеда, драли за волосы и за уши; но сечь нас не позволялось родителями. В дополнение к этим назидательным наказаниям первый отец Иван присоединил еще следующее: он заставлял одного ученика бить другого, не знающего свой урок, по щеке, и я помню, как иногда девочкам доставалось давать пощечины мальчикам, и наоборот. Подобно тому, другой отец Иван заставлял двух провинившихся мальчиков драть друг друга за уши или за волосы и с большим удовольствием тешился, когда мальчики, раздраженные болью, с какою-то затаенною злостью старались оттаскать друг друга. Этот же мудрый наставник заставлял виновного возвращаться домой по городу в вывороченной шубе и шапке или заставлял в наказание лежать на голом полу у дверного порога, и всякий, кому приходилось перейти из одной комнаты в другую, преспокойно шагал через него. Помню еще, что первый Иван завел таблички с нашими именами, куда в продолжение целой недели писал отметки о наших успехах, кто как знал урок: *scit, nescit, mediocriter**. По субботам бывала всегда расправа, несмотря на то, что еще прежде за плохое знание урока мы уже подвергались наказанию. В этот день все ученики ставились на колени, какие бы отметки они ни имели; учитель брал табличку в одну руку, а в другую линейку и по очереди обращался к нам: у кого были везде *scit*, тому позволял садиться; у кого были *nescit*, тому за каждую такую отметку давал по порядочной *пале*. Тем оканчивалась расправа, и мы отпускались домой; после обеда ученья в этот день не было. Такая расправа на техническом языке называлась субботниками, и мы ее ожидали всегда с трепетом... Понятно, что при таком

* знает, не знает, посредственно (лат.).

воспитании трудно было рассчитывать на укоренение нравственных и гуманных понятий в детях, и мы в свою очередь, где можно, проказничали, били кошек и т. под. Наставники наши, попы Иваны, были люди без сведений, грубые по натуре. Один из них был большой пьяница и в частую колотил свою жену; зато другой Иван сам был в лапах попадьи, которая тоже придерживалась чарочки и колотила своего супруга. Эти сцены и сцены поповской жадности, обращенной на прихожан (пригородных мужиков), конечно, не могли служить для нас благотворными примерами, и читающий эти строки наверно удивится беспечности отцов и матерей, которые отдавали детей своих на учење к таким людям. Но куда же было отдать? Уездное училище представляло подобные же примеры; сверх того, в них смешивались все возможные сословия: здесь большею частию учились дети купцов, мещан, приказных и крестьян; сюда барин отдавал учиться и своих крепостных мальчишек. Все это приносило с собой ту грубость и жестокость, среди которой выросло; некоторые из учеников были уже порядочные *балбесы*, как их называли, т. е. достаточно взрослые и уже достаточно знакомые с разными житейскими слабостями. С одной стороны, это, а с другой, дворянская и чиновничья спесь были причиною, почему уездная аристократия обходила и доселе обходит уездные училища. В мое время чиновные люди, следуя преданьям старины, отдавали своих детей учиться к семинаристам и приходским священникам. Но было ли это лучше?

Наконец отец мой увидел, что от такого учења мало толку, и решил, что не за что больше давать отцу Ивану по золотому в месяц. Я перестал ходить к нему и стал учиться дома, под руководством одного из педагогов уездного училища, который действительно кое-что знал, но за пьянством занимался мною весьма плохо; он выучил меня читать и писать по-немецки, кроме того заставлял писать под диктовку, учить немецкие слова и разговоры. Само собою разумеется, что трепанье за волосы, пали и другие столь же милые наказания дома уже не повторялись.

В 1837 году исполнилось мне одиннадцать лет, и отец отвез меня в Воронежскую губернскую гимназию, где я провел 7 лет и прошел 7 классов, начиная с первого класса. Отец мой, хотя сам был воспитан на медные деньги, но уважал образование в других. Такое уваже-

ние, кажется, наследовал он от деда, который был членом библейского общества и от которого осталась довольно порядочная по тому времени библиотека, составленная из русских книг; между ними больше всего было переводных романов, но попадались и книги серьезные, исторического и мистического содержания. Отец тоже любил чтение и постоянно выписывал лучшие журналы. Он справедливо почитался за самого умного человека в уезде, и к нему многие обращались в важных юридических случаях за советами. Все другие местные чиновники, сколько припоминаю теперь от давно минувших годов моего отрочества и сколько после мог я убедиться, были несравненно ниже его и в умственном, и в нравственном отношениях. Интересы их были мельче и грубее; о чтении они не думали, и литература была для них совершенная terra incognita*. Правда, он разделял с ними некоторые общие застарелые предубеждения, но это не мешало ему верить в превосходство университетского образования. Отец решил дать каждому из нас, четырех братьев, полное воспитание и с малыми своими средствами всю жизнь хлопотал об этом; трех сестер воспитывал он в одном из московских институтов. Пользуясь дедовской библиотекой, я рано, с самых нежных детских лет, начал читать, и как теперь помню, бывало, тайком от отца (мать моя умерла очень рано) уйдешь на мезонин, где помещались шкапы с книгами, и зимою в нетопленной комнате, дрожа от холода, с жадностью читаешь какого-нибудь «Старика везде и нигде», «Мальчика у ручья» Коцебу, «Разбойника поневоле». Такого полного наслаждения не испытывал я после, даже читая действительно художественные произведения. Что нравилось в этих книгах, сказать не легко; но с каким тревожным чувством следил я тогда за судьбою героя, как страдал и как радовался за него; его горести и счастье я прочувствовал вполне, и эта тревога чувств, так сильно волновавшая, имела какую-то неизъяснимую прелесть. Чтение это сменило для меня сказки, которые, бывало, с таким же наслаждением и трепетом слушал я прежде, зимою по вечерам, в углу темной комнаты, от какой-нибудь дворовой женщины. Как прежде, так и теперь готов был я долго просиживать за книгою и забывал самый голод, и нередко приходил отец и прогонял меня с мезонина,

* неведомая земля (лат.).

отнимая книги, читать которые он постоянно запрещал, в чем и прав был: книги были не по возрасту. Но запрещения эти действовали плохо; шкапы не запирались, и страсть неутомимо подталкивала идти на мезонин.

Когда я поступил в гимназию, меня отдали жить к учителю математики Бернгарду, человеку незлому и честному; у него я пробыл 2 года, а потом, к величайшему моему сожалению, должен был оставить его и перейти к другому учителю И. А. Д—скому, у которого провел остальные годы своей воронежской жизни. Чтобы судить о характере и недостатках гимназического воспитания (а недостатков было много), я расскажу здесь, что сохранила память моя о тогдашних учителях.

Законоучителем был у нас протопоп отец Владимир, человек весьма добрый, ласковый и обходительный; дети его любили, встречали всегда с радостью и называли батюшкой; учились у него всегда с охотой и прилежанием и были с ним довольно откровенны. Доверие наше к нему было так велико, что, поступив в 7 класс, мы даже решились прочитать ему некоторые отрывки из сатирической пьесы, написанной на одного учителя, и он только посоветовал нам быть осторожнее, чтоб не попасться с этими стихами в руки школьного правосудия. Сколько помню, он никогда и никого из нас не наказывал, тогда как никто другой из наставников наших далеко не мог этим похвалиться и такую тишиною, какая обыкновенно бывала, без всяких полицейских понуждений, в классе отца Владимира.

В продолжении семи лет мы прошли с ним весь определенный по уставу курс Закона божия. В первых двух классах заставлял он нас заучивать наизусть, слово в слово, какую-то краткую и темно написанную священную историю, из которой я и теперь помню начальные строки: «В начале бог сотворил небо и землю так прекрасно и великолепно, как мы оную теперь видим, в шесть дней из ничего». Кого не удивит эта странная расстановка слов? А ведь почти вся книга таким языком написана. В следующих классах мы учили катехизис митрополита Филарета, церковную историю Инокентия и книгу Кочетова о христианских обязанностях. Церковную историю и учение о христианских обязанностях позволялось воспитанникам излагать своими словами, затверживая одни тексты св. писания. Впрочем, ученье наизусть, слово в слово, буква в букву, было преобладаю-

щим в низших классах гимназии; высшие более или менее от того освобождались; но я знаю, что и в низших оно не приносило ни малейшей пользы. Что толку в том, что ученик, выдолбив урок и не понимая его, быстро мог проболтать его от начала до конца? Спросите его из середины или только задайте ему вопрос другими словами, а не теми, в каких выражен он в учебнике, — и самый прилежный воспитанник потеряется, собьется и замолчит.

Учители латинского языка были Ив. С. Д—ов и Андрей Иванович Б—ский, — оба весьма любопытные характеры. Первый был человек не без сведений, но страшно раздражительный, и эта раздражительность делала его злым, а нередко и глупым. Какие мерзости позволял себе делать этот господин, трудно теперь поверить, но, увы! я был живым их свидетелем и дивлюсь только одному, как могли подобные поступки оставаться безнаказанными. Поучая в низших классах, он, бывало, всех, получивших *единицы*, с самого начала урока до конца, заставлял стоять посреди комнаты, согнувшись дугою; если утомленные мальчики прислонялись к стенам или скамьям, то приказывал другим воспитанникам отталкивать их в спины. Иногда подзывал он какого-нибудь малютку, и когда тот не умел просклонять какое-нибудь *mensa** или не заучил заданных слов, то расстегивал форменный его сюртучок, обыскивал карманы и, найдя пряники или конфеты, отбирал их; с злою насмешкою прикусывал их сам или раздавал другим лучшим ученикам; или брал за галстук и поднимал на воздух, приговаривая: «Я повешу тебя, матушка!» Надо заметить, что в мое время в низших классах гимназии вместе с детьми поучались и недоросли лет 18 и 19, которые, убоясь бездны премудрости, прямо из второго или третьего класса поступали в военную службу юнкерами. Ученье им не шло в голову; на уме были сабля и шпоры. Этих-то недорослей нередко подзывал к себе Д—ов и выщипывал им молодые, только пробившиеся усы, приговаривая: «Ведь тебя женить пора, матушка! ведь ты скоро детей станешь посылать сюда учиться!» Раза два или три, помню, садился он верхом на одного из таких взрослых болванов, которым обыкновенно приходилось стоять согнувшись за полученные единицы, и заставлял возить

* стол (лат.).

себя по классу, к общему удовольствию школьников. Печальнее всего, что эти возмутительные поступки позволял себе делать человек, тогда еще молодой, окончивший воспитание в Харьковском университете. Этот университет, к округу которого принадлежала наша гимназия, присылал к нам в наставники и других своих питомцев; но они также не всегда отличались мягкостью и тонким чувством приличия. Очень естественно, что ученики терпеть не могли Д—ва; он с своей стороны в каждом их слове подозревал желание сказать грубость. Раз кто-то из учеников написал на столе мелом: «Д—в дурак!» Надо было видеть бешенство этого господина; он поднял из глупой школьной выходки целую историю, допрашивал всех и каждого и разразился целою проповедью. «Да я умнее вашей бабушки! — говорил он. Я — надворный советник, а вы что? Вы мальчишки, дрянь! Вы моей подошвы не стоите! Я в журналах участвую, меня вся Россия знает!» Последние слова сказаны были потому, что ему удалось поместить в «Репертуаре» и в местных губернских ведомостях несколько фразистых статей о Воронжском театре. Подобные проповеди повторялись часто; при каждом удобном случае Д—в уверял нас, что он умнее и наших дедушек и наших бабушек. Справедливость, впрочем, требует заметить, что в последние годы моей гимназической жизни он значительно сделался мягче и обходительнее, и если часто бывал смешон, зато более сносен. Что было причиной этой перемены — осталось для меня загадкой. Он в это время преподавал уже в высших классах, на место вышедшего в отставку Б—ского.

Андрей Иванович Б—ский преподавал в высших классах; это был почтенный старик, толстый, седой, с грубым голосом и с большими странностями и для нас казался весьма смешным; не знаю за что, издавна в гимназии звали его *Андропом*. Он был любимым предметом наших наблюдений и рассказов, а нередко и шалостей. В первых трех классах преподавали нам этимологию и синтаксис, заставляли заучивать латинские слова и переводить Корнелия Непота; в высших классах мы учили просодию, повторяли грамматику и последовательно переводили Тита Ливия, Федра, Саллюстия, Энеиду, Вергилия, оды Горация, речи Цицерона и летописи Тацита; переводили также и с русского на латинский. Должно прибавить, что латинский язык был единственный, который преподавался в гимназии еще сносно; но и тут

многого оставалось желать. Грамматические правила знали воспитанники недурно; могли и переводить, но не иначе, как с приготовлением и с помощью лексикона. Читать и понимать прямо были не в силах. Обыкновенно заставляли нас к будущему уроку приготовить коротенькую статейку из какого-нибудь классика; дома мы приписывали в лексиконе незнакомые нам слова и делали перевод; перевод этот поправлялся в классе учителем, затем переписывался на белом, и тем все оканчивалось. На эту бесплодную переписку на белом много тратилось времени, и совершенно попусту. Упражнения в переводах, следовательно, были не очень значительны, а с тем вместе и познания наши в языке не могли быть велики. Сам Б—ский знал латынь основательно, но, к сожалению, усвоенная им метода занятий отзывалась сухой схоластикой и педантизмом. Урок свой постоянно начинал он тем, что вызывал нескольких учеников разом, ставил их в ряд и спрашивал по порядку одного за другим. Первый вызванный непременно должен был сказать, на какой странице находится заданный урок и в каком именно параграфе. Если он почему-нибудь не мог отвечать на этот мудрый вопрос, учитель уже дальше не спрашивал. «Э, domine*! — так ты такой! — говорил он смущенному ученику, — нечего тебя и спрашивать, когда не знаешь, на какой странице урок; ты, значит, и книги не разворачивал», — и убедить его в противном не было никакой возможности. Самый урок у него надо было знать буква в букву; даже простой перестановки слов он не допускал, принимая это за непростительное вольнодумство: «ведь лучше книги не скажешь!» Выслушав от одного гимназиста начало урока, он обращался к другому: с словом: *sequens**!* и тот должен был продолжать ответ далее с того самого места, на котором остановился его товарищ; за ним то же обращение делалось к третьему, и так далее. Ошибки отвечавшего должен был поправлять следовавший за ним в ряду ученик, и это на языке педагога называлось *ловить баллы*. Кто поправит чужую ошибку, тому прибавлялся лишний балл; у того же, кто ошибся, производился вычет: если, например, он знал урок на 3, да товарищ поправил одну ошибку, то учитель отмечал против его имени только 2. Переспросив

* господин (лат.).

** следующий (лат.).

целый ряд, он вызывал на их место других воспитанников, и с ними начиналась та же история. Случалось, что вызванные учителем выносили с собою написанный на листке урок и прочитывали его из-за спины рядом стоявшего товарища. Сколько раз, бывало, весь класс сговорится, и мы писали урок мелом на доске, стоявшей позади учительского кресла, и на вопросы учителя отвечали по доске. Пристально следя по учебнику за ответом, он ничего не замечал. Бывало, несколько лекций сряду показывали ему один и тот же урок или перевод, и все обходилось без шума. Сверх обычных занятий, круглый год обязаны были мы повторять таблицы склонений и спряжений. Было у нас два товарища, которые только и знали, что эти таблицы, и ухитрились так, чтобы учитель спрашивал их не урок, которого они никогда не учили, а эти таблицы. Вся проделка основывалась на том, что память уже сильно начинала изменять старику, он хотя и любил ею похвастаться. Для этого перед началом урока *старшой** в классе ученик, обращаясь к Б—скому, докладывал: «Андрей Иванович! прошлый раз Бабкин и Жуховецкий не знали таблицы склонений, так вы приказали напомнить, чтобы спросить их сегодня». — «Да, да, помню! а вот мы их спросим. Благодарю, что сказали... да и сам не забуду; у меня память хорошая. Доміне Бабкин, пожалуйста сюда с вашим товарищем». А господа Бабкин и Жуховецкий, разыгрывая комедию, шли к ответу, пожимаясь, будто нехотя, и тем самым подстрекали в учителе желание непременно их спросить. Само собою разумеется, отвечали они бойко и безошибочно, получали хорошие отметки и спокойно возвращались на свои места, зная, что Андрей Иванович больше их на этот раз не потревожит: «Вот видите, господа! — говорил довольный наставник, — они теперь знают». А в следующий урок повторялась опять та же сцена с Бабкиным и Жуховецким, вызывая улыбки на лицах их товарищей.

Б—ский не прибегал к тем суровым мерам исправления, какими запугивал мальчиков Д—ов. Наказания его ограничивались тем, что он ставил в угол, на колени, или заставлял бить поклоны; последние мы скоро обра-

* *Старшой* назначался инспектором из лучших учеников; он хранил журнал класса и обязан был, в отсутствие учителя, наблюдать за тишиною.

тили в общую шалость. Стоило кому-нибудь засмеяться во время урока, чтобы Андрей Иванович тотчас же приказал: «Э, братец, да ты смехун! А ну-ка, положи 20 поклонов». Ученик подымался с места и начинал посреди комнаты отсчитывать поклоны. Не успеет он положить и пяти поклонов, как смотришь, другой засмеялся. «О, еще смехун! Поди ж, докладывай за него поклоны». И вот новый смехун шел на смену прежнего; и только сделает он два-три поклона, как уже смеется третий, и тоже отправляется на смену второго, и так далее; нередко весь класс участвовал в этой шалости: только и видишь, бывало, что одни садятся на место, а другие стоят и выколачивают поклоны. Помню, раз зимою было у нас разбито стекло в классе, и Б—ский ставил шалунов и ленивцев у окна: «Подика, domine, защищай нас от Борея!» Если кто ошибался в каком-нибудь грамматическом правиле, того он заставлял написать это правило на особом месте раз 30 и больше: будешь-де помнить! Однажды рассказывал он нам об иезуитской школе, в которой сам воспитывался. Инспектор водил по всем классам какого-то провинившегося ученика в дурацкой шапке, т. е. просто в вывороченной наизнанку, и по этому поводу Б—ский сказал: «Это хорошо! В нашей школе это было еще строже: всякого ленивца водили по всем классам; приведут, да в каждом классе и высекут! Оттого был страх и ученье!»

Небрежнее всего проходились в гимназии новые языки: немецкий (учитель Карл Иванович Флямм) и французский (учитель Карл Иванович Журдан). Стыдно сказать, что даже в последнем, VII классе воспитанники с трудом переводили Фенелонова Телемака и какую-то немецкую хрестоматию; грамматика обоих языков преподавалась бестолково по старинным и никуда не годным учебникам: весь труд заключался в бесплодном заучивании фраз. Карлы Ивановичи наши были люди жалкие; видно было, что они не получили никакого образования и никогда не думали поучать юношество; но коварная судьба, издавна привыкшая всякого рода иностранца превращать на Руси в педагога, разыграла и с ними ту же старую комедию. Немецкий Карл Иванович даже с большими усилиями изъяснялся по-русски. Гитлеристы его нисколько не уважали; окружают, бывало, его при входе в классную комнату и подымут такой гам, что хоть святых выноси; а он сердится, посылает им на сво-

ем родном наречии крупные проклятья, махает палкою, без которой никогда на урок не являлся, или просто-напросто дерется. К нему-то в класс, говорило предание, пустили однажды воробья и долго тешились пугливым порханьям птички; раз в ящик учительского стола, где всегда лежал журнал класса с отметками учителей об успехах учеников, посадили ему мышь и тешились, когда при открытии ящика мышь бросилась и испугала немца. К нему же в классе шалуны приносили кусочки разбитого зеркала и, с помощью этих стекол, мучили бедного педагога, наводя летнее солнце на его почтенную лысину. Он всегда был в классе с палкою, и, раздраженный, нередко пускал ее в дело. Раз (я уже был в IV классе), помню, у меня сильно разболелась голова; утомленный, я прилег головой на руку, кисть которой свесилась со стола, и заснул. Немец, заметивший мое успокоение, сильно ударил меня по кисти руки палкой. Я проснулся от боли и в ту же минуту, не помня ничего, назвал его громко: *колбасник!* имя, которым нередко мы честили его в разговорах между собой. Он рассердился и стал допрашивать, кого думал я назвать колбасником. Я струсил и уверял, что назвал не его, а одного товарища, тоже немца; но тот, как на беду, сидел от меня через две скамьи. Флямм пожаловался на меня Д — с-кому, у которого тогда я жил, и тот умягчил его гнев; дело кончилось только выговором мне. «Я не хочу сделать тебя несчастным!» — величественно, но с странным и неправильным произношением провещал мне Флямм, изъявляя свое прошение. Наиболее шалостей происходило в маленьких классах; в высших мир и тишина нарушались редко: обыкновенно Карл Иванович, выслушав здесь урок, склонял свою голову на учительский стол и преспокойно дремал, ожидая звонка. Но особенно много ему было хлопот с первым классом, где надо было выучить мальчиков читать по-немецки. Для этого принята была им следующая метода: мальчики, сидя на своих местах, должны были все вместе в один голос читать какую-нибудь фразу из учебной книги; каждое слово должны были выкрикивать отдельно и разом, по мановению руки учителя. И что это было! Шум и гам! Кто пищит изо всех сил, кто надувается кричать басом, кто читает хриплым голосом, а иной выводит нарочно какие-то странные, неведомые звуки. Карл Иванович в таких случаях ставил около себя *старшого* и приказывал замечать

шалунов. Однажды мы расшумелись так, что решительно не было ладу. *Старшой*, Цветков, ученик лет пятнадцати, был поставлен позади учительского кресла наблюдать за крикунами; но вместо того он сам принимал участие в общей забаве, — высовывал язык, кривлялся и в довершение всего стал размахиваться ладонью над лысиной учителя, как бы желая ударить; размахнется, поднесет ладонь к самой голове, да и назад руку. Взрывы хохота делались чаще и неугомоннее. Карл Иванович стал подозревать, что *старшой* ведет себя не совсем хорошо; захотелось ему поймать преступника на деле — он быстро приподнял свою голову в то самое время, как Цветков размахнул рукою, и удар, против воли самого виновника, плотно пришелся по лысине наставника. Эффект был поразительный! Все мгновенно смолкло, и на всех лицах выразился непритворный испуг. Раздраженный Карл Иванович выбежал из комнаты; а за ним бросился и весь класс умолять о прощении. У Цветкова отняли старшинство; имя его записали на *черную доску*. Надо сказать, что в каждом классе висело по две доски; *красная* и *черная*; на первой означались имена учеников отличных и благодетельных, на второй ленивых и дурного поведения.

Карл Иваныч Француз, кажется, остался на Руси от великой наполеоновской армии; говорил по-русски порядочно, любил выпить и посещал гимназию весьма редко; случалось, целые месяцы не показывал глаз, и мы посвящали это время играм или расходились по квартирам. Потом появится раз-два, и опять исчезнет на неопределенное время. Он заставлял нас читать, писать под диктовку или спрашивал из грамматики, которою мы, однако, занимались мало, рассчитывая на его нехождение, а потому большею частью время класса наполнял он рассказами (вечно одними и теми же) о смерти Вандома, о судьбе своих перочинных ножичков, которыми он гордился, и об истории своей собачки; тут, бывало, в десятый раз повторял он нам, сколько раз пропадал его ножичек и как находился, и проч. Какие же могли быть при этом успехи? Конечно, их не было и быть не могло; нельзя удивляться, как могли терпеть тогда подобных учителей и за что брали они жалованье.

Историю всеобщую преподавали, начиная с 3-го класса, по руководству Кайданова, а русскую — по Устрялову (изданному для гимназий). Прежде был учитель Цве-

таев, который заставлял зубрить книгу слово в слово и спрашивал урок всегда по книге; при мне он уже был инспектором, а новые учителя позволяли всегда рассказывать исторический урок своими словами и даже объясняли (хотя и не всегда) урок наперед. Это были Рындовский, оставивший по себе в гимназии память, что любил ругаться, и Словатинский — уже нового поколения человек, избегавший всякого неприличия. Что касается до ругательств, то предание сохранило много печальных воспоминаний об одном учителе рисования и чистописания, который ругал учеников по-мужицки, но в мое время его уже не было, хотя предание было еще свежо. Вообще учителя рисования и чистописания играли в гимназии самую жалкую роль; уважения к ним воспитанники не питали; на успехи в этих занятиях никто не обращал внимания, ибо для перевода из класса в класс довольствовались хорошими баллами по разным наукам, а на чистописание и рисование не смотрели. Я и многие мои товарищи, в продолжение 4-х лет учения, только и выучились рисовать кружки, неизвестно почему называвшиеся *глазами*, да нос, столько же похожий на нос, как и на губы.

Математика проходила в довольно широком объеме: арифметика (кажется, Бусса), алгебра и геометрия (Кушакевича, изд. для военно-учебных заведений). Я, как учившийся греческому языку, высшей алгебры не слушал. Учителя были: Бернгард и Долинский, которые всякий раз постоянно объясняли нам урок и весьма тщательно, особенно первый умел мастерски говорить с учениками меньших классов и передавать уроки весьма легко для их понимания; упражнения в задачах были постоянно. Математика много помогла развитию логических приемов в ученических головах.

Долинский проходил с нами еще и физику (по руководству Ленца), сопровождая уроки интересными опытами. Оба они были люди добрые. У Бернгарда я жил с другими учениками, отданными к нему родителями, и не могу не похвалить его ласкового обращения с нами, заботливости о нас, добросовестности; стол был у него всегда прекрасный, присмотр — тщательный. Хотя и он верил в силу розог, но прибегал к ним весьма редко и то только в отношении к самому меньшему возрасту. Но не могу похвалить его за одно: он придумал особое наказание, только им и употреблявшееся: *ладушки*. Обыкновенно

венно схватывал он виновного за руки, отворачивал обшлага рукавов и начинал бить одну ладонь о другую и бил весьма больно. Я таки довольно попробовал этих невкусных ладушков. Да еще любил он в классе ставить учеников на колени на рубце стола (столы были у нас покатые, но впередн отделялась рубцом горизонтальная узенькая дощечка, для того чтобы ставить на ней чернила и класть карандаши), что также было довольно чувствительно.

Д — ский учил географии по Арсеньеву и в низших 3-х классах русской грамматике, по краткому руководству Востокова. Ученье шло по обычной методе заучиванья наизусть; сверх уроков Д — ский задавал нам упражнения, т. е. заставлял писать под диктовку, учить басни Крылова и делать грамматические разборы. По предмету географии он давал выписки из других учебников (Соколовского, Греча и др.) в пополнение Арсеньева: мы должны были записать то, что он нам диктовал в классе (на что уходило много времени), и потом переписать и заучить наизусть.

Д — ский был господин весьма уклончивых свойств, мастер подделаться под чужие нравы и понравиться; он считался даже весьма снисходительным и ласковым и умел хорошо обделывать свои делишки. Ученики его прозвали Жако, *Бразильская обезьяна*. У него всегда жило много воспитанников (человек до 12), за которых он брал по 500 руб. ассиг. за каждого; и при том содержаньи, на каком они были, конечно, бывал далеко не в убытке. Я поступил к нему от Бернгарда и с 3-го класса до окончания гимназического курса прожил под его кровом, и не скажу, чтоб остались от этого времени только одни хорошие воспоминания.

Д — ский нанимал всегда порядочный дом; но для воспитанников своих отводил две-три комнаты, где они жили и приготовляли свои уроки все вместе; кровати стояли одна подле другой, в комнатах теснота и вечный содом, особенно когда начинали учить свои уроки, что всегда делалось вслух, громко. Один заглушал другого, и каждый мешал всем другим. Этот крик и гам далеко раздавался. Надзора за ученьем никакого не было; никто нам не объяснял уроков; мы зубрили их, выкрикивая разные фразы из учебных книг и тетрадок. Вся выгода житья в доме учителя ограничивалась только тем, что

наблюдали за нашим поведением, т. е. не позволяли воспитанникам никуда без спросу ходить, смотрели, чтобы не дрались, не делали шалостей и были бы послушны; но и это исполнялось слишком плохо; примеры некоторых воспитанников, бывших в мое время, — слишком живая протестация против воспитания, усвоенного г-ом Д — ским. Боже мой! Сколько шалостей совершалось ежедневно и сколько непозволительных вещей пропусклось сквозь пользы! Стесненные в одной комнате, мы, естественно, для развлечения затевали шалости и все участвовали в них. Предметом этих шалостей, большею частью, был отец Д — ского, — старик с большими странностями и не совсем нравственными наклонностями. Он жил вместе с нами, среди вечного шума и тесноты. Мы надавали ему массу метких прозвищ и передразнивали все его странные привычки, следили за ним, когда он перед обедом, тайком, пробирался к шкапчику с водкой (что ему не всегда дозволялось), и громко высчитывали число выпитых им рюмок. Он любил долго сидеть по ночам и читать при свете зажженной свечи какую-нибудь книгу, мурлыкая потихоньку, но вслух; тут обыкновенно какой-нибудь затейник, лежа в постели, жевал бумагу и нажеванным комком бросал в светильню; мы так в этом наловчились, что промаху почти не бывало; свеча гасла; раздраженный старик, ругаясь, брал подсвечник и отправлялся в кухню за огнем: но его ждали устроенные посреди темных комнат баррикады из табуретов, забывая о которых он нередко спотыкался и падал, а мы хохотали. Добыв огня, старик ворочался и обходил наши постели с палкою в руке, и беда тому, кто не спал. Мы все притворялись глубоко спящими, но это не всегда спасало нас от драчливой палки. От нас не ускользали и его любовные похождения: старикашка был страстный и сластолюбивый; он не пропускал ни одной кухарки, как бы она дурна ни была, скупость мешала ему в этих делишках и ставила его в безвыходно смешные положения, что много тешило нас, следивших за каждым его шагом. Часто жаловался он на неугомонных своих сожителей сыну, и тот прибегал с выговором, ставил на колени, драл виновных за волосы, щадя только тех, которые выросли и могли, что называется, сами дать сдачи. Жили мы больше на дворе или в своей комнате, в гостиную нас не пускали, а в залу ходили только обедать и ужинать; общего с семьей

учителя ничего у нас не было, и оттого мы, не зная другого общества, кроме школьного, дичали и грубели не по дням, а по часам. Стол у Д—ского не отличался хорошими качествами; жена его была скупая немка, и мы редко вставали из-за обеда сытыми, хотя обед состоял из 3-х блюд. Радовались мы, когда давали нам кашу: тут мы порядочно набивали желудки; но тертый сквозь сито картофель с гомеопатической примесью масла был нашим вечным неприятелем. После праздника Р. Х. ученики, возвращаясь из дому, привозили в подарок учителю по несколько пар гусей и уток. Он и еще больше жена его очень любили подобные приношения; я помню, как радовалась Эмилия Егоровна (жена Д—ского), когда ученики III класса поднесли на именины ее супругу чайный сервиз, купленный в складчину. Помню, с каким сладким взглядом и нисколько не стыдясь, говорила она мальчикам, что не худо было бы, если бы их родители присылали не только гусей и уток, но и по фунту чаю, и по голове сахару: «Вам это ничего не стоит, а мне бы было весьма кстати». Но памятно мне эти гуси и утки! Навезут, бывало, их после Крещения пар до 100, и начнут каждый день кормить нас жареным гусем; сначала идет хорошо, но чем дальше, тем хуже. Гусь до того опротивит, что решительно смотришь на него, как на врага. Начинаются оттепели; гуси, долго залежавшиеся, начинают портиться, и несмотря на то, что от них несетя противный запах, хозяйка продолжает угощать нас жареным гусем. Время этого гусяного нашествия было самое печальное для наших желудков; один только старикашка, отец учительский, пожирал их и похваливал, несмотря ни на что. Вот был завидный желудок! Чай давали нам утром и вечером, по стакану, жидкий, с мелким, припахивающим сахаром, с крошечным ломтиком белого хлеба, или заменяли его стаканом молока. Сколько бывало раздоров и смуты из-за обеда! Мы, как голодные зверьки, промышляли съестным: где только можно было утащить кусок хлеба, слизать сливки, подцепить яблоко и т. п. — мы этого случая ни за что не упускали. С экономкой Анисьей были, по поводу этих фуражировок и дрянного стола, постоянные войны, и я не могу забыть моей ссоры с нею по поводу блинов, которых нам дали по два, взамен обеда. После ужина все воспитанники Д—ского молились и отправлялись спать; молитвы читались по очереди учениками следую-

щие: *Верую, Отче наш, Богородица дева радуйся, Да воскреснет бог и помилуй мя, боже.*

Русскую словесность читал (в высших классах) Н. М. С—ов, которого потом заменил Петров и Мал—н. В IV классе заставляли нас учить славянскую грамматику, далее следовала нелепая риторика Кошанского, и еще нелепейшая логика Кизеветтера, из которой никто ничего и понять не мог. Учили все это наизусть и терзали бедного Кая беспощадно: человек смертен, Кай — человек, следовательно, Кай смертен, и т. подобные истины всегда приправлялись злосчастливым Каем. Петров заменил логику Кизеветтера логикой Рождественского, а риторику Кошанского — риторикой Плаксина, и это уже почиталось большим шагом вперед! В VII классе учили нас истории русской литературы и пиитики по Гречу; о ничтожности и бесполезности этого руководства и говорить не стоит. С — ов был ханжа в полном смысле. Всегда чисто, но чересчур скромно одетый, с постной и праведнической физиономией, с головой, нагнутой несколько набок, с глазами, часто поднимавшимися к небу, тихо и скромно входил он в класс. Ученики вставали и начинали читать молитву. Обыкновенно было заведено читать перед каждым классом и после каждого класса известные молитвы: Преблагий господи и проч. Эти молитвы от воскресенья Христова до вознесения заменялись троекратным чтением: Христос воскрес из мертвых. Перед и после латинского класса читали по-латыни *Pater Noster**, а в греческий класс ту же молитву по-гречески, или когда следовало читать: «Христос воскрес!», то эту молитву читали по-латыни и по-гречески. Но у С — ова никогда не ограничивались только одною молитвою; мальчики могли читать сколько угодно и какие угодно молитвы — все время он будет стоять и молиться с благоговейною кротостью. Мы знали это и, желая уменьшить время классных занятий, обыкновенно вычитывали все молитвы, какие знали, и таким образом иногда похищали по получаса времени. Были у нас и другие уловки избежать ученья, за которым и сам учитель не слишком-то гонялся; только стоило попросить его рассказать нам о чудесах Николая-чудотворца или другого святого, как С — ов с радостною улыбкою начинал свои бесконечные рассказы, и класс проходил незаметно среди его

* «Отче наш» — католическая молитва (лат.).

проповеди и наших шалостей, которым предавались мы под его монотонный говор. Урок свой С — ов очень часто начинал вопросами: был ли каждый из учеников у обедни и заутрени в минувшее воскресенье или праздник, какое читали Евангелие и Апостол, и требовал рассказывать их содержание. Если ответы были неудовлетворительны, то баллы выставлялись нам плохие, несмотря на то, знали ль мы урок или нет, и обратно. Своих воспитанников, которые жили у него на квартире, он замучил обеднями, заутренями и всенощными, сам всегда будил их к заутрене и таскал с собой в церковь, а дома заставлял вместе с ним молиться часа полтора на коленях, читая акафист Иисусу Сладчайшему или какому святому. Он заставлял нас переписывать разные места из Евангелия и других церковных книг печатным славянским шрифтом, и такое срисовыванье стоило нам порядочных трудов; эта работа назначалась ради знакомства с славянскою грамматикою. Книги нам читать он почти не давал из гимназической библиотеки, хотя мы и приставали с просьбами о том, и сам в классе не знакомил с русскими писателями. Исключение делалось только в пользу Муравьева и Жуковского. Пушкина называл он безбожником; романы считал ересью. С — ов и его приемники задавали нам сочинения в прозе и в стихах. Темы сочинений у С — ова были обычные: *четыре времени года, четыре возраста жизни, польза образования* и т. под. Сочинения, конечно, были из рук вон плохи; фразы клеились кое-как без связи; но мы знали, как угодить набожному наставнику. Стоило только соблюсти обычный прием, и как бы сочинение ни было пошло, в графе непременно ставилась отметка 5. Прием был не сложный: описываешь ли прогулку, надо было сочинителю в заключение услышать звон колокола, зовущего к заутрене или всенощной, и зайти в храм божий, поблагодарить подателя всех благ за такую приятную прогулку и за красоты природы, им насажденные, описываешь ли бурю — надо было закончить молитвою к богу, являющемуся в грозных тучах и молниях и напояющему дождем своим нивы поселянина. И мы воссылали эти благодарственные и хвалебные мольбы во всяком почти сочинении и кстати и некстати, — и эта уловка всегда удавалась нам.

Несмотря на такую излишнюю набожность, С — ов не всегда был свободен от движений гнева и вспыльчи-

вости; я помню, как раз с злостью бегал он по классу за учеником, чтобы ударить его; помню, как другого ученика ударил он по лицу; тот, наслушавшись евангельских поучений наставника, подставил ему другую ланиту; но С—ов, раздраженный и вне себя от такой выходки, сильно ударил его и по другой ланите несколько раз и поставил на колени (это было в IV классе с Третьяковым). С—ов постоянно терся около архиерея Антония, ожидая от него богатых и великих милостей, и, кажется, не напрасно, он скропал в плохих стишонках похвалу Митрофанию-угоднику и заставил каждого из нас покупать это стиходействие по 1 руб. серебром, он написал еще риторическую речь об Александре Невском и такое же жизнеописание епископа Воронежского Антония; составил акафист св. Митрофанию. Раз принес он в класс несколько свертков маленьких образков и раздавал всем ученикам, чтобы они помолились за больного архиерея. У него был сын, страшный баловень и весьма плутоватый господин: таковы были плоды его воспитания. Шалостей в его классе бывало всегда много, и однажды случилась пресмешная история. При гимназии был флигель из двух комнат, которые разделялись коридором. Коридор выходил с одного конца на задний двор, по которому бродила инспекторская телка. Телка забрела в коридор и, остановившись перед растворенными дверями нашего класса, замычала. Тотчас выскочило несколько учеников и, как будто прогоняя ее, вогнали в класс. Все вскочили со скамеек, и началась гоньба за телушкой. Учитель, перепуганный, кричит; мы тоже орем во всю мочь; телушка едва могла вырваться из класса. Ханжество С—ова служило предметом для насмешек его товарищей, других учителей. Как сердился он, бывало, когда его насмешливо спрашивали: «Что, Николай Михайлович, когда вы будете святым и откроются ваши мощи, в чем прикажете рисовать вас на образах: во фраке, мундире или просто в халате?»

Петров много упражнял нас в сочинениях, но был весьма недолго в гимназии. Помню, что при нем и после бывали у нас в гимназии чтения избранных ученических сочинений, в присутствии директора, учителей и всей гимназии; помню, что, наскучив поправкою наших бумагомараний, давал он нам какие-то стихи и прозаические статьи (откуда он их брал, не знаю) и заставлял

нас читать их, под видом наших сочинений. Прочтенные таким образом сочинения вносились в особую книгу, которая, вероятно, и теперь хранится в гимназии. Там есть и сочинения, читанные мною, хотя и не мною написанные. Мал — и был человек добрый, но недалекий; впрочем, в этом виновато более воспитание его в Харьковском университете, не давшее ему тех правильных взглядов на искусство и историю, до которых трудно дойти самому. Он, взамен Греча, дал нам собственные записки по истории русской литературы и чуть ли при составлении их не пользовался студенческими тетрадками. Записки эти были и не полны, и бессвязны, и поверхностны; видно было отсутствие специального изучения. Марлинский был похвален, Гоголь невыгодно выставлен; его комедия «Женитьба» названа *сальной*; древняя литература до Ломоносова признана несуществующею. Он привел только какие-то два стихотворения о Перуне и Бабе-Яге, весьма недавнего и плохого сочинения, в пример мифологических преданий о древнейшей словесности! О Кирше Данилове и народных песнях он не заикнулся. Впрочем, эти недостатки едва ли в то время не были общими всех учебников и учительских записок.

При мне был введен в Воронежскую гимназию греческий язык; учителем назначен был Соб — ч — из семинарии, где он также был наставником. По положению, греческий язык должны были слушать только желающие, начиная с IV класса, которым уменьшен был за то математический курс; мы знали это постановление и изъявили свое нежелание учиться греческому языку. Но благодетельное начальство, не входя в причины этого нашего нежелания и думая, как бы выслужиться, завербовав большее число воспитанников для греческого языка (мысль о введении его в гимназии принадлежала министру Уварову), приказало нам слушать уроки Соб — ча без всяких отговорок. Вот первый повод к той нелюбви, какую потом постоянно питали мы к греческому учителю. Он был человек весьма незлой, даже добрый, но за ним было ненавистное для нас название семинариста, и сверх того, сам он весьма плохо знал греческий язык, за преподавание которого взялся, как обыкновенно берутся за все науки учителя и профессора семинарий, где не спрашивают, что знает он специально, а приказывают сегодня учить одному, а завтра — другому.

Я знал семинарских профессоров, которые от церковной истории переходили на математику и т. п. Соб — ч и нас учил, и сам учился в одно время. Он сначала выучил нас читать по Рейхлинову произношению, следуя семинарскому преданию, а потом стал переучивать — читать по Эразмову произношению; он заставлял нас учить греческие слова и грамматику Бутмана, известную нам только по своей необыкновенной толщине, и переводил с нами отрывки из греческой хрестоматии: из Одиссеи Гомера и Геродота. Переводили мы мало: обыкновенно задавались нам по несколько строк приготовить дома, т. е. приискать в лексиконе слова, перевести на русский язык и заучить греческий текст наизусть. Мы учились кое-как; особенно надоедали нам спряжения с их бесконечными видами и аористами. Аорист представлялся нам каким-то чудовищем, и мы часто рисовали мелом на доске какую-нибудь уродливую образину с подписью: *аорист* и оставляли ее до прихода учителя, зная, что подобные выходки ему не по нутру. Впрочем, и сам учитель нередко ошибался в этих спряжениях. Я подметил эту нестойкость, и бывало, когда он спрашивает других, зорко слежу по развернутой книге за формами склонений и спряжений греческих, и как только учитель или поправлял ученика неверно, или сам ошибался, я с притворною и насмешливою скромностью вставал и, указывая на развернутую страницу книги, спрашивал: вероятно, здесь ошибка? Эти часто повторяемые вопросы смешили моих товарищей и сердили учителя, которого мы прозвали Псюхой. Поэтическое название души — первое греческое слово, которое мы узнали, так показалось нам (не знаю отчего) странно и смешно звучащим, что мы, переделав его в Псюху, дали это имя нашему мудрому наставнику. Впоследствии, когда мы прочли «Мертвые души» Гоголя, мы называли его Собакевичем, но первое прозвище постоянно осиливало и навсегда осталось за ним в гимназии.

Теперь расскажу одно происшествие, которое надолго осталось памятным в гимназических преданиях. Я был уже в VI классе. Раз мы все плохо знали урок греческий, и Соб — ч поставил всему классу по единице. Это так нас раздражило против него, что мы согласились вовсе не учиться у него, основываясь на том, что нас незаконно и против желания принудили учиться греческому языку. На следующий раз, когда пришел Соб — ч,

мы отказались читать молитву пред учением, не дали ему классного журнала и открыто объявили, что урока не учили и учить не станем, а хотим перейти на усиленный математический курс. После долгих увещаний со стороны учителя и грубых ответов с нашей раздраженный Соб — ч бросился по лестнице вниз из класса. Вслед ему грянул громкий смех и крик. Надо же было случиться еще, что учитель впоыхах споткнулся о ступеньку лестницы и упал, а смех и крик раздался еще сильнее. Соб — ч подал на весь класс (исключая 2-х, которых не было в то время в гимназии и которые не участвовали в нашем условии) рапорт инспектору. Дело началось со всеми подобающими юридическими тонкостями. Директор, бывший университетский синдик, Виноградский, назначил формальное следствие, которое производили инспектор, секретарь совета и еще один депутат (учитель). Нас призывали поодиночке, допрашивали, допросы записывал секретарь, и делали очные ставки. Допросы были весьма любопытны. Нас спрашивали: «Кто был зачинщиком сего возмущения? У кого возродилась первая мысль о бунте?» и т. под. После следствия было два совещания учителей, инспектора и директора, после чего было предложено нам, если мы желаем остаться в гимназии, то должно согласиться, чтобы нас высекли, а в противном случае всех нас исключат из гимназии. Мы твердо и единогласно отказались терпеть постыдное наказание и решились лучше быть исключенными. В таких печальных обстоятельствах стали мы думать о военной службе на Кавказе. Но дело кончилось гораздо проще. Директор решился не смотреть на наше негодование и обратиться к нашим отцам с тем же предложением; но благодаря бога отцы наши решили: пусть лучше исключат, а сечь не позволили. Мы находились в таком возбужденном состоянии, что решились бы на многое резкое, если бы нам действительно угрожало это наказание, с которым в глазах наших соединялось ничем не смываемое поношение. Директор собрал еще совет, на котором решено было наказать нас другим наказанием. Подвергать исключению весь класс побоялись; надо было бы донести об этом в университет,— и вышла бы история. В назначенный день была собрана вся гимназия, ученики и учителя; нас поставили впереди, секретарь прочитал нашу вину и определение о наказаниях; все присуждены были к заключению в

карцер: я — на неделю, как зачинщик всего дела, Средин на две недели, как нераскаянный, не давший никаких ответов на допросы, ему предложенные, остальные на четыре дня. Нас рассажали по разным пустым комнатам, отдельно, и выдержали определенное время, отпуская домой только на ночь. В класс во все это время нас не пускали, и мы уроков не слушали: так умно распродражились наши педагоги! Тем и кончилась эта трагикомическая история, акты, свидетельствующие о ней, наверно, до сих пор сохраняются в архиве гимназии на память потомства и во свидетельство неумелости директора со братией, которые придали такой торжественный характер школьной шалости. После того мы продолжали учиться греческому языку, но в отместку я и Средин написали стихотворную поэму под заглавием *Псюхиада*, в которой было воспето разными размерами, разумеется, с примесью поэтической вольности, все рассказанное мною происшествие, героем которой был Соб — ч — Псюха. Эту поэму мы читали в промежутки между классов товарищам, а по выпуску нашему из гимназии пустили ее вход между гимназистами, где она приобрела большую известность, переписывалась и перечитывалась и даже попала и в руки самих учителей. Я сказал, что мы продолжали посещать греческий класс и отвечать урок по требованию учителя; собственно же, мы ничему не учились и отвечали урок по развернутой книге. Мы завели общественный экземпляр Бутмана и оставляли его постоянно в гимназии; приходя в класс, мы вытаскивали эту единственную книгу, и кого спрашивал учитель, к тому передвигалась и книга; так обходила она обе скамьи, из которых состоял весь класс. Учитель смотрел в свою книгу, отвечающий в свою, и баллы выставлялись постоянно удовлетворительные. Соб — ч очень хорошо знал, что мы отвечаем урок по книге, и молча допускал это; случалось несколько раз, что он забывал принести с собою грамматику и просил нашего Бутмана, чтоб по нем спрашивать; тогда мы прямо говорили: а по чему же мы будем отвечать урок? Он посылал искать греческой грамматики в другом каком-нибудь классе, и пока, бывало, не найдут книги и не принесут, спрашивать урока не решался. Наступил выпускной экзамен; что было делать нам? Грамматики мы не знали, переводить не могли, и вот трое из нас — в том числе и я — от лица всего класса отправились к

Соб — чу на дом, откровенно объяснились, что ничего не знаем, отвечать не можем, что он должен заранее назначить нам вопросы, кого а чем спросить и что заставить переводить, чтобы мы могли приготовить эти вопросы, а то ему же будет хуже, если из его предмета ни слова отвечать не будем. Делать было нечего, — Соб — ч согласился назначить нам вопросы из грамматики и по небольшому отрывку из Одиссеи; на выпускном экзамене было разложено им множество билетиков с вопросами; но что бы ни взял ученик, он спрашивал его то, что назначил прежде, — все отвечали хорошо. И вот за эти познания в греческом языке дали нам право на XIV класс!

Класс наш постепенно, как и все другие классы гимназии в мое время, отличался большим дружелюбием и согласием между собою; твердым убеждением и правилом было: никого не выдавать и ни под каким видом и ни в каком случае. Имя фискала самое позорное, которым награждался изменник или не желавший участвовать в шалости всего класса. В нашем классе был один (Пав — о), которого мы все подозревали в шпионстве и потому от души его ненавидели. Что ему, бедному, доставалось от нас претерпевать! Сколько колотушек перенес он! Бывало, сообщаясь согласимся дать ему ударов сто ладонью по голове, разделим это число между всеми учениками, и непременно каждый влепит свою долю, несмотря на его жалобы и угрозы инспектора. Что-то зверское было в этом мщении!

Сверх указанных мною наказаний, в гимназии обыкновенно употреблялись следующие: ставили на колени, оставляли без обеда, нередко весь класс; но мы всегда находили возможность купить себе белых хлебов, яблок или орехов и колбасы и бывали весьма довольны; в свободное время между классами от 12 до 2-х часов предавались мы всем возможным шалостям, и нам в таких случаях было всегда весело. Кроме того запирали виновного в карцер. Это темный закоулок в коридоре под лестницей, куда сторожа клали дрова. Наконец было в большом ходу и сеченье розгами. По гимназическому уставу, это наказание было дозволено только в 3-х низших классах; но бывали примеры, что инспектор нарушал это постановление, хорошо нам известное, и подвергал ему учеников 4-го класса. Почти каждый день видишь, бывало, как через гимназический двор идет инспектор, за ним сторож и толпа учеников, которые

громко ревут и просят прощения. Толпа всегда направлялась к флигелю, в котором помещалась канцелярия; там производилась, по приказанию инспектора, экзекуция, и потому выражение: *водили в канцелярию* у нас значило просто *высекли*. Помню, как дрожал я от страха, когда я был еще в 1-м классе и инспектор высек розгами одного нашего товарища в самом классе, в присутствии всех. Меня высекли в гимназии один раз, когда я был в 3-м классе, за то, что, воспользовавшись уходом учителя из класса, я свистнул от нечего делать. Но особенно любопытно происшествие со мной, когда я был уже в 4-м классе. Раз я подрался с одним товарищем и порядочно поцарапал ему лицо; инспектор Цветаев рассудил высечь нас обоих и велел идти в канцелярию. Товарищ моего несчастья с плачем отправился туда, но я улучил минуту, схватил фуражку и пустился домой, на квартиру Д—ского. Прибежал я запыханный, сердце мое билось, негодование против инспектора, желающего поступить со мной вопреки гимназического устава, было сильно возбуждено; едва переводя дух и дрожа, как в лихорадке, я сел на табурет, и вслед за тем явился посланный за мною из гимназии солдат. «Пожалуйте, ваше благородие, в гимназию; инспектор за вами прислал», — сказал он. «Зачем?» — «Вас хотят высечь», — спокойно и серьезно отвечал солдат. Несмотря на такое посольство, я наотрез отказался идти в гимназию, и не пошел. На другой день, по увещанию Д—ского, который уверил меня, что история в канцелярии не возобновится, пошел я в гимназию. Дело решилось тем, что противника моего простили (не секли), а мое имя написали на *черную* доску, а с *красной*, на которой оно было написано, стерли. С этих пор постоянным моим занятием, в течение целого месяца, было — ежедневно стирать свое имя с черной доски, что делалось уловкою и тайком; но смазанное, оно вскоре писалось на ней снова. По поводу этого происшествия Д—ский писал к моему отцу о позволении наказать меня розгами, но отец на это не согласился. Ответ отца вместе с письмом Д—ского я берегу, как дорогой для меня памятник светлого взгляда этого человека на воспитание. Исключения из гимназии были редки; я помню один случай, который сильно запал мне в память по той торжественности, какую он был окружен. Я был во 2-м классе; раз всю гимназию собрали в залу, поставили впереди одного из учеников на-

шего класса, Соколова, и секретарь прочел определение об исключении его из гимназии за дурное поведение. Соколов был избалованный и действительно дрянной мальчишка; испорченный дома, он менее всего мог обрести чувство стыда в гимназии, где его непрерывно секли, так что наказание розгами ему сделалось ничем. Когда приводили его в канцелярию, он без слез, а иногда с усмешкою спокойно раздевался, ложился сам и получал положенное число ударов. Нагадить учителям и инспектору — для него было большое наслаждение, и наконец он порезал шинель одному из учителей перочинным ножичком. По прочтении советского определения директор закричал: «Солдат!» Солдаты явились, посадили виновника на кресло, отпороли ему красный воротник и потом вывели с гимназического двора. Исключили было еще одного моего товарища из IV или V класса (Милошевича), но потом снова приняли в гимназию, по просьбе его матери. Милошевич был мальчик вспыльчивого и решительного характера, не мог покорно снести ни постыдного наказания, ни оскорбительного слова. За одну ссору инспектор захотел наказать его розгами; он убежал в гимназический сад. За ним послали несколько солдат. Прислонившись к дереву, он долго защищался перочинным ножичком и порезал в нескольких местах руки солдат. Следуя старине, гимназическое начальство крепко верило в спасительную силу розги, хотя частый опыт и должен бы, кажется, в том его разуверить. Это наказание приносило одни пагубные плоды: раздражая одних до неестественного в ребенке ожесточения и ненависти и пробуждая в нем отчаянную решимость, оно в других подавляло всякий стыд и очевидно развращало их нравственное чувство. То же должно сказать и о других наказаниях, придуманных хотя близорукими, но зато длиннорукими педагогами. Когда решились принять снова Милошевича в гимназию, то директор Виноградский, любивший все делать торжественно, собрал всю гимназию и сказал по этому поводу длинную и напыщенную разными риторическими украшениями речь. До таких речей он был большой охотник и пользовался каждым случаем, чтобы отпустить громкую фразу.

Всякий день у нас в гимназии было 4 урока, два утром и два после обеда; урок продолжался полтора часа; это довольно долгое время учителя наполняли тем, что

спрашивали у учеников уроки; но объяснять нам уроки сами (кроме учителей математики) и не думали; и как в низших классах было много учеников, то учителя поручили лучшим из них спрашивать по несколько других воспитанников каждому. Эти ученики назывались аудиторами. Они выслушивали у назначенных им учеников уроки и ставили им отметки, которые иногда поверял учитель. Нередко учителя оставляли класс и уходили в другой повидаться с другим своим товарищем и по полчасу разговаривали о вчерашней игре в карты или о каких-нибудь сплетнях. По окончании месяца всякий учитель подавал инспектору ведомость об успехах учеников, после чего бывал совет, и определение его читалось в присутствии всей гимназии: чьи имена следует написать на красную доску, чьи — на черную и кому определяли какие наказания. Затем следовала новая рассадка воспитанников, смотря по их успехам. В конце года происходили экзамены по программе, составленной в университете, ученики выходили по очереди, брали билет и отвечали на него; им ставили отметку за этот ответ. Экзамены происходили в присутствии директора, инспектора и назначенных учителей. После того следовал совет о переводе учеников из класса в класс, и ваканция, т. е. ученики разъезжались на июль месяц по домам; ездили домой еще на Р. Христово от 23-го числа декабря по 7-е января; тогда нам выдавались билеты с отметками об успехах и поведении. После вакансии бывал публичный акт, на котором читались учениками приветственные и благодарственные речи к посетителям; учителя читали свои речи, — почти всегда о *пользе своей науки*; ученики читали стихи и избранные сочинения свои или классических писателей. Немецкий учитель всегда читал по-немецки, французский — по-французски, латинский — по-латыни. Во время этого чтения гимназия поила посетителей чаем, угощала арбузом, дыней и яблоками. На публичном акте всегда бывал архиерей, который раздавал похвальные листы и книги ученикам, отличившимся успехами и поведением. Вспоминаю одну речь, произнесенную Соб—чем о пользе греческого языка, которая начиналась так: «Было то золотое время, когда все народы говорили на одном языке», и в которой особенно понравилось мне то место, где автор, распространяясь о картинности греческого языка, говорил: «Уже в самых звуках сего языка слышится подражание природе;

так, в звуках греческого слова *Βους*, бык, не слышится ли голос сего животного: *бу-бу!*» Выкрикивая грубое *бу-бу*, педагог из всех сил тщился подражать быку, что ему и удалось, к общему удовольствию публики.

В классы мы любили собираться пораньше, задолго до начала уроков, и тут-то предавались всевозможным шалостям и резвостям, которые продолжали и в промежутках классов, при перемене учителей. Тут в гимназическом саду или на заднем дворе затевались у нас зимою снежки, а летом беготня и драка на кулачки. В снежки мы играли так: класс выходил на класс, или несколько классов соединялись и выступали против других классов, и победители долго гнали побежденных, преследуя комками оледенелого снега; и те и другие часто возвращались в классы с подбитыми и всегда раскрасневшимися лицами. На кулачки дрались гимназисты несколько раз в первые годы моего гимназического воспитания с учениками уездного училища, с которыми, неизвестно почему, была давняя вражда. Неприязненно смотрели гимназисты и на семинарию, и на кантонистов; но здесь до открытого боя не доходило, а кончалось перебранкою и отдельными стычками. Кантонисты дразнили гимназистов за красные воротники — красной говядиной, но самое обидное слово было то, когда кантонист при встрече на улице с гимназистом закричит: «Лягушки в кармане!» Что значило это выражение и почему почиталось оно обидным — никто не мог бы объяснить. И что бы, казалось, могло быть в нем обидного? Но, бывало, какую злобу и гнев почувствует гимназист, услышав эти слова. В ответ понесется брань, а досадный кантонист продолжает свое ужасное: «Лягушка в кармане! лягушка в кармане!» Я только один раз, и то невольно, был зрителем кулачного состязания гимназистов с уездным училищем. Помню, что по этому поводу ученики уездного училища присылали к нам в гимназию парламентаря с такого рода письмом: «Вы, негодян, скоты, etc. выходите сегодня в 6-м часу после классов на такую-то улицу; мы вас, негодяев, и etc. хотим поколотить!» На это любезное послание последовал не менее любезный ответ: «Выходите сами, негодяи, а мы вас, дураков, не боимся». В назначенный час в самом деле они сходились, и с удовольствием повествовала потом каждая сторона о собственных подвигах в важном деле развития носов и скул. Но эти гомерические нравы вскоре после

того стали упадать и исчезли, когда появились при гимназии надзиратели, которых прежде не было. Между этими надзирателями памятен один Готшалк, или Готшалка, как мы его звали. Маленький ростом, хитрый, пронырливый, он все знал и всюду являлся невзначай и заслужил полную нашу нелюбовь. Я убежден, что из него мог бы выйти отличный шпион: природа дала ему все для того нужное.

На вакациях я уезжал в уездный город (Бобров) и здесь-то познакомился с уездным обществом и его нравами; но мало вынес отрадных воспоминаний: сплетни, взаимное недоброжелательство, пустые ссоры, мелочное самолюбие и тщеславие, бесконечные претензии и отсутствие общественности. Одна великолепная природа мирит меня с тамошними местами и дает мне несколько приятных воспоминаний. О праздничных увеселениях городка не говорю: они так верно описаны Потехиным в одном очерке, напечатанном в «Современнике».

В 1844 году, по окончании курса в гимназии, я уехал в Москву и поступил в Московский университет на юридический факультет...

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (1844—1848 гг.)

Вступительный экзамен я выдержал пополам с грехом, что называется. В Москве сначала очутился я совершенно один, никого — ни знакомых, ни родных. В этом многолюдстве я чувствовал странную пустоту, и тоска невыносимая теснилась во мне. Но скоро я свыкся с Москвою и с юношеским жаром привязался к университету. Для меня в эту эпоху все было погружено в жизни университетской, ею одною была полная и моя собственная жизнь. Начинаю воспоминания об университете.

Попечителем в это время был граф С. Г. Строганов¹, а инспектором студентов П. С. Нахимов², брат адмирала, синопского героя. Это было едва ли не самое счастливое время Московского университета, по отсутствию всяких стеснений и формализма, которыми так любят щеголять в наших учебных заведениях, и низших, и высших. Граф — человек весьма почтенный, благородный, любитель русской археологии: у него есть и прекрасная биб-

лиотека, и собрание старинных икон, и собрание монет. Он любит искусства, основал в Москве Строгановское училище живописи и напечатал прекрасное архитектурное издание «Дмитриевский собор во Владимире». С профессорами и студентами он всегда был учтив и вообще всегда и во всем умел держать себя с благородною гордостью хорошо образованного аристократа; он не принуждал нас быть вытянутыми и застегнутыми во время лекций — и это много значило в наше время. Были случаи, что граф помогал бедным студентам, давая им займы свои деньги для своевременного взноса в Московский университет за слушание лекций. (Плата эта была сначала меньше 40 руб. сер., потом увеличена до 50 руб. сер. в год.) Студенты все его очень уважали и в нынешнем году (1855), хотя уже он давно оставил университет, в день юбилея Московского университета (12 января) многие из окончивших при нем курс и теперь служащих в Москве собрались и ездили к нему на квартиру и записали свои имена, выражая тем свою память и свое уважение к его имени; графа не было тогда в Москве, он был в С.-Петербурге.

Нахимова мы все от души любили, да и он любил студентов, как своих детей. С простотой, по-видимому, несколько суровой, он соединял душу необыкновенно добрую и сердце мягкое; одним словом, он живо напоминал мне прекрасный характер Максима Максимовича (в «Герое нашего времени»). Как военный человек, с раннего утра был он уже в форменном сюртуке, застегнут на все пуговицы, на вытяжку; волоса его были подстрижены, елико возможно, низко — под гребенку, с небольшим хохолком спереди. Как моряк, он любил выпить лишний стакан рома и **всякий день** уже с утра, бывало, отдает этот долг старинной **привычке**. Он осматривал всякого студента, попавшегося ему на глаза, и если что было не по форме, тотчас же делал распеkanie. На форму свыше требовалось от университетского начальства, чтоб оно обращало наиболее внимание. Покажутся ли серые панталоны, белые воротнички или голубой кантик, пущенный не на месте, ради щегольства, или длинные волосы — краса, которой многие так гордились, — Платон Степаныч (которого шутя называли Флаккон Стаканыч, намекая на его любовь к крепким винам) пускался в догон за ними или сам, или посылал своих суб-инспекторов; в карцер он сажал весьма редко, и де-

ло кончалось наставлением и угрозой посадить в другой раз в карцер. В пример, как должно носить волосы, он всегда указывал на свою собственную прическу.

О Платоне Степановиче постоянно ходили анекдоты, свидетельствовавшие об его доброте и даже наивности.

Однажды в великий пост, когда говели казенные студенты, поп Терновский³ объявил на исповеди двум студентам, что за какие-то важные грехи он не допустит их к причастию; студенты-грешники обратились к Платону Степанычу; тот бросился к Терновскому уговаривать его быть снисходительнее. Долго отговаривался Терновский, наконец сказал: «Не могу... Иисус Христос сказал...» — и уже был наготове текст, как Нахимов нетерпеливо и почти с отчаянием прервал его: «Что Иисус Христос! что граф-то скажет?..» Это последнее возражение возымело силу, — и студенты допущены были к св. причащению.

Раз пришел к Платону Степановичу хозяин трактира «Великобритания» (здесь постоянно кутили, пили и закусывали, играли на бильярде — студенты, и трактир, находившийся как раз около университетских зданий, напротив экзерциргауза⁴, считался и назывался *студенческим*) с жалобой на какого-то студента, который, забравши у него порядочную сумму, не платит и еще требует. Платон Степанович отправился в «Великобританию» сам.

«Ты задолжал; не платишь, да еще буянишь», — сказал он студенту (Платон Степанович всегда говорил студентам ты; к этому все привыкли, и нас бы удивило, если б он обратился иначе, с вежливым вы; все знали, что это простота и привычка, а никак не грубость).

«Я-с, Платон Степанович, не собрался с деньгами; я ему заплачу... а он — просто грабит, цены берет хорошие, а если бы вы видели, какая у него водка скверная, хоть не пей! вот извольте попробовать сами».

Платон Степанович взял рюмку и вылил: «Ах ты, мошенник, — закричал он на трактирщика, — такую-то продаешь ты водку!» — и распек его на чем свет стоит, а потом, обращаясь к студенту, сказал: «А ты бы лучше ром пил!»

Тем расправа и кончилась.

Как-то вошел он в ту комнату, в которой вилась чугунная лестница во все этажи (в промежутке между лекциями мы обыкновенно собирались на эту лестницу по-

болтать и позевать), и увидел студента, который с третьего этажа перегнулся через перила: «Вот, только упади,—закричал снизу Платон Степанович,—так сейчас посажу в карцер!» Но кого бы посадил он в карцер, если б неосторожный студент упал с 3-го этажа на каменный помост?

Кстати припомню здесь шалости студента П. П. Боткина, который сшил себе широкие панталоны из какой-то весьма тонкой материи красного цвета и принес их раз с собою в университет в кармане; в промежуток времени между лекциями он надел их сверх своего форменного костюма, вышел на площадку лестницы и облокотился о перила. Вдруг, к ужасу своему, суб-инспектор Понтов замечает снизу студента в красных панталонах; бежит он по лестнице вверх, но пока пробежал ступеней более сотни, прерываемых длинными площадками, студент уже снял свои красные штаны, спрятал в карман и спокойно глазел по сторонам.

Понтов, в вечно прилизанном парике, щепетильно чистенький и с ухватками кошки, которая как будто гладит лапкой, а того смотри: вот-вот царапнет! — вбежал в нашу аудиторию, ищет красных панталон и не находит. Удивленный, сходит вниз, взглядывает вверх — о, ужас! красные панталоны появились снова. Снова бежит он по лестнице, и опять штаны исчезли. Сколько мы хохотали этой проделке, заставившей нашего общего нелюбимца Понтова совершить препорядочный моцион.

В 1847 году граф Строганов оставил университет, а вместе с ним покинул университет и Нахимов, который был сильно привязан к графу и не хотел оставаться при новом попечителе; это наделало много толков в Москве, где университетские новости всегда принимались к сердцу. Студенты искренно сожалели. Помню, как Платон Степанович обходил все аудитории и прощался с студентами, пришел он и в нашу аудиторию и, по-видимому, хотел что-то сказать нам на прощание, но на глазах его выступили слезы (этих слез никогда я не забуду!), и он только промолвил слово *прощайте!* с просьбой не забывать его. У нас у самих заблестали на глазах непритворные слезы. Лучшая похвала графу и Платону Степановичу та, что никто не помнил, чтобы при них был исключен какой студент или попал в солдаты, что (говорят) случалось позже в короткое время заведования университетом помощника попечителя Голохвастова⁵. Нахимов

умел все неприятные истории погашать в самом их начале; он был постоянным, самым ревностным заступником студентов перед графом и даже перед профессорами (во время экзаменов); его просьбы уважались, и нередко полученная на экзамене единица была, ради его просьбы, переправляема.

Раз один студент, получивший единицу чуть ли не из медицины, обратился к нему с просьбой попросить за него.

— Вот теперь пристаешь,— сказал Платон Степаныч,— а зачем не учился?

— Помилуйте, Платон Степаныч, я оглично знаю; ну хоть сами спросите.

— Да, есть мне когда вас спрашивать!— отвечал старик, не признаваясь, что в медицине он ни аза не смыслит; подошел к профессору и упросил переправить отметку.

Место Строганова заступил Голохвастов, который недолго удержался в университете, а место Нахимова — Шпейер (ныне, в 1855 г., директор 1-й Московской гимназии), толстый, некрасивый и необходимый господин, который тогда же был весьма удачно прозван студентами моржем. Я был уже на 4-м курсе и при этих господах оставался несколько месяцев; потому особенных воспоминаний о них не вынес, а помню только, что любовью они и после не пользовались. С этого времени началось требование соблюдения строгой формы во всем. Нахимов был избран в директоры Шереметевской больницы; на этом месте вскоре он и умер. Многие студенты провожали его гроб в могилу; тогда же вышел его литографированный портрет, весьма похожий.

Теперь надо рассказать о профессорских лекциях.

Науки разделялись в университетском преподавании на факультетские и побочные; первые составляли предмет главных, специальных наших занятий; баллы, полученные на экзаменах из этих наук, принимались в расчет при определении степени окончившего курс студента: $4\frac{1}{2}$ в среднем выводе давало степень кандидата, а $3\frac{1}{2}$ — степень действительного студента; побочные, не главные науки входили в курс общего образования; и баллы, полученные из них, принимались во внимание только при переходе с курса на курс, но для этого достаточно было $3\frac{1}{2}$ в среднем числе, следовательно, можно было полу-

чить из нных и двойку. Поэтому мы вообще мало обращали трудов на эти науки, преимущественно занимались факультетскими. Студентам, при поступлении их в университет, раздавались табели, т. е. краткие правила поведения.

На первом курсе юридического факультета преподавались только две факультетские науки: во 1-х, энциклопедия законоведения — ординарным профессором П. Г. Редкиным⁶, и во 2-х, история русского законоведения К. Д. Кавелиным.

Редкин пользовался в университете большою известностью, впрочем, не совсем заслуженною. Он читал свои лекции с ораторским одушевлением. Обыкновенно лекции в Московском университете излагались устно, а не читались по тетрадке, хотя выражение «читать лекции» и было у нас техническое и всеми принятое. Студенты записывали лекции со слов профессора, и записывали мастерски после навыка; некоторые умели записать лекцию слово в слово, как бы скоро она ни излагалась. Для этого у всякого были свои сокращения и знаки.

Нас на 1-м курсе было более 200 человек, да для некоторых лекций соединялись с нами словесники; потому занять место на передней лавке, поближе к профессору, считалось весьма важным делом. Как рано, бывало, приходили мы для того в университет! Иногда толпою ожидали, когда солдат отворит в определенное время дверь аудитории, и тогда все наперебой бросались занимать места, т. е. положить на избранное место свою табель, тетрадь или фуражку, вечно измятую из особенного франтовства. Место, на котором лежала фуражка, считалось уже неприкосновенным. Не так уважались тетради; иногда их сбрасывали, и при этом выходили из-за мест споры и ссоры. Не успевшие занять места на передних лавках усаживались на ступенях профессорской кафедры, так что профессор постоянно бывал окружен толпою студентов с их тетрадками и чернильницами. Такая ревность бывала, разумеется, на первых двух курсах; в последних курсах студентов было уже несравненно меньше, и за места нечего было опасаться; в малых аудиториях голос профессора всюду был хорошо слышен.

Я сказал, что Редкин читал с одушевлением оратора; он любил отпустить иной раз пышную фразу, особенно при окончании своей лекции, причем обыкновенно разго-

рячался и возвышал голос и говорил быстро; в выговоре его слышался неприятный малороссийский акцент (он был из Полтавской губернии), а в лекциях часто попадались иностранные слова: индивидуальность, конкретность, абсолютность, абстракт и проч. Меня сильно поразила его первая лекция, которую начал он вопросом: «Милостивые государи, зачем вы сюда явились?» — и потом сам же отвечал, что нас вело в университет предчувствие узнать здесь истину и сделаться в своем отечестве защитниками правды. «Вы жрецы правды — вы юристы!» — восклицал он и окончил лекцию любимую своею поговоркою: «Все минётся, одна правда остаётся!» — причем быстро соскочил с кафедры и убежал, что он делал очень часто. Редкин вместе с другими попал в университетский институт*, причислен был ко II отделению собственной его величества канцелярии и послан за границу для юридического образования; в Германии он увлекся философиею**, и когда он воротился и начал свои лекции, то в них постоянно проглядывала и немецкая конструкция в изложении, и философское направление в содержании. Он был истый гегелист; Гегеля он уважал по преимуществу между всеми германскими философами и по его началам построил все свои лекции. Он толковал нам о принципе, из которого все развивается, о грех моментах в круге развития: момент — абсолютного, всеобщности, момент—конкретного обособления и момент единства того и другого; от этой тройственности он не отступал ни на шаг. Все лекции его делились на три части, из которых каждая опять на три, и так далее, что если и придавало им строгий систематический вид, зато всегда искусственный и изысканный. В «Энциклопедии законоведения» он объяснял нам развитие права по трем его моментам: право обычное, законодательство и право юристов: право обычное — темно, бессознательно истекающее из массы народа, — это первый момент; второй — будет законодательство, где право высказывается уже с сознательною целью, исходит от лица и обуславливается его произволом; наконец, в 3-м моменте, в котором два первые являются в единстве, право вступает на высшую ступень; здесь оно бывает уже плодом трудов образованных юристов, вышедших из народа и ведающих его нужды и потребности. Право обычное восходило по сле-

* В этом институте были: Орнатский⁷, Лешков⁸, Иноземцев⁹, Грановский и другие.

** Он был и в Испании.

дующим ступеням: а) устные юридические пословицы и поговорки, в) юридические символы и формулы и с) записанное обычное право. От вещественных, грубых символических форм право, все более и более одухотворяясь, принимает словесную оболочку и в последнем своем моменте приближается уже к законодательству и как бы становится первым моментом в развитии этого последнего. Законодательство проходит также три момента: а) отдельные записанные постановления, в) свод и с) уложение, т. е. не только собранные в одно целое, но и подвергнутые критике законопостановления, следовательно, здесь уже ясно влияние законоведцев (юристов). Право юристов, выражая в себе вполне сознательное развитие права, возвращает его народному обычному источнику, и таким образом, конец совпадает с началом и круг развития завершается. В предисловии* к этим лекциям П. Г. Редкин объяснил нам название науки, ее методу, источники, возможность, действительность и полезность, доказывая философское положение: «Все, что возможно, то и действительно».

Несмотря на явную искусственность и однообразие системы, лекции Редкина нам, первокурсникам, явившимся из гимназии и из родительских домов с малоразвитыми головами, оказали в своем роде пользу. Они заставили нас видеть в явлениях сего мира внутреннее развитие и в этом развитии признавать постепенность; показали нам, что ничто не возникает вдруг и что есть законы, которых нельзя обойти. Мы были в восторге от его лекций, но это продолжалось только на первом курсе. Уже на втором курсе, где читал он «Государственное право» (коренные законы, учреждения и законы о состояниях), увлечение наше значительно ослабело, а на 4-м курсе мы уже нисколько не восхищались его гегелевскими замашками и смотрели на них с благоразумною грезвостью. На 4-м курсе Редкин имел обыкновение менять свои лекции; предшественникам нашим он читал один год философию права по Гегелю, другой год сравнительный (и весьма любопытный) курс современного гражданского права во Франции и Англии; нам читал он историю философии права — предмет весьма интересный, но доведенный им только до новой истории, и то средневековое учение изложено им было весьма кратко;

* Которое также делилось и подразделялось на неминуемые три части.

в трех лекциях — не более. Зато древний период прочитал пространно; он даже перевел нам целые места из сочинений Платона, Аристотеля и Цицерона о государстве и законах. Изложение, впрочем, было несколько сухо и по-старому натянуто на гегелевскую тройственную систему, которая так сильно надоела нам под конец. Той же системе подчинял он и государственное право, или, правильнее, свое длинное предисловие к государственному праву, читанное им более полугода; постановления свода законов изложены им были весьма кратко и без всякого указания на их историческое происхождение и судьбу. Помню только, что лекции Редкина о разных формах правления, о значении и формах конституционного устройства были и живы, и любопытны, и либеральны. Этим последним качеством (либерализмом) отличались, впрочем, все его лекции, и это-то особенно располагало нас в его пользу. В жизни он — строгий формалист и потому бывал несносен. Если не в срок подавали ему студенты конспекты лекций, которыми он нас мучил, то ни за что уже не брал, хотя бы это было на другой день после срока, а потом за неподачу конспекта ставил дурной балл.

Другой факультетский предмет на первом курсе читал нам адъюнкт К. Д. Кавелин, именно «История русского законовещения». Это был первый год его университетской службы. Он довел свои лекции до Петра Великого. В последующие годы лекции эти явились более обработанными, но далее Петра не касались. Кавелин излагал живо и просто; лекции его, хотя далеко не представляли подробного собрания фактов, нравились нам потому, что были исполнены мысли. В своих лекциях Кавелин старался высказать и пояснить те начала, которыми условливалось внутреннее развитие русской истории, и хотя многое им оставлено было в стороне, другое решено поспешно (впрочем, малая разработка источников в то время еще не позволяла делать решительных общих выводов), тем не менее многое было им угадано; взгляд его на историю и вместе с тем характер его лекций выражен им в статье, напечатанной в 1847 году в № 1 «Современника»: «Взгляд на юридический быт Древней России», в статье, которая в свое время расхвалена любителями старины, но которая теперь при открытии новых памятников и при появлении новых специальных работ, конечно, во многом неудовлетворительна. Автор,

поставив краеугольным камнем своего труда личность, не объяснил точно, какой дает объем этому понятию и в какой мере справедливо отрицает влияние личного начала во всей допетровской истории; во всяком случае, едва ли верно приписано такое позднее развитие личности в юридической сфере наших предков. Это уступка придуманной системе и некоторым увлечениям западной партии¹⁰. Сверх того, в этой же статье Кавелин у целой эпохи безгосударной отнял всякое значение во внутренней жизни русской нации!.. Кроме лекций «История законоведения» он читал еще для студентов других факультетов законы об учреждениях, по Своду, с историческими заметками.

Кавелин — человек умный, с душою в высшей степени благородною, доброю и систематичною, характера живого — с людьми сблизается скоро и всегда готов на услугу, в обществе говорлив, в нем есть что-то привлекающее к нему; но способен увлекаться и в жизни, и в науке, хотя и в этом увлечении нельзя не видеть открытых юношеских и прекрасных порывов, за что многие в дружеском кружке называют его дитяткою, или, по выражению Краевского, «превечным младенцем». Я с ним познакомился еще студентом (на 3-м курсе) и с тех же пор полюбил его от души. Наши дружеские отношений и взаимного уважения нисколько не поколебали те литературные споры, в которых каждый из нас горячо стоял за свое убеждение. Когда печаталась моя статья «Ведун и Ведьма», Кавелин, уже служивший в С.-Петербурге, приезжал оттуда в Москву. Мы виделись и сообща решились спорить откровенно и прямо, не женируясь¹¹ нашими дружескими отношениями.

— Ведь я стану ругаться хуже всякого Погодина, — сказал он мне.

— Я и сам зубаст!

За этим мы расцеловались и расстались. Но о своих литературных спорах скажу ниже.

Нефакультетские предметы на первом курсе были: а) теория словесности (риторика) — читал проф. С. П. Шевырев; б) богословие (догматическое и нравственное) — протоиерей Терновский; в) латинский язык — лектор Фабрициус и д) немецкий язык — лектор Гёринг. Прежде читал на этом курсе древнюю всеобщую историю профессор Крюков¹², оставивший по себе память красноречивого профессора, основательного ученого и

превосходного человека. Эта кафедра оставалась свободною по причине тяжкой его болезни, от которой он вскоре и умер. Грановский, его друг, собрал было студенческие записки лекций Крюкова и думал издать его Древнюю историю в пользу семьи покойного, но намерение это не состоялось, и, кажется, единственную причину этого была лень Грановского, который с особенною готовностью берется за многое, но редко что сделает: или не окончит, или и вовсе не начнет.

С. П. Шевырев начал свои лекции насмешками над немецкими риториками, составленными по старому образцу, потом приступил к изложению своей риторики, которую также разделил на три части: вместо источников изобретения он поставил: чтение писателей и образование пяти физических чувств (зрения, etc.) и душевных способностей человека (воображение, воля и др.), как необходимых для того, чтобы развить в человеке наблюдательность, живость впечатлений и творчество. Говоря о расположении, он делил всякое сочинение на три части: начало, середину и конец; в первой советовал представлять общее воззрение на предмет сочинения, неизученного в подробности; во второй разбирать его во всех подробностях (анализ), а в третьей снова обращаться к целому, делая о нем заключения и выводы, но уже полнейшие, на основании разбора, представленного во 2-й части: эту методу он назвал анализосинтетическою. Третья часть риторики посвящена была «выражению», в ней особенно сказались недостаточность лекций, вообще довольно сухих и мало представлявших дельного содержания, которое было бы почерпнуто из действительных фактов. Шевырев не указал нам ни образования метафорического языка, ни значения эпитетов и все свое учение о выражении лишил той основы, которая коренится в истории языка. Вообще ему не доставало филологических сведений, а на одних рассуждениях далеко не ускачешь. Помню, как, трактуя о необходимости образовывать чувства, он приводил нам примеры из царства животного, и в числе других указал на развитость органа слуха ящерицы: «Когда я был в Италии*», я несколько раз читал в одном пустынном месте

* Первое время по возвращении из-за границы он, говорят, только и бредил Италией и не раз читывал на своих лекциях итальянских поэтов, не думая о том, что стихов этих никто из слушателей не понимал.

стихи Пушкина, и всякий раз выползали ящерицы и, наслаждаясь мелодиею этих стихов, тихо прислушивались к моему голосу».

Эти лекции Шевырев неизменно повторял каждый год, даже с теми же примерами о музыкальном слухе ящериц и другими подобными. По поводу этих ящериц, в альманахе «I-е апреля» была напечатана насмешка над Шевыревым; только здесь вместо ящериц, кажется, выведены лягушки, которые вдобавок еще помотали глазами при слушании стихов.

Шевыреву мы обязаны были подавать в известные сроки сочинения или переводы, которые раза три в год он разбирал публично — в аудитории. Помню, что я подал ему сцену между Грозным и Сильвестром после московского пожара, написанную белыми стихами — по Карамзину и более наполненную фразами, чем драматическим действием. Шевырев расхвалил ее (за что — я и сам теперь не ведаю, хоть тогда и был убежден в великом достоинстве своего труда) и даже изъявил сожаление, что юные таланты, посвящая себя юриспруденции, бросают перо... Шевырев любил фразы: он говорил красно, часто прибегая к метафоре, голосом немного нараспев: особенно неприятно читает он или, лучше, поет стихи. Иногда он прибегал к чувствительности: вдруг среди умиленной лекции появлялись на глазах слезы, голос прерывался, и следовала фраза: «Но я, господа, так переполнен чувствами... слово немеет в моих устах...» — и он умолкал минуты на две. Говорил бы он свободно, если б не любил вполне округленных предложений и для этого не прибегал бы к выражениям, прерывая свое изложение частыми «гм!». Ради этого «гм» вышел презабавный анекдот: Шевырев рассказывал содержание одной комедии: «Он вводит ее в свой кабинет и затворяет дверь — гм!» «Гм» вышло так многозначительно, что все засмеялись. На словесном факультете Шевырев читал историю литературы, теорию красноречия и поэзии, а теперь читает и педагогику. У него на руках была студенческая библиотека, т. е. составленная на пожертвования студентов, и он раздавал нам из нее читать книги; он был доступен студентам, позволял иногда спор с собою, но в то же время был и есть человек мелочно самолюбивый, искательный, наклонный к почестям и готовый при случае подгадить и по убеждениям, которые старался проводить в лекциях, — славянофил, только

отнюдь не демократического направления... Степан Петрович Шевырев постоянно проповедовал, что русская натура выше всякой другой, что если другим народностям дано было разработать по частям прекрасные и возвышенные задачи человеческого образования: тому — музыка, другому — живопись, третьему — общественная жизнь, и т. д., то русская народность все это соединит в одно целое — живое. Природа славянина многостороннее всякой другой, оттого менее других способна к ошибочным увлечениям и пристрастиям. Судьба русского человека велика; но краеугольным камнем русской истории, литературы и народного нашего характера была православная вера, забытая растленным западом ради земных выгод и расчетов. Она-то дает такую полноту русской народности.

Шевырев не пользовался особенною студенческою любовью; теснее сходилась он с словесниками, постоянно слушавшими его; но юристов, воспитывавшихся под неприязненным ему влиянием Редкина, Кавелина и других профессоров, он не очень жаловал. Раз (я был уже на 4-м курсе) завязался у нас в аудитории горячий спор между студентами о назначении женщины и о романах Жоржа Занда; шум наш помешал лекции Шевырева, который читал в зале, примыкавшей к нашей аудитории. Он тотчас явился в нашу аудиторию сам и начал длинную речь о том, что наука любит тишину; но в это время студенты мало-помалу начали один за другим оставлять аудиторию, и оратор, боясь остаться без слушателей, поскорей закончил свою речь и, страшно раздосадованный, ушел, сопровождаемый насмешливыми взглядами студентов.

Терновский — грубый, самолюбивый и вполне проникнутый семинарским духом поп, говорил в нос и неприятно. Лекции свои читал по изданной им книге «Догматического богословия»; нравственное же богословие почти ничем не отличалось от филаретского катехизиса, кроме обилия текстов. Любопытно, как он объяснил некоторые догматы религии: «Сие, — говорил он, — можно доказать из двух источников — из разума и из откровения. Во-первых, из разума; но разум человеческий весьма часто погрешает, он несовершен, слаб и потемняется мирскими суетами и соблазнами, а посему отмечаем сей нечистый источник. Во-вторых, из откровения». Тут следовали тексты, с их вчастую натянутыми объяснениями.

На четвертом курсе нашего факультета он читал «Церковное право», но, увы, как читал! Будучи без всякого юридического образования, он нисколько не понимал ни важности, ни интереса порученной ему науки. Все лекции его ограничивались много-много 30-тью писаными листами. Ему назначено было в расписании читать два часа в неделю; но он приходил так поздно (и уходил всегда прежде конца), что едва ли просиживал более часа. В лекциях о церковном праве он изложил нам подробно постановления вселенских и поместных соборов и святых отцов, сказал несколько слов о сборниках канонических узаконений в Византии, причем сурово отзывался о папах и их властолюбии, коверкая их имена, наприм., вместо Урбана — Урван. Одного какого-то папу и похвалил: «То был человек добросовестный, но, к сожалению, он через две недели после занятия папского престола скончался». Мы заподозрили, что если б и другие так же скоро умирали, то заслужили б не менее лестный отзыв нашего преподавателя. Далее он кратко касался постановлений, и без всякой системы, о церковных поземельных имуществах, браке священства и проч. Тут считал он обязанностью коснуться истории, но обнаружил полное с нею незнакомство. Владимир Св., Иоанн Грозный и Петр Великий — вот три лица, о которых он упомянул, перескакивая от одного к другому через целый ряд годов и удивляя нас своими смелыми скачками. Он не показал нам ни исторического развития иерархии, ни отношений между властями, ее составляющими, ни учреждений синода и консисторий, ни ответственности духовных лиц; даже не объяснил порядочно юридической стороны брака, а остановился на этом акте, доказывая, что брак есть таинство. Хорошо, да дело не в том, а и какие есть постановления о вступлении и расторжении брака, и как судятся спорные дела в этом случае. Словом, лекции эти были из рук вон плохи, что, кажется, понимал и сам Терновский. Помню один случай: Терновский прочитал (на 4-м курсе читал он всегда по тетрадке) нам лекцию, и на другой час хотел отправляться домой, как в аудиторию вошел попечитель Голохвастов и уселся слушать. Терновский, нисколько не затрудняясь, начал снова читать то, что сейчас окончил, и заставил нас вторично прослушать составленный им вздор.

На студентов Терновский взирал как на своих природных неприятелей, как на людей, готовых не почтить

его сан. На экзаменах был весьма строг и даже придирчив. Он особенно прижимал тех, которые мало посещали его лекции. Теперь (1855) он читает философию! Во время экзаменов (1-го курса) из богословия присутствовал в университете викарный архиерей Иосиф: вызвали меня, и как теперь помню, какой спор завязался между Терновским и викарием по случаю ответа моего, слово в слово взятого из лекций Терновского: один доказывал, что Христос сходил в ад в славе, а другой — что в уничижении. Вот вам и средневековая схоластика.

К Фабрициусу и Гёрингу ходило очень немного студентов: иногда аудитория и совсем была пуста. Первый заставлял студентов переводить речи Цицерона и сочинения его «De republica» и «De legibus» и «Institutiones»* Гая, а последний свою хрестоматию. Уважением они не пользовались ни на волос. Фабрициусу раз, во время занятий с студентами в зале, другие студенты бросили с хор, при аплодисментах венки, связанный из губки и тряпья. Нарушить покой в его аудитории было для некоторых студентов предметом удовольствия. Фабрициус вскоре оставил университет. Гёринг нередко пополнял время своего урока более рассказами и анекдотами, нежели делом.

На втором курсе, кроме государственного права, мы слушали еще: а) «Историю римского права» — Крылова¹³ (ординарного профессора) и не факультетские науки, в) статистику и политическую экономию — ординарного профессора Чивилева¹⁴, с) русскую историю — Соловьева (теперь, в 1855 г., ординарного профессора), d) всеобщую историю средних веков проф. Грановского и e) логику адъюнкта***.

Никита Иванович Крылов, по справедливости, признавался за лучшего профессора: он мастерски умел объяснить смысл юридических понятий и раскрыть их характеристические особенности с необыкновенною наглядностью и выпуклостью, так что для студентов вполне было понятно, почему римскому праву присвоено название «Ratio humana»**. Самый язык его изложения, несмотря на некоторые странные барбаризмы (например, «периферия личности», «амальгамироваться» и др.) и частое употребление рядом многих синонимических выражений,

* «О государстве», «О законах» и «Институции» (лат.).

** Разум человеческий (лат.).

отличался необыкновенною точностью. Оттого мы любили слушать его лекции, и они были весьма полезны для развития нашего мышления. В последние годы он мало или почти вовсе не занимался своею наукою, лекции его каждый наступающий год были неизменным повторением лекций предыдущих годов. Но должно сказать, что и это не вредило его лекциям, составленным по трудам Нибура¹⁵, Савиньи¹⁶ и других знаменитостей; разработка римского права после того вновь не могла подвинуться далеко, да сверх того, лекции римского права важны были вовсе не в том отношении, о котором мечтают некоторые, думая о приложении римских институтов к современной жизни (и Крылов нисколько не гонялся за частностями и тонкостями постановлений римского права), а потому, что приучали к исторической критике и строгой логичности в выводах; для нас эти лекции заменяли философию права. Историю римского права разделял Крылов на три части: а) право обычное, теократическое, жреческое в период царей; в) право законодательное, строгое (*jus strictum*) — в период республики и с) право юристов — в период империи. На третьем курсе Крылов читал римское право имущественное, а на четвертом семейное, в его полном развитии, но и здесь обращался к истории за нужными объяснениями. Особенно славился он прекрасным составлением лекций семейного права, на которое употреблено было им и наиболее трудов*. Крылов известен был (и справедливо) за умного профессора, но, как о человеке, о нем ходят слухи не совсем лестные; говорили о его суровой строгости и даже взяточничестве с богатых студентов; он был деканом и всем заправлял в факультете по-своему. Но я уже не застал этого властительства, потому что вскоре вместо его избрали другого декана — Баршева и случилась еще история, повернувшая все в другую сторону и заставившая Крылова сделаться мягким и даже заискивать в студентах популярности. История эта, по странной случайности, из семейной сделалась университетскою.

Крылов поссорился с своею женой, урожденною К—ш; на сестре ее женат и Кавелин; семейство Евг. К—ш (брата) было в дружеских сношениях с Грановским,

* Прежде требовал он от студентов чтения пандектов¹⁷; в мое время это прекратилось.

Редкиным и Кавелиным. Кто виноват — Крылов или его жена, — сказать трудно; кажется, и тот и другая; но дело дошло до весьма большой размолвки, и супруги разъехались. В бедствующей супруге приняли участие сейчас названные мною; тут припомнили они и дурные слухи о Крылове, и его грубое обращение с студентами в университете, и все (Редкин, Грановский, Кавелин и В. Ф. Корш¹⁸, бывший тогда редактором «Московских ведомостей») обратились к графу С. Г. Строганову (это было, помнится, в 1847 г.) с жалобами на Крылова и его недостойное поведение и решительно объявили, что они оставят университет, если не оставит его Крылов.

Граф Строганов, хотя и сам не совсем был доволен Крыловым, не мог согласиться на подобную протестацию. Редкин, Кавелин и Крылов прекратили лекции; первые потому, что думали оставить университет, а последний — вследствие общего шума, наделанного всей этой историей, что и продолжалось около 3-х месяцев; но потом принуждены были продолжать свои чтения, не отказываясь ни болезнию, ни другими предложениями. Молва обо всем этом ходила и по Москве, и между студентами. Когда после долгого отсутствия Кавелин и Редкин начали свои лекции, то студенты встретили их аплодисментами*. Платон Степанович Нахимов боялся, чтобы первая лекция Крылова не была нарушена чем-нибудь ему неприятным, и потому сам с двумя суб-инспекторами сопровождал его в аудиторию; суб-инспектора просидели все время лекции. Крылов явился худой и бледный, точно после болезни; все прошло тихо. Вскоре затем Кавелин, Редкин и Корш оставили университет и перешли на службу в С.-Петербург. (Первый в Министерстве внутренних дел, потом у Ростовцева¹⁹ по военно-учебным заведениям, теперь (в 1855 г.) он начальник отделения в комитете министров. Редкин сначала оставался в Москве директором сиротского института, а потом, по

* В это время уже аплодисменты были строго воспрещаемы; Редкин, напуганный всеми толками, стал в гордую чиновничью позу и сухо объявил, что аплодисментов не нужно. По этому поводу наш IV курс послал к нему депутатом одного студента сказать от лица юристов, что он..., что и было сказано. Как теперь помню, как взбесился Редкин: он при мне приезжал к Кавелину посоветоваться с ним по этому поводу; но тот объявил ему, что он сам виноват, принявшись за полипейские увещания, но что со своей стороны он уже передал студентам, что их сочувствие ему дорого и он благодарит их за встречу.

желанию Перовского, получил место по уделам*. Случилось как-то странно: Грановский не вышел в отставку и продолжает до сегодня (первая половина 1855 г.) принадлежать к Московскому университету).

Вскоре затем как Крылов стал продолжать свои лекции, он прочитал одну любопытную на 2-м курсе (я ходил туда его послушать), очевидно, направленную против Редкина и его гегельщины. Рассуждая о влиянии философских систем в Германии на изучение римской истории и права, он заметил о Гегеле, что он всякую жизнь думал подчинить своей искусственной системе; живой и самобытный организм непременно должен был пройти через три момента, а никак ни более, ни менее. Но разве можно так рубить живое явление? «Мы, когда были посланы за границу, — говорил он, — были увлечены лекциями Гегеля; в них, в самом деле, было что-то обаятельное для юношей — всякое жизненное явление как-то легко раскрывалось в процессе внутреннего его развития, и мы, лежа на диванах и бросив все положительные, практические занятия, стали мечтать о судьбах мира и строить все события и будущее человечество по троичной системе. Многие и остались в этих сладких, но обманчивых и призрачных, мечтаниях. Я скоро их оставил, и выйти из этой пустоты помогли мне только превосходные и в высшей степени проникнутые практическим смыслом лекции Савиньи. Но еще далее пошел ученик Гегеля, профессор Ганс, который всю историю человечества представлял в трех моментах: Восток — выразил собою первый момент в развитии: это момент неподвижности, покоя; древний античный мир (греки и римляне) выражали своей историей идею бесцельного и безостановочного движения; наконец, германские племена составляют 3-й высший момент единства двух первых: их движение получило определенность и назначе-

* Говоря о лекциях П. Г. Редкина, я забыл заметить, что он любил щегольнуть начитанностью и потому, указывая на источники своей науки, всегда исчислял нам бесконечное количество сочинений на всевозможных языках. Он проповедовал, что так как наука едина, то для того, чтобы знать основательно один предмет — необходимо изучать и все другие; крайность такого взгляда ярко сказала в его речи о том образовании, какое требуется от современного юриста. По смыслу этой речи положительно никто не сможет быть образованным юристом, хоть будь семи пядей во лбу и хоть занимайся науками 50 лет. Таковы требования профессора-энциклопедиста.

ние; плодом их развития и должно быть жизненное благо человека. После лекции мы, русские, обратились к Гансу с вопросом: что же остается на долю славянским племенам, столь многочисленным и не лишенным высших даров, уделенных человечеству. Тогда он с необыкновенною дерзостью отвечал нам, что славянскому миру остается выжидать!*

В настоящее время (1855 г.) Крылов уже сошелся с своею историческою супругою.

Чивилев излагал первое полугодие политическую экономию, а другое полугодие — статистику европейских государств, и изложение его было хотя и дельно, но весьма сухо. По кафедре политической экономии придерживался он системы экономистов; о позднейших школах социалистов и коммунистов он и не заикался, да и нельзя было. Статистика его разделялась на две части: в первой подробно знакомил он с местностью разных государств Европы, что называл он «пластическим видом этих государств», и раскрывал влияние природы на политическую жизнь народов. Вторая часть состояла из числовых данных некоторых выводов. Лекции Чивилева не менялись уже несколько лет, и мы списывали их с старых тетрадок, следовательно, новости в статистических данных у него искать было нельзя. Он был директором дворянского института, а после оставил университет и перешел на службу в С.-Петербург. Место его заступил Вернадский (из Киева), который что-то не совсем ладил с профессорами своего факультета.

Кафедра русской истории после Погодина оставалась не занята. При моем переходе на 2-й курс начал читать в первый раз свои лекции С. М. Соловьев**, воспитанник Московского же университета (и он, и Кавелин, и Калачов были некогда слушателями Погодина, который потом и после трактовал их, как своих учеников, позволяя себе не совсем учтивые выходки (см. «Москвитянин», 1849, № 1). На счет графа С. Г. Строганова С. М. Соловьев ездил за границу.

Соловьев блистательно начал свое учение поприще.

* В лекциях своих Крылов прекрасно излагал нам различные воззрения на владение, опровергал их и в заключение предлагал свое воззрение на владение, но это воззрение было составлено им из смеси частей, оторванных от чужих воззрений, им же опровергаемых.

** Мне выпало прослушать первогодичные курсы Соловьева, Кавелина, NN и Мюльгаузена²⁰.

Лекции его отличались и свежестью взгляда, и фактической полнотою; он дал смысл всей этой безурядице княжеских распрей и, хотя уже не впервые, но с особенною наглядностью объяснил родственные (родовые) и вместе политические отношения княжеской фамилии. Все им прочитанное нам составило его диссертацию на степень доктора («Об отношениях между князьями Рюрикова дома»); на следующие года, все, что прочитано было нам, он излагал вкратце, а с особенною подробностью читал историю последующего времени и потом напечатал эти лекции в «Современнике», под названием: «Обзор событий русской истории». Именно с его статьей вошло в моду выражение «родовой быт», начались усиленные о нем толки и споры, особенно с славянофилами, хотевшими видеть в славянской истории только общинное устройство. Споры эти и увлечения той и другой стороны занесены в разных журналах.

На последних (1855 г.) трудах Соловьева (особенно т. I его Истории и статьи в «Отеч. записках» о Карамзине и о географических сведениях иностранцев о России)* видна поспешность, и от этого в них много поверхностного. Соловьев самолюбив до излишка; с какою-то странною гордостью уверяет он, что критик на себя большею частью не читает. Еще не было примера, и вероятно не будет, чтобы он сознался в самой очевидной ошибке, и ради этой ложной шепетильности готов на всевозможные натяжки (см. хоть, например, примечание к V т. Истории его о вере в род и рожаниц). И для чего? Его ученая репутация так прочна, что подобное признание несколько бы ее не уронило, а ошибаться — *egge humanum est*** . Почему бы не поправить указанной ему И. Д. Беляевым (в «Москвитянине») ошибки, что половцы шли на наши полки густою массою, как бор, лес (аки борове), а не как свиньи, как угодно было Соловьеву.

Т. Н. Грановский — любимый и наиболее известный профессор Московского университета. Наделенный от природы счастливою наружностью и несомненным талантом, он остроумен, любезен и обладает умением излагать свои рассказы в оживленных и картинных представлениях; слог его мастерский и в лекциях, и в статьях; в

* Эта последняя статья есть чистый перевод отрывков из разных иностранных писателей о России, сшитых на живую нитку.

** Человеку свойственно ошибаться (*лат.*).

нем изящная простота соединяется с задушевностью и теплотой чувства; по убеждениям человек либеральный, но с тактом и умом. Он много читает, имеет прекрасную библиотеку; в обществе весьма приятен и вообще, как человек чрезвычайно образованный, умеет себя держать; как профессор, он заслужил полное уважение; на лекции его собиралось всегда много студентов с разных факультетов; публичные лекции, читанные им три раза (один раз сравнительный курс истории Англии и Франции), посещались москвичами с особенным удовольствием и доставили профессору большую известность. Но необходимо прибавить, что Грановский страшно ленив и не усидчив для строгих ученых работ; все, что он написал, заключается в двух небольших диссертациях и в нескольких журнальных статьях (в «Библиотеке для чтения», «Современнике», «Архиве историко-юридических сведений» Калачова и альманахе «Комета»), которые, конечно, немного внесли в область науки, уже прекрасно разработанной иностранными учеными. Он только мастерски, если захочет, пользуется их трудами. [...] Грановский пристрастен к карточной игре, наследовав эту страсть от своего родителя, и потому вечера проводит за зеленым сукном, подвизаясь в ералаш, крестики и палки; в клубе он играл по большой и не раз много проигрывал; любит он жизнь вести рассеянную, в разъездах по городу; знакомств у него много, и дома его осаждают многие, и студенты, и не студенты; если прибавить к этому дружеские обеды и попойки, и всегдашний долгий послеобеденный сон, то, конечно, для ученой работы времени не останется. Сколько стоило ухищрений, чтобы заставить его написать эту небольшую и весьма поверхностную статью, которая напечатана в альманахе «Комета»; тут были пущены в ход и дружеские, и родственные усилия. Время уходит преимущественно в пустой болтовне, в передаче неверных слухов и еще в менее верных пророчествах по поводу политических событий. Как человек, умеющий жить в свете, он не всегда открыто идет против чужого мнения и готов, ради дружбы и знакомства, поддержать своим голосом то, что в другое время сам же осмеля бы. Вообще искренности и откровенности в нем немного. Что хотите предложите — Грановский схватится, по-видимому, с жаром, и, конечно, дело никогда не будет сделано; попросите его за кого-нибудь, и он тотчас надаёт обещаний

хлопотать об этом человеке, сыскать ему место или работу (иногда эти обещания дает и без всякой вашей просьбы) — и будьте уверены, что обещаний своих никогда не исполнит, даже не попытается исполнить. От этой распущенности в жизни его прекрасное лицо обрюзгло, живот начинает не в меру выдаваться вперед. Летом он проводит жизнь где-нибудь на даче или в деревне у своих приятелей и тоже мало или почти ничего не делает. Вот уже несколько лет как ему от министерства поручено составить учебник по всеобщей истории, — труд, представляющий ему большие материальные выгоды; в цензурном отношении обещана ему снисходительность. Но учебник мало подвигается вперед и будет ли приведен к концу — сомнительно*. В своем кружке и в отношении к журналистам он сумел себя так поставить, что все ему поклоняется, все за ним ухаживает, все трубит его славу. Студенты во время моего университетского воспитания очень любили его за его доступность, снисходительность на экзаменах (иногда уже совершенно излишнюю) и мастерское изложение лекций. Эта любовь особенно обнаружилась на диспуте Грановского на степень магистра. Им была написана диссертация, потом напечатанная в «Сборнике исторических и статистических сведений о России» (издание Валуева) о древних городах: «Волин, Иомсбург и Винета». Профессор славянских наречий О. М. Бодянский²¹ загодя уже пророчил Грановскому побиение на диспуте; трудом его он был очень недоволен.

Когда бывали в университете диспуты по предметам истории и другим общеинтересным, то в зал собирались студенты со всех факультетов, являлись и окончившие курс кандидаты и действительные студенты, приходило

* Лекциями Грановский довольно часто манкировал и манкирует, сваливая свой грех на какую-то болезнь. Когда я был на 2-м курсе, случилось, что он прочитал нам одну и ту же лекцию три раза сряду, потому что промежутки между этими 3 разами появления его в университетской аудитории были весьма продолжительны и он успевал забыть, что читал в предыдущий раз. Под конец он так часто манкировал, что мы, не видя возможного окончания его курса и думая о приближающихся экзаменах, а с другой стороны, и недовольные постоянным пропуском лекций, решались перестать остальное время приходить на его лекции. Как нарочно, тогда-то и явился Грановский и, не найдя никого в аудитории, сильно оскорбился, и в следующий затем раз, явившись в аудиторию, сделал нам упрек, что ничем не заслужил такого невнимания, и тем закончил свои лекции.

много посторонних лиц, между ними бывало и несколько дам. Но никогда, может быть, не был так полон зал, как в этот раз; просто зал был битком набит, студенты наполнили даже хоры; на задних местах они повлезали на скамьи и столы, чтобы лучше видеть и слышать.

Когда явился диспутант, его встретили долговременными и единодушными аплодисментами. Аплодисменты вошли в обычай в университете, кажется, с началом публичных лекций, на которых публика Шевырева и Грановского встречала и провожала рукоплесканиями. Начался диспут. Бодянский высказывал свои опровержения с свойственными ему грубыми и вовсе не светскими замашками, заключив свой приговор этими словами: Диссертация ваша так недостаточна и так составлена плохо, что я бы от студенческого сочинения потребовал больше». В эту минуту раздалось в зале общее шипение; в последующем споре, когда спорящие разгорячились и Шевырев сцепился с Редкиным по поводу философских идей Августина²² (как эти философские идеи попали в спор — не понимаю), всякое горячее слово Шевырева и Бодянского было освистываемо с необыкновенным шумом, а противникам их посылались громкие аплодисменты. Бодянский и Шевырев несколько раз обращались со словами: «Это не театр!» — но за эти слова поплатились еще более: свист и шипение положительно не давали им ничего высказать.

По окончании диспута студенты проводили Грановского до его экипажа с восторженными криками. История эта наделала много шума и дошла в Петербург. Граф С. Г. Строганов был на диспуте и выдержал себя с отличным равнодушием; он даже ни разу не оглянулся на студенческие скамьи. Платон Степанович Нахимов с умоляющим видом тихо упрашивал студентов шипеть потише.

На другой день граф Строганов потребовал к себе депутатов от всех факультетов, сделал в лице их выговор всем факультетам, представляя, какие худые могут выйти из этого последствия и как правительство дурно смотрит на подобные протестации, и затем отпустил. Более ничего и не было. А чем бы могла разыгаться эта история при другом попечителе — страшно и подумать! После министр Уваров завел было с ним речь об этом происшествии, давая заметить, что он распустил студентов вверенного ему университета, но граф с достоинством

вом отвечал ему: «Я сам был на диспуте!» Тогда же аплодисменты в университете были запрещены, а на диспуты стали допускаться только студенты двух высших курсов — 3-го и 4-го. Впоследствии, уже при Назимове, желающие быть на диспуте должны были записывать свои имена в университетском правлении и получать от туда билеты, за подписью ректора.

*** читал логику, придерживаясь Бенике, но, по причине болезни, посещал университет мало; всего прочел он в год лекций 25; изложение его отличалось бессвязностью и неясностью (1855 г.). Сам он чувствовал этот недостаток, потому что почти каждую лекцию заключал словами: «Конечно, для вас это теперь еще не совсем ясно, но мы постараемся выяснить сказанное нами в следующее чтение», но дело оставалось только при обещаниях. В последующие годы читал он психологию, и лекции его хвалили, но я их ни разу не слушал. Затем философские кафедры перешли к духовным лицам...

На 3-м курсе читали ординарные профессора: Ф. Л. Морошкин²³ — гражданское право, С. И. Баршев²⁴ — уголовное право и Лешков — полицейское право; на 4-м курсе: Морошкин — гражданское судопроизводство, а Лешков — общественное или международное право, и адъюнкт Мюльгаузен — финансовое право (которое прежде читал Чивилев); о римском праве я уже сказал.

Морошкин излагал гражданское право и судопроизводство по Своду законов, натягивая русское законодательство на постановления римского права, с которыми любил их сравнивать и постоянно восхищаясь логикой римского права. Изложение его отличалось особенным, свойственным только ему, языком: он любил пестрить речь рельефными и меткими выражениями и неожиданностью их часто смешил целый курс; при этом брови его обыкновенно подымались на лоб, одною рукою потирал он лысню, а голос, и без того басистый, возвышался; фразы его были отрывисты. Рассуждая о старшинстве близнецов (что иногда признавалось важным при наследстве), он выражался: «Ну, кто прежде вышел на божий свет, тот и старше! Близнецы фронтом не родятся!» Или описывая процесс, он говорил: «Вот Пахом схватил там какого-нибудь Семпрония за шиворот и потащил в нижний земский суд; он ведет за собой ораву свидетелей, а этот ведет еще больше, ну, станут на

суд и начнут поталкиваться». В лекции о моральных юридических лицах он говорил: «Стоит в завещании: а! столько-то раздать нищим. Нищим! кому же? Здесь нищие — лицо моральное. Это завещано не тому Пахому, что каждый день стоит у вашего окна и просит милостыню, в лаптях, рукавицах, весь оборванный... нет, это не ему, а нищим — именно кому, не определяется, просто нищим!»

На 4-м курсе он приносил сенатские записки и заставлял студентов решать изложенное в них дело, составляя из них все присутственные и судебные места: уездный суд, гражданскую палату и сенат; тут были и свои судьи, и секретари, и стряпчие, и прокурор; назначались от истца и ответчика поверенные студентов, которые подавали прошения, по доверенности. Мы любили посещать лекции Морошкина, потому что нам было весело слушать его неожиданные выходки. Прежде он читал «Историю русского законовещения», и, говорят, коньком его было казачество, о котором всегда говорил с особенным одушевлением и от которого производил русское дворянство, «лыцарство», к этому предмету любил он возвращаться к стати и некстати. Другим коньком его была ученая страсть всех народов обращать в славян и толковать о великорослости славянского племени, как об особенном характерном и великом его качестве. Он принадлежал той школе славянистов, против которой сражался Норманн-Погодин; статьи Морошкина, написанные в этом духе, поразительны своими странностями и нелепостями*. Он почти все европейские народные имена перевел словами: лес, дубина, — и все народы обратил в леших, лесных жителей. Здесь есть любопытная выходка у него. Произведя турка от turn (башня) и доказав, что башни были в древности деревянные, он восклицает: «Я не обижусь, если меня назовут турком; да, я турок, потому что я славянин!» По поводу этой лингвистической чепухи, показавшей совершенное отсутствие филологических познаний, Погодин справедливо заметил: «Чем дальше в лес, тем больше дров!»

Морошкин, несмотря на то, что в частной жизни является человеком практическим, как профессор имеет (1855 г.) столько странностей, что не оберешься. В лек-

* См. «Россия великогерманская» и «О сочинениях Венелина» в «Отеч. записк.» 1841 года; прибавления к изданному им сочинению Рейца и исследование о происхождении и расселении славян.

циях его и в разговорах как-то непонятно путается дельная и мастерски сказанная мысль с совершеннейшим вздором. Кто бы поверил, что речь об Уложении, в которой так много дельного и нового сказано, принадлежала тому же перу, которое написало такие курьезные разыскания о славянах. О странностях Морошкина ходит весьма много характерных анекдотов. На одном литературном вечере, где были и дамы, Морошкин вздумал так занять свою соседку: «А видали ль вы нагого мужчину?» — спросил он у сидевшей подле него девушки. «Нет, не видела!» — «А я видел; и нагую женщину видел. Нагой мужчина — это конь, рьяный, ретивый конь; а нагая женщина — это птица! ну, просто птица!» В другой раз на ~~литературном вечере~~ уже не приглашали остроумного наблюдателя. По окончании курса в Московском университете, маленький ростом Попов (А. Н. — теперь, в 1855 г., служит во II отд. собств. канц. его велич., при графе Д. Н. Блудове²⁵) зашел к Морошкину проститься с ним перед отъездом из Москвы. Он уезжал на родину — в Рязань. В то время Морошкин сильно был занят доказательствами в пользу великорослости славян вообще и рязанцев в особенности. Разговарывая о рязанцах, он повторял: «Рязанцы — у! это народ великорослый, коломенской, столбовой, стоеросовый!» Потом, взглянув на Попова, спросил: «А вы тоже из Рязани?» — «Да, я рязанец», — отвечал маленький Попов. «Ну, вы еще вытянетесь!» Будучи сам высокого роста, он им всегда гордился как бог весть каким достоинством*. Морошкин — ярый почитатель дворянства (хотя сам и происходит от сельского дьячка); на лекциях не раз доказывал он, что законы поддерживаются пушками, штыками и квартальным надзирателем. Когда начинает он рассуждать о политике — прелесть! Когда Кошут²⁶ (после венгерских неудач) явился в Англии и был там принят с торжеством, Морошкин по этому поводу выразился так: «Англию давно подобает наказать за при-

* Вот любопытный отзыв его о Кавелине в том же духе: «Кавелин!.. У! Это человек знающий, деловой!.. читал много!.. ну, а профессором ему быть не следовало!»

— Да почему же, Федор Лукич, — спрашивали его, — вы сами же говорите, что он знающий и начитанный.

— Не спорю, — он — талант! большой талант!.. ну, а профессором быть не может!

— Да отчего же?

— Ростом мал!»

станодержательство, дабы впредь не повадно было...» [...]

Он любил вспоминать о профессоре Сандунове, которому, по-видимому, сам старался подражать в манерах и в практических занятиях (по судопроизводству). «Сандунов! (не раз говаривал он) это был человек — практик! это была — голова. Все видел и знал! От него никуда не спрячешься. Бывало, вызовет да спросит, так у всякого поджилки трясутся! Попробуй не знать у него или отвечать не дело, так он тебя в бараний рог свернет, с грязью смешает! Вот каков был человек! Голосище здоровенный, говорит — так окна дрожат... ну, просто Юпитер-громовержец... Сандунов — это просто было урожденное превосходительство!»* Увлекаясь личностью Сандунова и стараясь сам прослыть практически знающим юристом, Морошкин любил употреблять подьяческие выражения: *понеже* и другие, и всегда защищал слово *оный*: «Вследствие оного отношения... У, это слово! оного — весьма важно!.. Что там ни говори журналисты и какие там насмешки ни подпускай, а юристу это словцо нужно! Оно! очень выразительно! В приказной бумаге без оного обойтись нельзя. Раз написана была так бумага от одного присутственного места в другое: «По получении сего извещения, посланного с

* В университете в мое время мало было воспоминаний о старых профессорах: слышал только анекдотические рассказы о Малове²⁷, который будто делил право на нравоучительное, поучительное и нравственное; о Терновском (читал логику), который будто, определив способность воображения, в пример всегда приводил: «Представьте себе, что казак с пикою скачет по карнизу дома — вот вам и воображение». Об одном профессоре философии (Якубович?) рассказывали, что он так определял скептицизм: «Мужик ведет на веревке поросенка, а прохожий, встретив его, говорит: полно, так ли? не поросенок ли ведет мужика! — вот — скептицизм». Еще о Ловецком, профессоре зоологии, рассказывали, что он однажды перепутал листки, по которым читал, и перепрыгнул незаметно с зайца на льва: заяц оказался у него с гривой, когтями, кровожадным и пр.; а явившись на следующий раз, он так поправил ошибку: «Все сказанное мною в прошлый раз о зайце — относи ко льву», — и затем прочитал снова о зайце — что следовало.

При мне (да и теперь, в 1855 г., кажется) был швейцаром в университете старик Михайло, давно уже служащий при университете; он был говорливый старик и шутник; со всеми студентами и профессорами (которых почти всех помнит студентами) обращался свободно и попросту. Он рассказывал о старом времени Московск. универс., что порядка бывало немного: студенты ходили не совсем в опрятных и целых костюмах; в аудитории на лекции приносили с собой закуску и водку; буянство бывало нередко.

канцеляристом Сидоровым, имеете вы его прибить у дверей присутствия и, учинив надлежащее исполнение, донести о сем немедленно», — что же? Сведение получили, а канцеляриста Сидорова отколошматили у дверей присутствия и послали о сем донесение. А если бы стояло: «Имеете вы оное прибить, тогда ясно прибили бы присланное сведение. Это слово важное, да!»

Морошкин любит (1855 г.), чтоб ему отвечали на вопрос скоро и находчиво, и доволен такими ответами, хоть бы они были и некстати. Раз одного студента спросил он, какая была в старину у русских мера? Студент, не зная, что сказать, пренаивно отвечал: «душа — мера!» Морошкин даже подскочил от удовольствия: «Прекрасно сказано! именно душа — мера!» — и пошел носиться с этой поговоркой, как дурень с писаной торбой, а студенту поставил 5. Припоминаю еще случай. В лекциях своих Морошкин доказывал, что крепостное состояние хотя не есть рабство, но наполовину пораженное рабством, и что в России нет собственно всероссийского дворянства, а есть дворянства губернские: московское, костромское и другие, которые имеют потому и свои отдельные собрания, и капитал, и дома. На 4-м курсе двое из моих товарищей, не размыслив, что можно говорить и чего нельзя, как попугаи проболтали эти мысли, вычитанные из лекций профессора. Попечитель Голохвастов вступился и стал доказывать, что подобные мнения — вольнодумные и несправедливые, и задал распеканцию и тому, и другому студентам. Но печальнее всего было то, что Морошкин, вместо всякой защиты студентов, сам напал на них с той же точки, с какой и Голохвастов.

С. И. Баршев (из семинаристов) читал уголовное право слово в слово по изданной им книге, а уголовное судопроизводство по книге брата своего (профессора в С.-Петербургском университете). Оба брата — люди ограниченные. Наш Баршев излагал свою, столько любопытную, науку весьма поверхностно, сухо, неинтересно и вдобавок наипискливейшим голосом. Он был ленивый, но добрый человек, т. е. не делавший никому ни добра, ни зла. При чтении своих лекций он только тогда одушевлялся, когда речь заходила об участии женщины в преступлении; по его личному мнению, женщину должно было за преступление наказывать вдвое сильнее, нежели мужчину, «потому что, если мужчина пьяный и развратный гадок, то женщина пьяная и развратная

двое еще гаже!». Либерализм его не простирался дальше квартального, о невежестве которых он позволял себе отзываться открыто, говоря о недостаточности производимых ими следствий по уголовным делам. Фразы свои строил он по немецкому книжному синтаксису и, неизвестно ради чего, имел привычку предложения свои начинать длинным рядом частиц. Иногда лекция его начиналась так: «так как уже и по тому обстоятельству, что... и проч...» Примеры такой речи можно читать в его книге об уголовном праве.

Лешков (из педагогического института, был за границей) — профессор, не отличающийся особенною талантливостью; лекции его, главным образом там, где прибегал он к общим философским выводам, запечатлены были темнотою и сбивчивостью, и привычка профессора беспрерывно употреблять выражение: «и так ясно» нисколько не помогала в этом случае. Говорил он быстро, глотая целые слоги. Предмет свой имел привычку дробить на рубрики и отделы, которые, впрочем, мало имели внутренней связи; хотя и мечтал он создать из полицейского права особую строго определенную систему, не соглашаясь видеть в нем яму, куда свалили все остатки (в слишком обширных размерах), которым еще ученые не нашли приличного места. Хотелось ему также убедить нас и в действительном существовании международного права, не только в той мере, в какой замечается оно в некоторых немногих общепризнанных положениях, но в самом широком смысле, как будто можно говорить о праве там, где решает сила и война. Лешков доказывал нам, что в настоящее время война даже и невозможна, что пять великих держав все решают с своего согласия и что для властолюбивых замыслов нет уже удачи, ибо против обнаруживания их в одном государстве достаточно грозного слова других членов европейского международного общества. Но в том же году (1855 г.) политические события вполне доказали несостоятельность системы Лешкова. Еще странность: общенародного права он искал с самых древнейших времен истории*.

Ф. Б. Мюльгаузен — человек весьма не глупый, довольно начитанный, но несколько ленивый, скучный и

* В лекциях своих он постоянно касался фактов, предлагаемых памятниками русской истории.

сухой; подобных господ весьма характеристически называют словом *мямля*. Лекции его были очень умны и интересны, но изложение отличалось сухостью; видно было, что он прекрасно воспользовался лекциями немецких профессоров в бытность свою за границей.

О профессорах других факультетов Московского университета могу сказать весьма мало; из них признавались за лучших между студентами: Рулье²⁸, профессор зоологии, мастер излагать интересно и общедоступно, но любивший манкировать и гуляка; Линовский²⁹ (читал сельское хозяйство), убитый вскоре по занятии кафедры своим слугою (мальчишкой), и П. Н. Кудрявцев³⁰, который читал древнюю, а теперь (1855 г.), кажется, и среднюю всеобщую историю; П. М. Леонтьев³¹, заместивший Крюкова по кафедре римских древностей, известен трудолюбием, начитанностью и сухостью изложения.

И. И. Давыдов³² (теперь, 1855 г., директор педагогического института, председатель II отд. Академии наук) такой же был на своих лекциях, как и в изданных им книгах «Чтения словесности»: тот же напыщенный метафорический язык, тот же подбор ненужных эпитетов и тот же в сущности пустоцвет. Я раза два слушал его лекции, читанные полякам и состоявшие в критике их сочинений; помню, как о «Ревизоре» Гоголя заметил он, что здесь есть сальные сцены, как, например, Хлестаков ковыряет в зубах, а лакей Осип лежит перед публикою на диване. Как о человеке, о нем носят самые невыгодные слухи и рассказы о его низкопоклонничестве и интригах. Рассказывают, что Лазарева (именем которого назван Восточный в Москве институт) он целовал в плечо; что, женившись на старости лет на молоденькой институтке и произведя на свет сына, он письменно и словесно уверял графа Сергея Григорьевича Строганова, министра Сергея Семеновича Уварова, кн. Сергея Михайловича Голицына и кн. Гагарина, каждого отдельно, что именно в честь его-то и нарек своего сына Сергеем.

О. М. Бодянский занимает (1855 г.) кафедру славянских наречий. Филолог он весьма недорогой; с позднейшими учеными приемами вовсе незнаком и лекции его никогда не отмечались большими достоинствами. Славянские наречия он, конечно, знает, но знания эти не ведут ни к чему; сам же он говорит таким странным и неправильным языком, что в нем как будто слышишь от-

голоски всех славянских наречий, слившихся воедино ради вавилонского смешения. Упрямый, несколько грубый, он вдобавок еще сильно кос, весьма необтесан и фигурю своею живо напоминает Собакевича, который непременно на что-нибудь наступит или что-нибудь зацепит; входя в комнату, он страшно топает своими аляповатыми сапогами, подбитыми большими железными гвоздями. Эти сапоги, кажется, работает ему не сапожник, разве плотник. Людей угадывать и определять их талантливость он далеко не мастер. На словесном факультете в мое время был горбатый и вонючий уродик Клеванов³³ (потом служил в Моск. глав. арх. мин. ин. дел), господин весьма не такой, чтобы выдумать порох. Он своими нелепыми сочинениями и толками о величии славянины (что так нравится Бодянскому) так сумел подладиться к нему, что Бодянский присудил ему за три сочинения три золотые медали; Грановский, сколько мне известно, подписывал свое согласие, не читая рассуждений Клеванова, другие едва ли не то же делали или не желали спорить с Бодянским. Клеванов потом выдержал экзамен на магистра по русской истории, написал рассуждение: «История юго-западной Руси», отдельно им напечатанное, и подал его как диссертацию на степень магистра. Но факультет признал это суждение неудовлетворительным, несмотря на поклоны Клеванова у Соловьева и Шевырева. В это время случилась с Бодянским история по Флетчеру³⁴, и Клеванов перестал к нему ездить: «Теперь он мне не нужен!» — говорил он с наивною откровенностью. С тою же наивною рассказывал о том, как после долгих хождений к Шевыреву принял его этот профессор.

«Я прихожу к нему, а он собрался куда-то ехать, уж и лошадь подана. Тут мне и сказал он: ваша, говорит, диссертация никуда не годна, просто, говорит, дрянь! Так и сказал при своем кучере и лакее... я уж хотел было ему сказать...» — «Что ж вы ему сказали?» — «Ничего, я поклонился ему и ушел домой».

Я еще застал в Московском университете профессора Васильева, который вскоре оставил университет. Он читал студентам не юристам законы об учреждениях, читал или, лучше, диктовал их по тетрадке, сказывая, где нужно какие ставить знаки препинания. Это был памятник старого времени: его называли все чудачком и еще прямее и невыгоднее отзывались о его голове. Раз мы,

юристы, зашли в его аудиторию, но он до тех пор не хотел начать своей лекции, пока не упросил нас оставить его: это упрашивание продолжалось весьма долго, ибо каждый студент уверял, что жаждет послушать его словес.

После моего ухода из университета место Редкина занял Орнатский (переведен из Харьковского университета), а место Кавелина — Калачов (Н. В.). Об Орнатском ходит много смешных анекдотов; он, например, не решился на лекции, читанной в присутствии вел. князей Михаила и Николая Николаевичей, выразиться *женщина*, а заменил это слово выражением: «человек женского пола»; когда к университетскому юбилею студенты пожелали издать портреты профессоров, то он серьезно упрасивал не изображать его в карикатуре, и разные другие анекдоты, свидетельствующие об его ограниченности. Читая государственные законы, он ругается над формами республиканского и конституционного правления.

Калачов — весьма достойный человек и по своему характеру, и по своим обширным сведениям, и трудолюбию необыкновенному; он прежде служил в Моск. глав. архиве мин. ин. дел и обыкновенно вставал часа в 3 утра и занимался самыми кропотливыми работами по своим изданиям. Такая усидчивость у русского человека необычайна. Прекрасные лекции его в университете отличались самою тщательною и подробною фактической обстановкою; едва ли кто так заботливо объяснял текст памятников.

На филологическом факультете, который в последнее время (1855 г.), положительно можно сказать, есть лучший, справедливое внимание обращает теперь (1855 г.) Ф. И. Буслаев, труды которого представляют так много нового и полезного и который обещает вскоре издать русскую грамматику, составленную по памятникам и по фактам, представляемым живою народною речью. Его филологическое образование, основанное на результатах знаменитых немецких умов, весьма прочно и едва ли у нас составляет не единственный пример.

Студенты в мое время делились на кружки, которые условливались их общественным положением: кружок аристократов по фамилиям и отчасти по сословию

(здесь преобладал французский язык, разговоры о ба-лах, белые перчатки и треугольные шляпы), кружок семинаристов, кружок поляков и кружок (самый обширный), состоявший из всех остальных студентов, где по преимуществу коренилась и любовь к русской науке, и русской народности.

Большая часть студентов жила по квартирам, нанимая небольшую комнатку со столом и прислугою, иногда и чаем; некоторые жили весьма бедно; стипендии, выдававшиеся от университета, и уроки, если не могли ожидать присылок из дома от родителей, были единственными средствами им в жизни.

Москва в это время разделялась на две театральные партии, из которых одна стояла за танцовщицу Андреянову³⁵ (любовницу Гедеонова, директора театров) и ею восхищалась; другая же изо всех сил восторгалась Санковскою³⁶ и ее балетным искусством. Студенты всегда стояли за Санковскую; они ей поднесли в бенефис серебряный венок, сделанный на собранные деньги, и приветственные стихи. Сколько раз аплодисменты, которыми публика осыпала Андреянову, были нарушаемы студенческим шипением и сколько раз неистовое хлопанье студентов встречало и провожало их любимицу. Какой-то санковист (только не студент) дошел до того, что бросил из райка на сцену во время танцев Андреяновой издохнувшую кошку, за что и был выслан из Москвы.

По окончании курса в Московском университете и после некоторых неудачных попыток найти место* я наконец в ноябре 1849 года поступил на службу в Московский главный архив министерства иностранных дел.

М. С. ЩЕПКИН И ЕГО ЗАПИСКИ

Нельзя не пожалеть, что у нас так мало людей, решающихся вести свои записки. Чья жизнь, например,

* Между прочим, обращался я и к Морозкину, как директору практической коммерческой академии; здесь открывалось место учителя законоведения. Он мне откровенно сказал: «Я уж имею в виду посадить на это место своего родственника!» — потом усадил меня и начал потчевать своими отзывами о других профессорах. Помню, что о Крылове отозвался он: «Никита — себе на уме! Э! Никита не промах!», а о Кавелине: «Это — гвоздь — куда хочешь можно вбить — везде пригодится».

могла быть более разнообразна, занимательна и поучительна, как не семьдесят пять лет, прожитые М. С. Щепкиным? Рожденный в крепостном состоянии, он силою своего таланта проложил себе дорогу в самые образованные кружки русского общества; принадлежа к провинциальной труппе, он вместе с нею странствовал по разным городам — играл и в Курске, и в Харькове, и в Полтаве; потом явился на сцене столичных театров и, уже приобретя громкую известность, не раз ездил то в Ярославль, то в Нижний, то в Казань, бывал в Крыму, путешествовал за границу, всюду сталкивался с самыми разнообразными сторонами быта и более или менее замечательными личностями своего времени. Это был человек, который многое испытал, многое видел и слышал, который рано был близок и к нуждам простолюдина, и к интересам художника и литератора и который вдобавок щедро был наделен от природы тонкою наблюдательностью, светлым умом, теплым чувством и умением живо и пластично передавать виденное, с сохранением всех характеристических оттенков. В словах его: «Я знаю русскую жизнь от дворца и до лакейской» — нисколько не было преувеличения. В самом деле, М. С. был самая живая и любопытная книга: он любил вспоминать былое, любил рассказывать про старое «доброе» время. Но, увы! многие из этих рассказов умерли вместе с ним. Он неохотно брался за перо и, несмотря на частые с разных сторон обращенные к нему просьбы и дружеские советы, записал только несколько отдельных эпизодов из своей жизни. Еще в 1836 году* Пушкин завел с М. С.-м речь о записках, настаивал на их необходимости и тут же сделал почин: первые строки предполагавшихся воспоминаний занесены на бумагу рукою незабвенного поэта. Щепкин принялся было за дело, рассказал о своем детстве, припомнил подробности своего первоначального воспитания; но скоро устал, и записки не подвигались вперед. Уже в последние годы (1846—1862), уступая настойчивым просьбам своих друзей и знакомых, занимавшихся изданием журналов и сборников, он написал для них те интересные отрывки из своего прошлого, которые были напечатаны в «Современнике», «Атенее», «Русском вестнике», «Комете», «С.-Петербургских (ведомостях)» и «Московских ведомо-

* На рукописи означено: «17 мая 1836 г. Москва».

стях» и в газете «Наше время». Вот и все, что закреплено пером от богатой воспоминаниями и наблюдательностью жизни славного артиста. М. С. с трудом владел литературною фразою, и это, кажется, охлаждало его в работе, постоянно отрывало от записок и лишало нас многого из того, что бы он мог рассказать. Такая потеря тем более чувствительна, что в его простой, подчас не совсем правильно построенной речи была та живая, художническая изобразительность, какая редко встречается в искусно выглаженных фразах присяжных литераторов. Подобным же достоинством или, пожалуй, недостатком отличался, как мы знаем, и Гоголь. Пополнить записки Щепкина лежит на обязанности его друзей и поклонников.

С М. С. Щепкиным и его семьей я познакомился на последнем году моего университетского курса. Это было зимою 1847 года. Незачем уверять, что он скоро пленил меня своим умом, добротой и прямотою. Все знают, что в московском обществе Щепкин пользовался вполне заслуженным уважением; его любили, как человека без претензий, милого рассказчика, талантливого художника, гостеприимного хозяина. В спорах он был всегда остроумен и находчив; остроты его бывали метки и носили на себе печать малороссийского юмора. Раз, помню, один простодушный господин распространился о счастье первобытных человеческих общин, которые жили мирно и безыскусственно, как велит мать-природа, не ведая ни наших радостей, ни наших страданий. Щепкин прервал философа следующим апологом: «Шел я как-то по двору, вижу, лежит в луже свинья, по уши в грязи, перевернулась на другой бок и посмотрела на меня с таким презрением, как будто хотела сказать: дурак! ты этого наслаждения никогда не испытал!» В другой раз собрались у графини Ростопчиной¹ московские литераторы и художники; в это время была в Москве Рашель², и разговор, разумеется, зашел об ее игре. Талант французской артистки сильно не нравился нашим славянофилам, и один из них, «претендент в русские Шекспиры», стал доказывать, что Рашель вовсе не понимает сценического искусства и что ее игра принесет нашему театру положительный вред. Щепкин выслушал резкую тираду и сказал: «Я знаю деревню, где искони все носили лапти. Случилось одному мужику отправиться на заработки, и вернулся он в сапогах. Тот-

час весь мир закричал хором: как это, дескать, можно! не станем, братцы, носить сапогов; наши отцы и деды ходили в лаптях, а были не глупее нас! ведь сапоги — мо́товство, разврат!.. Ну, а кончилось тем (прибавил старик с насмешливою улыбкою), что через год вся деревня стала ходить в сапогах!» В 1855 г., в бытность М. С-ча в Нижнем, он встретил некоторые затруднения в постановке «Ревизора», нашлись влиятельные люди, не желавшие видеть этой пьесы. Щепкин решился дать «Ревизора» в свой бенефис и повез афишу и билет к одному из тех, которые были против такого представления; хозяин встретил его словами: «Вы хотите над нами насмеяться!» — «Не над вами, а над плутами!» — отвечал артист.

К театру М. С-ч был горячо привязан; всякую роль учил добросовестно и задолго до представления, каждый вечер повторяя ее на сон грядущий; репетиций никогда не пропускал и гордился этим; он никак не мог утерпеть, чтобы не высказывать своих правдивых замечаний об игре даже тем из актеров и актрис, которые вовсе не расположены были их выслушивать. Это артистическое увлечение высказывалось у него иногда слишком нетерпеливо и откровенно и нередко вело к разным неприятностям в закулисном мире. В этих случаях старик не умел позолотить пилюлю, и неподслащенная горечь его замечаний была тем чувствительнее для болезненно настроенных самолюбий. Испытывая у своих детей сценические способности, он не мог спокойно отнестись к их неумению войти в положение лица, требуемое ролью, сердился, передразнивал и кончил тем, что ни одного из сыновей не пустил на театр, — единственно потому, что не видел в них достаточно для того дарований. Однажды в знатном аристократическом доме в Москве готовился благородный спектакль; хозяйка пригласила Щепкина на репетицию с просьбою высказать свое мнение и дать необходимые советы. Щепкин приехал, остался недоволен исполнением, разгорячился, и вместо ожидаемых светских любезностей и похвал от него услышали только горькую правду: «По-моему, если играть так играть! — сказал он, — а на вздоры и звать было незачем. Ну вы, графиня! разве можно так ходить и разве так вы ходите и кланяетесь в вашей гостиной, как теперь?» — и он начал представлять ее с смешными ужимками. С тех пор,

разумеется, его уже не думали приглашать на репетиции «благородных» спектаклей. Театру приписывал Щепкин и свое собственное нравственное совершенствование: «По званию комического актера,— говаривал он,— мне часто достается представлять людей низких, криводушных, с гаденькими страстями; изучая их характеры, стараясь передать их комические стороны, я сам отделался от многих недостатков, и в том, что я сделался лучше, нравственное — я обязан не чему иному, а театру!»

Несмотря на свое скромное, недостаточное образование, М. С-ч по ясности взглядов и высоте убеждений был человек вполне развитой; об искусстве он судил здраво и с тем строгим уважением к его законам, какое так трудно сочетается с званием русского актера, вынужденного воспитывать свое дарование на французской мелодраме и на quasi-оригинальных произведениях в том же роде. Относительно репертуара Щепкин был счастливее многих из своих товарищей. Его школою были комедии Мольера, Гоголя и «Горе от ума» Грибоедова, и если, с одной стороны, он явился лучшим их комментатором, то, с другой стороны, их серьезная, действительная поэзия не могла не оказать самого благотворного влияния на его эстетические убеждения. Самообразованию Щепкина помогал и тот избранный кружок ученых литераторов и художников, которыми он сумел окружить себя и советами которых желал и умел пользоваться. Едва ли кто другой так заботливо и искренно обращался к указаниям науки; для него переводились целые статьи о театре, недоступные ему по незнанию иностранных языков; для него делались извлечения из наиболее замечательных критик об исполнении различных ролей французской и английской сцены. Так, когда он задумал сыграть «Скупого»³, то все лучшее, что было написано по поводу этой комедии и что было необходимо для отчетливого понимания роли, для объяснения характера избранного лица и для постановки пьесы, все явилось в переводах. Тот «Скупой», которым мы восхищались в Щепкине, был плод и великого таланта и глубоко обдуманного изучения. Конечно, и ему случалось ошибаться, и его отзывы бывали не чужды увлечений; но самые ошибки и увлечения его объясняются впечатлительностью богато одаренной натуры и благороднейшими порывами души. Щепкин шел

навстречу новому таланту, искал его и, тронутый искренностью чувства и непритворными слезами на сцене, часто там провидел дарование, где его вовсе не было, а были только счастливые условия молодости. Случалось иной раз слышать от него похвалы сценически ничтожной, слабой пьесе, и на поверку всегда выходило, что его подкупила или возвышенно благородная мысль, которую хотел провести автор, или смелое патриотическое слово. Он горячо любил родную землю и с увлечением юноши следил за всеми преобразованиями; по своим летам принадлежа старому поколению, он чужд был всякого нравственного застоя и стоял в уровень с потребностями нового времени. Многим членам английского клуба памятно, с каким восхищением встретил Щепкин манифест об освобождении крестьян; со слезами на глазах он поздравлял всех и каждого и выслушал по этому поводу от некоторых запоздалых друзей старины странные намеки на его бывшее крепостное состояние, чего, впрочем, он никогда и не думал скрывать. С редким дружеским участием приветствовал Щепкин своего одноземца Шевченко, только что получившего свободу; нарочно ездил к нему в Новгород и неотступно сопровождал его по Москве. С каким задушевным чувством читал он его «Пустку»! Это прекрасное стихотворение, вместе с куплетом о Жакардовом станке, он любил повторять в своих беседах до самого последнего времени. Минувшая эпоха для него не имела того обаятельного значения, как для многих стариков; он не прикрашивал ее небывалыми достоинствами и не унижал заслуг настоящего. Напротив, одною из любимых и часто повторяемых им мыслей была та, что Россия постепенно идет вперед, и эту мысль он и словесно и печатно (в двух своих рассказах) подтверждал сравнением нравов доброго старого времени с нравами современными.

В период моего знакомства с М. С-м я имел привычку записывать для себя некоторые из его рассказов, хотя (к сожалению) делал это кратко, нередко спустя несколько дней после того, как слышал их из уст интересного старика,—и должен признаться, что его мастерские рассказы много потеряли в моем изложении. Да и вообще следует заметить, что подобный труд был нелегко. Живое слово Щепкина сопровождалось выразительною мимикой, изменением звуков голоса и коми-

ческим представлением действующих лиц, что придавало необыкновенную живость его воспоминаниям, но чего передать на бумагу нет возможности. Тем не менее я решаюсь сообщить записанное мною, как материал для биографии знаменитого артиста и для характеристики его времени и людей, с которыми он бывал в близких сношениях. Заметки мои будут отрывочны, но я надеюсь, что недостаток этот вознаградится их содержанием:

а) Знакомство М. С-ча с Гоголем началось довольно оригинально. По приезде в Москву в 1832 году Гоголь, желая видеть знаменитого артиста, явился к нему в дом и застал многочисленное его семейство за обедом. Он вошел в залу с этими словами малороссийской песни:

«Ходить гарбуз по городу,
Пытаетця своего роду:
Чи вы живы, чи здоровы,
Вен родичи гарбузовы?»

В то время Гоголь еще был далек от тех мрачных аскетических взглядов на жизнь, которые впоследствии изменили его характер и так много повредили его творческому таланту; он бывал шутливо весел, любил вкусно и плотно покушать, и нередко беседы его с М. С-м склонялись на исчисление и разбор различных малороссийских кушаньев. Винам он давал названия кварталного и городничего, как добрых распорядителей, устрояющих и приводящих в набитом желудке все в должный порядок; а жженке, потому что зажженная она горит голубым пламенем, давал имя Бенкендорфа. «А что? — говорил он Щепкину после сытного обеда, — не отправить ли теперь Бенкендорфа?» — и они вместе приготавливали жженку и любовались ее пламенем. Остроты Гоголя были своеобразны, неизысканны, но подчас не совсем опрятны. Старик Щепкин помнил наизусть одно письмо Гоголя, писанное из-за границы к Бенардаки, где шутливость поэта заявила себя с такою нецеремонною откровенностью, что это любопытное послание навсегда останется неудобным для печати.

Городничий и другие роли из пьес Гоголя были лучшими в репертуаре Щепкина; здесь вполне выяснился его великий комический талант. Но с другой стороны, ничто так не раскрыло истинного значения комедий и драматических сцен Гоголя, как превосходная игра

Щепкина; поэт нашел в нем гениального объяснителя своих произведений, и едва ли когда выпадало такое счастье на долю другого драматического писателя при его жизни. Это особенно тесно связывало обоих художников, не говоря уже об общих симпатиях к Малороссии и ко всему родному. Гоголь не раз пользовался любопытными рассказами знаменитого артиста как материалом для своих поэтических созданий. Случай, рассказанный в «Старосветских помещиках», о том, как Пульхерия Ивановна появление одичалой кошки приняла за предвестие своей близкой кончины, взят из действительности. Подобное происшествие было с бабушкой М. С-ча. Щепкин как-то рассказал о нем Гоголю, и тот мастерски воспользовался им в своей повести. М. С-ч прочитал повесть и при встрече с автором сказал ему шутя: «А кошка-то моя!» — «Зато коты мои!» — отвечал Гоголь, и в самом деле, коты принадлежали его вымыслу. В уцелевших от огня пяти главах второго тома «Мертвых душ» рассказ «Полюби нас черненькими, беленькими нас всякой полюбят» сообщен автору также Щепкиным и есть действительно случившееся происшествие, и, по моему мнению, рассказ этот в устах Щепкина имел несравненно больше живости, чем в поэме Гоголя. Не один Гоголь — и другие русские писатели брали содержание для своих повестей из воспоминаний Щепкина; таковы повести: «Сорока-воровка»⁴, напечатанная в «Современнике» 1848 г. (№ 2), и «Собачка» графа Соллогуба⁵ — в альманахе «Вчера и сегодня». По словам М. С-ча, для характера Хлобуева⁶ послужила Гоголю образцом личность П. В. Н[ашоки]на⁷; а разнообразные присутственные места, упоминаемые при описании имения Кашкарева, действительно существовали некогда в малороссийском поместье графа Кочубея. Этим подтверждаются собственные слова Гоголя в его «Исповеди»: «У меня ум тот самый, какой бывает у большей части русских людей, то есть способный больше выводить, чем выдумывать. Мне всегда нужно было выслушать слишком много людей, чтобы образовалось во мне собственное мое мнение». Кстати припомним здесь не раз высказанное Гоголем желание, чтобы бывалые люди сообщали ему заметки о разных анекдотических случаях и нравах своего околотка, и откровенное признание, что подобные заметки необходимы ему для продолжения «Мертвых душ».

Для Щепкина Гоголь перевел с итальянского языка комедию «Дядька в затруднительном положении»; своими драматическими сочинениями дал ему право распоряжаться на театре, как полною собственностью; когда друзья М. С-ча перевели для него из Мольера комедию «Мнимый рогоносец», Гоголь взялся исправить этот перевод и переделал почти каждую фразу. В печальную эпоху болезненно аскетического настроения Гоголь прислал М. С-чу из Рима «Развязку «Ревизора» при письме, в котором заявлял желание, чтобы означенная пьеса была дана Щепкиным в свой бенефис вслед за «Ревизором». В этой странной дидактической пьесе выведены на сцену: любители театра, М. С. Щепкин, который и должен был играть самого себя, другие актеры и молодая актриса. Они собрались вместе после представления «Ревизора»; все согласны, что Щепкин исполнил свою роль особенно прекрасно, и молодая актриса от лица всех присутствующих подносит ему венок и заставляет надеть на голову. Затем начинается спор о «Ревизоре», в котором Щепкин является разрешителем всех сомнений. Парадоксы следуют за парадоксами; устами действующих лиц автор силится доказать, что комедия его без конца и что эта неоконченность — намеренная, что в «Ревизоре» нет живых характеров, а на место их олицетворены порочные страсти. Само собою разумеется, что Щепкин не мог допустить и мысли дать в свой бенефис «Развязку», где должны увенчивать его на сцене: такое смелое себя прославление было слишком чуждо его артистической скромности, и при его уме он, конечно, не мог пожелать сделаться баснею целого города. Но этого мало; он был глубоко огорчен самоотречением Гоголя и от 22 мая 1847 года написал к нему прекрасное, дышащее светлым пониманием искусства письмо. [...]

б) В воспоминаниях Щепкина о московском театре прежнего времени часто слышались имена Кокошкина, князя Шаховского, Писарева и других — лиц, с которыми познакомил русскую публику С. Т. Аксаков⁸. Многие из рассказов Щепкина подтверждали то, что передано нам опытным пером этого последнего. М. С-ч удачно умел копировать князя Шаховского и помнил об нем множество анекдотов; слушать эти анекдоты было истинное наслаждение. Шаховской отличался необыкновенно пылкою любовью к театру; дело сцени-

ческое, по отзыву Щепкина, он понимал отлично. В нем было много юношеского жару и настойчивости; с этими качествами он успевал всякого расшевелить и приохотить к труду. Как известный драматический писатель и любитель искусства, он постоянно являлся за кулисами, ставил на московскую сцену свои и чужие пьесы, и ставил их с искусством; он умел придавать игре быстроту, и никто, может быть, не обращался к актерам с более откровенными замечаниями, как князь Шаховской. Надо было запастись большим хладнокровием и хорошо знать доброе сердце князя, чтобы не обидеться его резкими выходками. На репетициях он обыкновенно горячился, передразнивал, сыпал колкими фразами вроде следующей: «Г. Н! повернись, пожалуйста, повернись, покажи, что и ты живой человек!» Случалось, что он становился на колени и, кланяясь в ноги, плаксиво карикатурным тоном упрашивал актера выражать чувства теплее, по-человечески. Если припомним при этом комическую фигуру князя и его неясный выговор (он сильно шепелявил), то не трудно представить себе, каким чудачком должен был казаться он за кулисами. Однажды назначено было дать на театре две большие пьесы; чтобы не затянуть спектакля, князь Шаховской решил выбросить одну сцену из пьесы «Меркурий на часах». Сделать это было весьма легко. К Меркурию являются музы, и всякая, после длинного монолога, показывает свое искусство: танцы, пение, музыку и проч., следовательно, стоило только пропустить монолог, и время было бы выиграно, а ход представления несколько бы не нарушился. Одну из муз играла сестра Кавалеровой — девица Борисова. Так как Шаховской был близок с Кавалеровыми, то и обратился к Борисовой: «Знаешь что, душа, ты уж свою речь не читай; пропусти ее!» — «Это для чего?» — «А то, знаешь, спектакль протянется слишком долго». — «Да почему же именно я должна отказаться! я лучше совсем не стану играть..» — «Ну что нам с тобою считаться!» — продолжал князь, не замечая, что Борисова обиделась и уже дрожит от волнения. «Я вам не девочка!» — отозвалась она. «Ах, душа, давно знаю, что ты не девочка!..» Актриса упала в обморок. «Верно, я сказал какую-нибудь глупость!» — заметил растерявшийся князь. Из-за этой нечаянно сорвавшейся фразы Борисова никогда не хотела помириться с Шаховским. Дру-

гой случай: князь Шаховской подготовлял одну воспитанницу к какой-то роли; он настаивал, чтобы она вслушивалась в последние звуки речей того лица, с которым разговаривает, и старалась бы отвечать ему в тон. Но чем дальше шло учение, тем хуже: вся естественность пропадала. Щепкин, который рекомендовал князю эту воспитанницу, подошел к нему и сказал: «Мне кажется, князь, вы и себя и ее напрасно затрудняете. Оставьте ее! Чтобы попасть в тон — не нужно науки; это делается само собою». Князь раскипятился: «Что, русский Тальма, что такое? — и, обратясь к другим актерам, прибавил: — Г. Щепкин учит князя Шаховского, как должно понимать искусство! Когда прикажете явиться к вам брать уроки?» — и он насмешливо поклонился Щепкину. Это затронуло артиста: «Вам, князь, угодно было обидеться! — сказал он. — Но и я не молодой человек, я живу пятьдесят лет на свете, а до сих пор ни разу не слыхал, чтобы при разговоре кто отвечал не в тон. Отчего это делается — не знаю, но это так. А вот глухие так всегда отвечают не в тон!» Князь рассердился; но к чести его — ненадолго. На другой же день, приехав на репетицию, он при всех подошел к Щепкину, взял его за руку и сказал громко: «А ведь ты прав! все это декламация сбивает меня!»

Декламаторство в то время еще процветало в драме и трагедии; приверженцем его был сам Кокошкин, директор московского театра. Он был человек образованный и, по словам Щепкина, так превосходно декламировал, что его можно было заслушаться. Как сторонник классических преданий, он требовал певучей декламации и от трагических актеров. Из представителей новейшей литературы Кокошкин особенно не жаловал Вальтера Скотта и, не читая его романов, отзывался об них с пренебрежением. «Да вы же его не читали?» — возражали ему поклонники английского романиста. «А, не спорю, милой! не читал, и тебе не советую читать этот вздор. Мне тебя не из чего обманывать!»

в) Из отзывов Щепкина о других артистах мне особенно памяты два: о Сосницком и Соленике⁹. О таланте первого он постоянно говорил с похвалою. Как-то зашла у нас речь о комедии «Горе от ума» и об исполнении роли Репетилова на московской сцене; я находил это исполнение не совсем удачным.

«В «Горе от ума», — сказал мне Щепкин, — много

живых портретов; в Репетиловне изобразил одного богатого господина, известного в свое время переносчика литературных вестей и сплетней от Грибоедова и князя Вяземского к их противникам и обратно. Роль эта трудная, и только один Сосницкий исполнял ее отлично; в его игре действительно был виден барин!» Тут же припомнил М. С-ч и рассказал следующий анекдот: «Раз навестил я Пушкина, который, приезжая в Москву, останавливался всегда у П. В. Нащокина. Там были уже граф Толстой¹⁰ и Жихарев, автор «Записок студента»¹¹. В то время «Горе от ума» возбуждало в публике самые оживленные толки. Жихарев, желая кольнуть графа, беспрестанно повторял за обедом следующие стихи из комедии (так как общая молва относилась к ним именно на его счет):

«Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом
И крепко на руку не чист,
Да умный человек не может быть не плутом».

Граф Толстой, как человек с большим умом, не выдал себя и при чтении этих стихов сам хохотал от души. Такое притворное равнодушие задело Жихарева за живое, и он снова вздумал повторить стихи после обеда. Толстой стал перед ним, посмотрел серьезно ему в лицо и, обратясь к присутствующим, спросил: «Не правда ли, ведь он черен?» — «Да!» — «Ну, а перед собственной своей душой совершенный блондин!» Жихарев обиделся и замолчал».

О Соленике отзывался Щепкин, как об одном из замечательных артистов. Соленик играл на харьковском театре. «Это был человек с громадным дарованием, которому отчасти вредил на русской сцене его польский акцент, слышный в выговоре. Он постоянно и вполне заслуженно пользовался любовью публики. Приезжает как-то в Харьков известный с.-петербургский актер С-в, и разумеется — где же и заявить свои столичные претензии, как не в провинции. На репетиции он вздумал прикрикнуть на Соленика: «Что ты мямлишь! а еще талант! По характеру твоей роли ты не должен мне давать и слова вымолвить». Дошло до представления, и Соленик не шутя не дал ему сказать ни одного слова. Он выучил обе роли: и свою и ту, что играл С-в, и проговорил обе, связывая их такими оборотами: «Я

знаю, вы на это можете мне возразить то и то; но я вам скажу...» Да при его огне, при его веселости Соленик произвел на публику потрясающее впечатление; театр трещит рукоплесканиями, петербургский гость совсем позабыт. Раздраженный, он выбежал за кулисы и обратился к Соленику с упреками: «Что ты со мной сделал? ведь ты не дал мне и слова выговорить!» — «Да вы же сами о том просили». — «Я совсем не то разумел...» — «Извините, не понял!»

г) М. С. Щепкин столько же известен был в Москве своим сценическим дарованием, сколько и редкою в наш век частною благотворительностью. Сколько юношей обязаны ему своим воспитанием, сколько стариков нашли под его кровлею последний спокойный приют! Великие слова Христовой заповеди о любви к ближнему он перевел прямо в дело, в жизнь. Многое бы можно сказать по этому поводу, но я приведу только один пример. В числе рассказов, записанных мною со слов М. С-ча, есть следующий:

«Был у меня знакомый — Пантелей Иваныч, человек простой, добрый, привязанный к нашей семье; он был парикмахером. Как-то мы с ним расстались и долго не видали друг друга. Раз подъезжаю я к театру, вижу: полицейский солдат ведет на веревочке оборванного, обшарпанного человека. Присматриваюсь — и узнаю старого знакомого. «Пантелей Иваныч! это ты? — говорю я, — что с тобою? как ты попался?» — «Задолжал, — говорит со слезами, — вот и ведут в яму. Я уж упросил свести меня к театру; думаю: не встречу ли вас?» Ну, я упросил, чтобы с ним, как посадят в яму, обращались покамест помягче; а сам, воротившись домой к жене, рассказал ей про встречу с Пантелеем Иванычем: «Выкупим, говорю, его, Алеша!»* — «Ну что ж! выкупи». Вот заплатил я за него рублей полтора ста ассигнациями и взял Пантелея Иваныча к себе. Стал он у меня жить; дети его полюбили, я и жена также. Он мне всегда и парик причесывал: парикмахер он был искусной! Я похлопотал, и по моей просьбе его определили в театр помощником парикмахера; рубл. 15 асс. в месяц жалованья дали. Что же? Как получит мой Пантелей Иваныч жалованье, так и запьет, до тех пор тянет горькую, пока все спустит. Я уж так и знаю: ну, Пантелей Ира-

* Так Щепкин называл свою жену, Елену Дмитриевну.

ныч нынче получил жалованье, стало быть, пьян как стелька! Побился я с ним, побился и говорю жене: надо, Алеша, разыграть с ним комедию, пострадать его. Прихожу к нему: ну, говорю, Пантелей Иваныч! Я все для вас сделал, что мог, но вы так себя ведете, что нам вместе жить не приходится. Прощайте, Пантелей Иваныч! Ни слова не сказал он, взял свой болван, на котором исправлял парики, ушел со двора и пристал у какой-то знакомой бабы. Вечером приезжаю я в театр, Пантелей Иваныч стоит со своим болваном; но уж я не отдаю ему приглаживать моего парика, а поручаю эту работу другому. И так продолжалось целый месяц; и другой, и третий месяц — тоже. Вижу я: Пантелей Иваныч перестал пить, и говорю жене: сегодня я хочу помириться с Пантелеем Иванычем; жалко мне старика! Приехал в театр, увидел Пантелея Иваныча и обращаюсь к нему ласково: причешите-ка мне, Пантелей Иваныч, паричок! Как зальется, как зарыдает мой Пантелей Иваныч! Взял парик, а руки так и дрожат... Тут мы с ним и помирились; переехал он снова ко мне на житье и уж больше никогда во всю жизнь свою не запивал; а такой безграничной преданности, какую питал он ко мне и к моему семейству, я ни от кого не видал!»

Когда на московскую сцену была поставлена комедия г. Островского «Бедность не порок», М. С. Щепкин в лице Любима Торцова угадывал своего Пантелея Иваныча, то есть человека хотя падшего, но в котором еще теплится святая искра человеческого достоинства и который потому способен подняться и выйти на прямой путь. Недовольный игрою Садовского в этой роли, который (по мнению покойного артиста), прекрасно выражая комическую сторону характера, мало выдавал его внутреннюю борьбу с самим собою,— Щепкин нарочно ездил в Нижний Новгород, чтобы там сыграть Любима Торцова по своему разумению. Не знаю, удалась ли ему эта роль, но для меня весьма знаменательны его слова: надо сыграть так, чтобы из-за горького пьяницы виден был страдающий человек! Это черта великого артиста, ясно свидетельствующая о его высокогуманном взгляде на людские недостатки и слабости.

И. И. СРЕЗНЕВСКОМУ

Москва. 1852 г. Октября 20.

Милостивый государь Измаил Иванович, С большим удовольствием прочитал я в № 1 лист прибавлений к «Академическим известиям» — древние народные песни¹. Вспомнивши о Вашем желании, чтобы я по возможности помогал собиранию народных памятников, я препровождаю при сем Вам 5 народных песен, записанных в Воронеж.[ской] губ. и в Москве. Все они показались мне замечательными по своей художественной простоте и верности; четыре первые из них исполнены драматического интереса, что в моих глазах дает им особенный вес; последняя песня приведена мною, как образчик, доньше не известный мне из печатных сборников песен². Вместе с тем посылаю к Вам два листа белорусских речений, записанных в Могилевской губернии и на днях присланных оттуда ко мне; Вы лучше можете распорядиться этим материалом, если найдете его бесполезным. Напишите, хоть в двух-трех строках, как найдете Вы мою посылку. Затем прошу Вас принять уверения в отличном моем почтении и совершеннейшей преданности.

Готовый к услугам А. Афанасьев.

№ 2

Москва. 1852. Декабря 10.

Милостивый государь Измаил Иванович, Письмо Ваше, присланное чрез Н. В. Калачова, я получил и в ответ спешу сказать, что предложение Ваше написать для «Известий» статью о старинных песнях я принимаю с большою охотою¹; но должен признаться, что надо будет ждать ее несколько месяцев; ибо работа эта требует времени, да сверх того, я занят теперь приготовлением статьи для Географического общества. Надеюсь в скором времени прислать для «Известий» несколько заметок о влиянии языка на народные поверья и наоборот: думаю, что эти заметки будут не чужды интересам Вашего издания, которое здесь возбуждает общее участие².

Примите уверения в отличном почтении и совершеннейшей преданности.

Готовый к услугам А. Афанасьев.

№ 3

Москва. 1853 года. 23 июня.

Милостивый государь Измаил Иванович,

Препровождая на Ваше внимание «Несколько заметок о влиянии языка на создание народных поверий», покорнейше прошу Вас уведомить меня как о получении означенной записки, так и о том, найдете ли Вы ее *удобною* для напечатания в «Академических известиях»¹. С своей стороны я готов трудиться для «Известий» — поскольку буду в силах.

Примите уверения в отличном моем почтении и совершенной к Вам преданности.

А. Афанасьев.

Адрес: в Московск. главный архив министр. иностран. дел.

№ 4

Москва. 1854 г. Февраля 20.

Милостивый государь Измаил Иванович,

Письмо Ваше и отписки статьи моей, напечатанной в «Академических известиях», я имел удовольствие получить. Очень рад быть вкладчиком в это превосходное издание, и постараюсь собраться с досугом, чтобы сообщить Вам несколько заметок о некоторых загадочных народных преданиях. Что касается Словаря¹, я бы охотно принял на себя предлагаемую Вами работу, но не знаю — успею ли окончить ее ко времени; теперь меня сильно занимают сказки, которых я собрал уже довольно, и сличаю их с сказками других народов: похожего так много, что нельзя не признать общего для них источника. Не говоря о содержании, самый тон рассказа и все мелочные подробности удивительно сходны. Если бы удалось мне вытребовать наконец сказки, собранные в Географическом обществе, я немедленно приступил бы к изданию сказок², предпослав большое исследование о литературном и историческом (скорее — мифологическом) значении этих памятников: предмет весьма любопытный и меня много занимает.

Примите уверения в отличнейшем почтении и совершеннейшей преданности.

Душевно уважающий вас

Александр Афанасьев.

Москва. 1855 года. Августа 27.

Милостивый государь Измаил Иванович,

Давно обещал я доставить в «Академические известия» что-нибудь из записанных мною народных сказок¹; но только теперь собрался исполнить это обещание. Препровождая при сем «три народные легенды», записанные со слов крестьянина Воронежской губернии, для напечатания их в «Известиях» Академии, я надеюсь, что Вы найдете эти рассказы столько же занимательными и интересными, сколько и новыми для нашей читающей публики².

На днях приступаю я к печатанию первого выпуска народных сказок, что, надеюсь, будет продолжаться недолго³. По напечатании своего сборника сказок буду иметь удовольствие доставить его на Ваше внимание.

Если почему-либо печатание посылаемых мною легенд не может состояться, то потрудитесь написать о том мне слова два-три.

Примите уверения в отличном моем почтении и совершеннейшей преданности. Готовый к услугам

А. Афанасьев.

№ 6

Москва. 1855. Октября 26.

Милостивый государь Измаил Иванович,

Спешу препроводить Вам изданный мною 1-й выпуск «Народных русских сказок» и покорнейше прошу Вас принять этот экземпляр, как выражение моего искреннего уважения к Вашим ученым заслугам¹. Замечания Ваши на мое издание я встретил бы с особенным удовольствием и не преминул бы воспользоваться ими при издании последующих выпусков настоящего сборника.

Примите, милостивый государь, уверения в отличном почтении и совершенной преданности.

Готовый к услугам

А. Афанасьев.

№ 7

Милостивый государь Измаил Иванович,

От души благодарю Вас за доброе участие к моему труду и за обещание прислать имеющиеся у Вас спис-

ки народных сказок: буду ожидать их с нетерпением¹. Теперь я przygotowляю второй выпуск и надеюсь скоро передать его в цензуру. Мысль Ваша о том, чтобы при издании сказок иметь в виду и маленьких читателей, представлялась и мне. Но ради некоторых неудобств я решил выпустить для детей отдельное издание, не удерживая областных особенностей говора, не обременяя книги примечаниями и выбравши из нескольких вариантов лучшие по рассказу; при этом удобно будет и опустить те сказки, которые не должны попадать в руки детей, но которые нельзя не поместить в собрание, назначенное для литераторов и любителей народности. Но прежде, нежели приступить к этому изданию для детей, мне хотелось бы собрать поболее сказок и тщательнее их сличить с сказками других народов: надеюсь, что Вы одобрите мое намерение².

Искренно благодарю Вас за прекрасный сборник «Великорусских песен» и за повесть о Царьграде³.

Примите уверения в отличном моем почтении и совершеннейшей преданности.

Готовый к услугам

А. Афанасьев.

Москва. 1855. Ноября 18.

Его Высокородию И. И. Срезневскому.

№ 8

Москва. 1858. Янв. 9.

Милостивый государь Измаил Иванович,

Спешу препроводить к Вам экземпляр изданных мною сказок: выпуски III и IV-й, за которыми должны последовать и другие; материалов у меня теперь так много, что труд издания делается нелегким: надо долго возиться с вариантами, мне бы не хотелось ничего опустить.

Благодарю Вас от лица редакции «Библиогр[афических] записок» за изъявленное Вами желание помочь этому предприятию и прошу и Вашего доброго содействия, и Ваших весьма нужных нам советов. 1-й № печатается и будет заключать в себе преинтересные письма Пушкина. Буслаев обещает описание многих рукописей и старопечатных книг, а Соловьев готовит статью о рукописи Синодальной биб[лиотеки]: «Аристотелевы врата». Вы будете получать экземпляр этого

журнала из лавки Базунова¹, куда будет о том сообщено: Редакция Записок бьет Вам челом.

Примите уверения в отличном моем почтении и преданности. Готовый к услугам

А. Афанасьев.

А. Н. ПЫПИНУ

Москва, 1858. Января 12.

Милостивый государь Александр Николаевич,

Прежде всего благодарю Вас за участие в Библиогр. записках; заметка Ваша будет напечатана во втором номере журнала¹. Не знаю, припоминаете ли Вы меня — мы всего раз с Вами виделись и то мельком в деревушке Давыдково, но во всяком случае мне хочется напомнить Вам о себе²; посылаю на память вновь отпечатанные мною выпуски третий и четвертый народных сказок. Вы знаток в этом деле, и прямо говорю, что единственно Ваш разбор на прежние выпуски сказок и был для меня полезен³. Я тогда поручал Краевскому⁴ передать Вам мою благодарность за то удовольствие, которое доставили Вы мне Вашей критической статьей; не ведаю — исполнил ли он это тогда же. Библ. записки будут высылаемы Вам, вместе с другими сотрудниками, в книжн. лавку Базунова, откуда и можете их получать. Сообщайте хотя изредка, как будет принято это издание в СПб. Пока еще мало довольных этою мыслию: одни боятся сухости, а другие ополчились на нас грешных за богопротивное неуважение к каталогам и перечням, высказанное в объявлении. Полторацкий⁵ гневается и за формат и за название, словом, за все, что не относится существенно к делу.

Примите уверение в отличном моем уважении и душевной к Вам преданности. Готовый к услугам

А. Афанасьев.

А. А. ХОВАНСКОМУ

№ 1

1864 г. Мая 20, Москва.

Милостивый государь Алексей Андреевич,

По желанию Вашему я заходил к А. А. Котл[ярвскому]¹ и спрашивал о корректурных листах статьи мо-

ей, печатаемой в «Филологических записках»²; он мне сказал, что важных опечаток в корректуре не было, и так как первые два листа были подписаны цензором гораздо раньше (то есть прежде получения корректур А. А. К[отляревски]м), то потому он и не считал нужным высылать их; третий же лист Вам выслан. К заглавию на отдельных оттисках прибавьте другую строку: Статья такого-то; больше, я думаю, ничего не надо³. Благодарю Вас за присылку журнала Вашего; извините, что не сделал этого прежде — работы у меня столько, что поневоле откладываешь вдаль всякую корреспонденцию. Обещание мое сообщить для Вашего журнала отрывок из приготовляемого мною большого труда по предмету славянской народной поэзии и мифа я не забыл и постараюсь исполнить в скором времени, после отпечатания первой моей статьи. Отрывок, который я хочу сообщить Вам, содержит в себе объяснение различных поэтических преданий о радуге и тех образов, в которых представлялась она у разных народов⁴.

Примите уверения в отличном почтении и совершенной преданности. Готовый к услугам

А. Афанасьев.

№ 2

Москва. 1867. Января 9.

Многоуважаемый Алексей Андреевич,

Мне очень жаль, что письмо Ваше не дошло до меня; но это случилось по весьма простой причине — я переменил квартиру. Новый адрес мой — следующий: на Садовой, в приходе Ермолая, дом Полянского¹. Что касается Филологических заметок, то до меня дошли за прошлый 1866 год выпуски I, II и III-й; не знаю — был ли издан Вами IV выпуск? Если IV вып. напечатан, то потрудитесь выслать его по новому моему адресу, чем меня много обяжете. Желал бы исполнить Вашу просьбу, но никак не выберу — что бы послать из моих работ для Вашего журнала. В настоящее время я сижу за приготовлением к печати 2 тома «Поэтических воззрений славян на природу», написано пять глав, и я с удовольствием желал бы сообщить Вам какой-либо отрывок из этой работы; но меня затрудняет то, что никак не выберу сколько-нибудь цельного и не слишком длинного отрывка. Если не покажется Вам стеснительным объем статьи, то я мог бы дать Вам выдержки из гла-

вы, озаглавленной у меня «Облачные скалы и Перунов цвет»; а то обождите, пока не обработаю чего-нибудь другого². Труд мой подвигается медленно, потому что за служебными занятиями остается слишком мало времени, которым мог бы я располагать свободно, и, вероятно, прежде мая я не в состоянии буду приступить к печатанию³. Благодарю за Ваши поздравления и пожелания по поводу Нового года и прошу с своей стороны принять и от меня такое же поздравление и сердечное желание, чтобы издание Ваше с успехом продолжалось и в нынешнем и в следующие года. Примите уверения в совершенном почтении и преданности

А. Афанасьев.

Н. Л. ТИБЛЕНУ

Москва. 1868. Января 2-го.

Милостивый государь Николай Львович,

Мне весьма приятно было узнать об издании Вами с будущего года журнала, посвященного, между прочим, и русской истории и истории русской литературы¹. Благодарю Вас за доброе мнение о моих трудах; в готовности моей участвовать в Вашем литературном предприятии не может быть ни малейшего сомнения, но сейчас же заявить эту готовность на деле — я несколько затрудняюсь. Под рукой нет у меня ничего, что бы я мог выслать немедленно. Надеюсь через несколько времени быть посвободнее и тогда составить для Вас какую-нибудь критическую статью и сообщить что-либо у материалов по истории русской словесности. Есть у меня доселе не изданная песня Кольцова о Иване Грозном², но прежде чем сообщить ее в «Соврем[енное] обозрение», нужно попросить позволения на то г. Кетчера³, что и надеюсь сделать при первом с ним свидании. Прежняя цензура считала эту песню неудобною для печати, но теперь (после того, как появились в свет разные драмы, в которых довольно свободно говорится о жестокостях Грозного) — думаю, что подобного затруднения быть не может. Письмо Ваше к г. Котляревскому — мною передано.

Примите уверения в совершенном почтении и преданности

А. Афанасьев.

В настоящем томе представлены наиболее значительные статьи А. Н. Афаласьева по мифологии, фольклору, истории русской литературы и литературной критике, а также не публиковавшиеся ранее письма русского ученого. При жизни Афаласьева, а также посмертно эти работы (за исключением его воспоминаний о гимназии, Московском университете и о М. С. Щепкине) не переиздавались. К сожалению, до сих пор научный архив ученого не обнаружен¹, поэтому статьи публикуются по прижизненным книжным, журнальным и газетным текстам, а письма — по автографам, хранящимся в различных фондах Центрального государственного архива литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ СССР).

Орфография и пунктуация текстов приближены к современным, кроме тех случаев, когда особенности индивидуального стиля Афаласьева требовали сохранения старого правописания. Обозначенные знаком [...] сокращения в текстах вызваны необходимостью опустить значительную часть затрудняющих чтение авторских библиографических сносок, а также тем обстоятельством, что в ряде статей Афаласьев повторял текст, уже известный по другим работам данного сборника. В примечаниях подобного рода конъектура всякий раз оговаривается, чтобы читатель имел возможность ознакомиться с пропущенным отрывком текста. Приводить подстрочные библиографические примечания самого Афаласьева в том виде, как он их давал, нецелесообразно, так как они нуждаются в детальной расшифровке и полной переработке в соответствии с современными требованиями библиографического описания. В ряде случаев в комментарии оговорен цитируемый Афаласьевым источник.

Все даты приводятся по старому стилю, а географические названия по административному делению, принятому в России в XIX веке. Редакционный перевод иностранных текстов всякий раз дается под строкой с указанием в скобках языка, с которого осуществлен перевод.

¹ См.: Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М., 1979, с. 57.

Дополнения и прибавления к собранию
«Русских народных пословиц и притчей»,
изданному И. Снегиревым

Впервые: Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Николаем Калачовым. Кн. I. М., 1850, отд. IV, с. 49—68, за подписью «А. Афанасьев». Это первое исследование Афанасьева по фольклорно-этнографической тематике. Печатается по этому изданию. В данном издании опущена заключительная часть статьи, представляющая собой собрание текстов, которые, по мысли Афанасьева, необходимо было бы включить в сборник Снегирева.

¹ В статье сохранена старая орфография при написании слова «мир», ибо это важно для понимания смысла рассуждений автора («мир» как отсутствие ссоры, вражды, войны и «мир» как вселенная, община, сходка крестьян).

² *Нестор* — монах Киево-Печерского монастыря, автор выдающегося памятника древнерусской литературы XI—XII вв. «Повесть временных лет».

Дедушка домовый

Впервые: Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Николаем Калачовым. Кн. I. М., 1850, отд. VI, с. 13—29, за подписью «А. Афанасьев». Печатается по этому изданию.

В этой работе Афанасьев впервые обратился к проблеме мифа, которая будет главной и в его дальнейших исследованиях.

¹ *Дажьбог*, или Даждьбог — в восточнославянской мифологии бог Солнца.

² *Перун* — бог грозы (грома) славянской мифологии.

³ *Сварожич*, или Сварог — бог огня славянской мифологии.

⁴ *верей* — столб, «на который навешиваются полотенца ворот» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. I. Спб.—М., 1880, с. 181).

⁵ загнетка — «заулок на шестке русской печи, обычно левый, ямка на передпечье, куда сгребается жар» (Даль В. И. Толковый словарь, т. I, с. 568).

⁶ См. примеч. 2 к статье «Предисловие к сборнику «Народные русские легенды».

⁷ *Лужитане* (совр. лужичане) — потомки славянских племен, некогда обитавших (в I тыс. н. э.) между реками Одрой и Лабой. В

настоящее время эта западнославянская народность проживает на территории ГДР.

⁸ *Кроация, Далмация, Герцеговина* (совр. Хорватия, Далмация и Герцеговина) — название исторических областей в современной СФРЮ.

⁹ *Сахаров Иван Петрович* (1807—1863) — русский этнограф и фольклорист, автор многочисленных трудов в области славянских древностей. Материалы его публикаций (главным образом, «Сказаний русского народа о семейной жизни своих предков») активно использовались Афанасьевым в его трудах. Ценность книг Сахарова — прежде всего в богатом фактическом материале, но не в теоретических построениях автора, которые были проникнуты духом «официальной народности».

¹⁰ *мавки* — на Юге России то же, что и русалки, но «веселые, шаловливые созданыя» (Даль В. И. Толковый словарь, т. IV, с. 114).

¹¹ *Памва Берында* (? — ум. 1632) — украинский писатель, выпустивший в 1627 году «Словарь славяно-росский и слов толкование». Словарь содержал примеры живой украинской речи.

¹² *Лев Диакон* (родился около 950 г.—?) — византийский историк, автор «Историй» (в 10 книгах), где имеются сведения о Киевской Руси и Болгарии, носящие тенденциозный характер. В русском переводе «История» была опубликована в 1820 году (Спб.).

¹³ *Радунница* — «навий день, родительская, день поминовения усопших на кладбище, на фоминой неделе; тут пьют, едят, угощают и покойников, призывая их на радость пресветлого воскресения» (Даль В. И. Толковый словарь, т. IV, с. 8).

Об археологическом значении «Домостроя»

Впервые: Отечественные записки, 1850, № 7, отд. II, с. 33—46, за подписью «А. Афанасьев». Печатается по этому изданию.

Статья посвящена исследованию памятника русской литературы, образца «народного русского языка и слога XVI века» (Ф. И. Буслаев) — «Домостроя». Этот внелитературный памятник сохранил значительное число исторических и бытовых реалий прошлого, что позволяло исследователю не только проследить эволюцию правовых, социальных и иных институтов России, но и воссоздать картину частной жизни русского человека XVI века.

¹ *Голохвастов Дмитрий Павлович* (1798—1849) — профессор Московского университета, историк. Во «Временнике общества истории и древностей» (1849 г.) издал так называемую Коншинскую редакцию «Домостроя».

² *Котошихин Григорий Карпович* (около 1630—1667) — подья-

чий Посольского приказа, бежавший в 1663 году в Швецию. Автор сочинения «О России в царствование Алексея Михайловича», содержащего обширный фактический материал о различных сторонах жизни России XVII века. Некоторые оценки Котошихина (особенно о нравах и обычаях русских людей) тенденциозны. Сочинение Г. Котошихина опубликовано в кн.: Русское историческое повествование XVI—XVII веков. М., 1984, с. 162—315.

³ *Сильвестр* (конец XV — 60—70-е гг. XVI вв.) — русский политический церковный и литературный деятель, священник придворного Благовещенского собора, автор одной из редакций «Домостроя». Был одним из ближайших советников царя Ивана Грозного, но попал в опалу и был сослан в Соловецкий монастырь, где и скончался. Составленный им «Домострой» представлял свод правил для сына Анфима и его жены Пелагеи.

⁴ Речь идет о статье И. Е. Забелина (см. вступ. ст.) «Троицкие походы», напечатанную в «Чтениях в обществе истории и древностей российских».

⁵ *Филарет* (в 50-х гг. XVI в.— 1633) (в миру Федор Никитич Романов) — патриарх Московский и всея Руси (1619—1633), отец царя Михаила Федоровича, фактический глава Русского государства.

⁶ *Св. Сергей* — Сергей Радонежский (около 1315—1319 гг.— 1392) — крупнейший церковный и политический деятель, основатель Троице-Сергиева монастыря. Один из соратников Дмитрия Донского. Содействовал объединению русских князей перед Куликовской битвой.

⁷ *Маврикий Стратег* — византийский писатель VI—VII вв., автор трактата о военном искусстве «Стратегикон», где имеются сведения о быте, нравах и обычаях древних славян.

Религиозно-языческое значение избы славянина

Впервые: Отечественные записки, 1851, № 6, отд. II, с. 53—66, за подписью «А. Афанасьев». Печатается по этому изданию.

Статья продолжает «археологическое исследование» мифологических основ русского быта, начатое в работе «Дедушка домовой». В этой статье Афанасьев открывает читателю целый мифологический мир, сосредоточенный на небольшом пространстве крестьянской избы. Смелость предложенных автором гипотез вызвала самые разноречивые суждения, и полемика вокруг статьи Афанасьева нашла свое отображение даже в некоторых произведениях классической русской литературы, в частности, в повести Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Устами героя повести Егора

Ильича Ростанева автор следующим образом выражает свое отношение к статье Афанасьева: «Намедни прихожу — лежит книга; взял, из любопытства, развернул да три страницы разом и отмахал. Просто, брат, рот разинул! И знаешь, обо всем толкование: что, например, значит метла, лопата, чумичка, ухват? По-моему, метла так метла и есть; ухват так и есть ухват! Нет, брат, подожди! Ухват-то выходит, по-ученому, не ухват, а эмблема или мифология, что ли, какая-то, уж не помню что, а только что-то такое вышло... Вот оно как! До всего дошли!» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 3. Л., 1972, с. 135—136).

На эту оценку Достоевским статьи Афанасьева обратил внимание современный японский исследователь Садайоси Игэта в своем докладе «Достоевский и Афанасьев» (см.: Иванов Вяч. Вс. О научном ясновидении Афанасьева, сказочника и фольклориста.— Лит. учеба, 1982, № 1, с. 156). О влиянии Афанасьева на творчество Б. Л. Пастернака писал советский ученый Вяч. Вс. Иванов (там же).

Существует прямая соотнесенность этой и других работ Афанасьева со многими произведениями литературы XX в. Вспомним, например, творчество Сергея Есенина и Николая Клюева, пытавшихся воссоздать в поэтической форме мифологизированный микрокосм крестьянской избы.

Наряду со смелыми филологическими и этнографическими гипотезами статья наполнена истинной народной поэзией.

¹ *Славония* — современная Словения, входящая в состав СФРЮ.

² *славяне фриульские* — южнославянская народность, проживавшая на территории современной Италии (административная область Фриули — Венеция-Джулия).

³ *Пассек* Вадим Васильевич (1808—1842) — русский историк и этнограф, автор трудов «Путевые записки Вадима» (М., 1834), «Очерки России» (кн. 1—5. М., 1838—1842), где были собраны материалы по географии, истории, археологии, фольклору и этнографии народов России.

⁴ *истрийские славяне* — южнославянская народность, живущая на п-ове Истрия (территория современной Югославии и Италии).

Два слова о журнальной сатире прошлого века

Впервые: Московские ведомости, 1856, № 55 (8 мая), Лит. отдел, за подписью «А. Афанасьев». Печатается по этому изданию.

Помимо изысканий в области славянской мифологии, в середине 50-х годов Афанасьев приступает к фундаментальным исследованиям в области «литературной археологии», главным образом, по

литературе XVIII века. Наиболее известной работой этого периода является его сочинение «Русские сатирические журналы 1769—1774 годов. Эпизод из истории русской литературы» (М., 1859).

Им были также переизданы тексты трех сатирических журналов екатерининской эпохи — «Поденщины», «Пустомели» и «Кошелька». В небольшой газетной статье «Два слова о журнальной сатире прошлого века» Афанасьев продолжил тему исследования, обратившись к изданиям последующих лет. Вслед за этой статьей Афанасьевым были опубликованы статьи «Сатирические издания девяностых годов» (Московские ведомости, 1856, № 80, 83, 84), «Черты нравов XVIII века» (Русский вестник, 1857, № 16, 18), а также ряд статей в «Библиографических записках».

¹ *Пекарский* Петр Петрович (1827—1872) — историк, литературовед, библиограф, специалист по литературе и культуре XVIII в. Сотрудничал в журнале Афанасьева «Библиографические записки».

² *мартинисты* — название членов общества русских масонов, основанного в 1780 году.

³ *петиметр* (фр. *petit-maitre* — щеголь) — в русской литературе XVIII века образ малокультурного франта, рабски подражающего зарубежной моде.

Об исторической верности в романах И. И. Лажечникова

Впервые: Атеней. Журнал критики, современной истории и литературы, 1858, № 41, с. 364—373, за подписью «А. Афанасьев». Печатается по этому изданию.

Данная статья посвящена разбору некоторых романов известного романиста И. И. Лажечникова (1792—1869). Заслуживают внимания выводы Афанасьева об исторической правде как об одном из главных принципов жанра исторического романа. Именно с этой точки зрения следует оценивать некоторую резкость суждений Афанасьева относительно ценности романов Лажечникова «Басурман», «Последний Новик» и в особенности романа «Ледяной дом», который, по словам В. Г. Белинского, был «одним из самых замечательных явлений в русской литературе» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 3. М., 1953, с. 18).

¹ Речь идет о статье М. Н. Лонгинова «Собрание сочинений И. И. Лажечникова», напечатанной в журнале «Атеней» (1858, № 32).

² *Долгоруков* Иван Александрович (1708—1739) — фаворит Петра II. В 1730 году был сослан в г. Березов. В 1739 году казнен (колесован) в Новгороде. Был женат на Наталье Борисовне Шереметевой, которую Н. А. Полевой охарактеризовал как «один из са-

ных необыкновенных характеров женских» (Московский телеграф, 1828, № 4).

³ *Остерман* Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих) (1686—1747) — русский государственный деятель, выходец из Вестфалии. Во времена Анны Иоанновны был первым кабинет-министром. В 1741 г. по указанию Елизаветы Петровны был сослан в г. Березов, где и умер.

⁴ *Волынский* Артемий Петрович (1689—1740) — русский государственный деятель и дипломат. Возглавлял оппозицию против Бирона и был казнен.

⁵ *Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ-идеалист, выдающийся математик.

⁶ *Дюк Лирийский* — Лирия де (1695—1733) — испанский посланник при российском дворе в 1727—1730 гг. О своем пребывании в России оставил «Записки», которые были опубликованы на русском языке в 1845 г.

⁷ *Манштейн* Кристоф Герман (1711—1757) — с 1737 по 1744 г. находился на службе в русской армии. Позже генерал прусской армии. Автор «Записок о России».

⁸ *Меншиков* Александр Данилович (1673—1729) — выдающийся русский государственный деятель и полководец, сподвижник Петра I. Во время царствования Петра II был сослан вместе с семьей сначала в г. Раненбург, а затем в г. Березов, где и умер.

⁹ *Щербатов* Михаил Михайлович, князь (1733—1790) — русский историк, экономист и публицист. Автор семитомной «Истории Российской от древнейших времен» и книги «О повреждении нравов в России», содержащей резкие выпады против Екатерины II. В «Библиографических записках» Афанасьевым был опубликован ряд материалов князя Щербатова. По всей видимости, Афанасьев принимал участие и в подготовке герценовского издания книги «О повреждении нравов в России», вышедшей в 1858 году в Лондоне.

¹⁰ *Прокопович* Феофан (1681—1736) — русский церковный и политический деятель, писатель, сподвижник Петра I.

¹¹ Речь идет о письме А. С. Пушкина к И. И. Лажечникову от 3 ноября 1835 года, где говорилось: «Может быть, в художественном отношении «Ледяной дом» и выше «Последнего Новика», но истина историческая в нем не соблюдена, и это со временем, когда дело Волынского будет обнародовано, конечно, повредит вашему созданию; но поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. 10. Л., 1979, с. 432).

¹² *Бирон* Эрнст Иоганн (1690—1772) — курляндский герцог, фаворит императрицы Анны Иоанновны. После переворота 1740 года был сослан; возвращен из ссылки Петром III.

¹³ *Тредиаковский* Василий Кириллович (1703—1768) — русский писатель и переводчик, создатель теории стихосложения.

¹⁴ «*Езда в остров Любви*» — перевод В. К. Тредиаковским аллегорического романа П. Тальмана. Перевод имел большую популярность.

¹⁵ Речь идет о словах А. С. Пушкина в цитируемом выше письме к И. И. Лажечникову: «О Бироне можно бы также потолковать. Он имел несчастье быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 10, с. 432).

Адская газета

Впервые: Библиографические записки, 1858, № 2, стлб. 53—55, за подписью «А. Афанасьев». Печатается по этому изданию.

Статья появилась в журнальной рубрике «Заметки о рукописной литературе простого народа». Как сообщалось в предисловии, «под этим заглавием редакция намерена предложить ряд указаний на различные рукописные произведения, обращающиеся к кругу грамотного простонародья». Открыла рубрику статья А. Н. Пыпина «Староверческий стих об Андрее Денисове»; «Адская газета» Афанасьева была второй публикацией на эту тему. Статья была с трудом пропущена цензурой, поскольку воспроизводила старообрядческий текст с резкими выпадами против православной церкви. Интерес представляет суждение Афанасьева о месте такого рода текстов среди других произведений народной словесности, о фольклоре как отражении «типических сторон людских отношений».

¹ *малаханцы* — возможно, речь идет о «молоканах», одной из возникших в XVIII в. сект так называемого духовного христианства.

Литературные труды княгини Е. Р. Дашковой

Впервые: Отечественные записки, 1860, № 3, отд. 1, с 181—218, за подписью «А. Афанасьев». Печатается по этому изданию.

После опубликования Д. И. Иловайским в «Отечественных записках» (1859, № 9—12) отрывков из «Записок» Екатерины Романовны Дашковой (1744—1810) Афанасьев предложил этому же журналу статью, посвященную ее литературной деятельности, обратив внимание российской общественности на то, что Е. Р. Дашкова была не только статс-дамой при дворе Екатерины II, директором

Петербургской Академии наук и президентом Российской Академии, но и талантливой писательницей и переводчицей, без которой невозможно представить литературу XVIII века.

Работа Афанасьева несомненно испытала влияние опубликованной в «Полярной звезде» (1857, кн. III) статьи А. И. Герцена «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова», где многое, о чем Афанасьев был вынужден в силу цензурных соображений умалчивать, прозвучало открыто. Однако пафос обеих статей однозначен — это гимн эмансипированной просвященной русской женщине XVIII века.

Статья перепечатывается с сокращениями. Опушены обширные цитаты из «Записок» Е. Р. Дашковой, с полным текстом которых можно в настоящее время познакомиться (см.: Дашкова Е. Р. Записки. 1743—1810. Л., 1985).

¹ *Сегюр д' Агессо Луи-Филипп де* (1753—1830) — с 1785 по 1789 г. посол Франции в России, писатель.

² *Воронцов Михаил Илларионович* (1714—1767) — крупный государственный деятель (в 1758—1762 гг. — канцлер) и дипломат.

³ *Бейль Пьер* (1647—1706) — французский философ

⁴ *Шувалов Иван Иванович* (1727—1797) — русский государственный деятель, фаворит Елизаветы Петровны. Много сделал для развития русской науки и культуры.

⁵ Речь идет о дворцовом перевороте 28 июля 1762 года, в результате которого на престол была возведена Екатерина II. Е. Р. Дашкова принимала в перевороте самое активное участие.

⁶ «*Собеседник любителей российского слова, содержащий разные сочинения в стихах и в прозе некоторых российских писателей*» — ежемесячный журнал, издававшийся Академией наук в 1783—1784 гг. Дашкова и Екатерина II были фактическими редакторами журнала.

⁷ *Новиков Николай Иванович* (1744—1818) — русский писатель-просветитель, издатель.

⁸ Основанное в 1771 году «*Вольное российское собрание при императорском Московском университете*» издавало «*Опыт трудов Вольного российского собрания...*» (ч. 1—6. М., 1774—1783).

⁹ *Юм Давид* (1711—1776) — английский философ и историк.

¹⁰ *Друиды* — жрецы у древних кельтов Галлии, Британии и Ирландии.

¹¹ Речь идет о герцоге Джоне Черчилле Мальборо (1650—1722), английском полковнике и государственном деятеле, который одержал победу при Блейгейме (1704 г.) во время войны за испанское наследство.

¹² *Домашнев Сергей Герасимович* (1743—1795) — писатель, предшественник Дашковой на посту директора Академии наук.

¹³ *Эйлер* Леонард (1707—1783) — выдающийся математик и физик, академик Петербургской Академии наук.

¹⁴ *Козицкий* Григорий Васильевич (1725—1775) — писатель, переводчик. Редактировал журнал «Всякая всячина».

¹⁵ *Богданович* Ипполит Федорович (1743—1803) — поэт, автор поэмы «Душенька». *Капнист* Василий Васильевич (1758—1823) — поэт и драматург. *Княжнин* Яков Борисович (1742—1791) — драматург, поэт переводчик. *Козодавлев Осип Петрович* (1754—1819) — писатель, член Российской Академии с 1783 г.

¹⁶ *Ябеда* (устар.) — прошение, поданное в суд либо в какое другое государственное учреждение.

¹⁷ *Грот* Яков Карлович (1812—1893) — филолог, историк и переводчик.

¹⁸ *Елагин* Иван Перфильевич (1725—1794) — статс-секретарь Екатерины II, писатель, член Российской Академии, один из активных деятелей масонства. *Эмин* Федор Александрович (1735—1770) — русский писатель и журналист.

¹⁹ *Лукин* Владимир Игнатьевич (1737—1794) — драматург и переводчик, автор комедии «Мот, любовью исправленный».

²⁰ *Храповицкий* Александр Васильевич (1749—1801) — статс-секретарь Екатерины II. Автор «Дневника», где отражен период с 1782 по 1793 г.

²¹ *Митрополит Евгений* — Болховитинов Евфимий Алексеевич (1767—1837) — историк и библиограф, основатель славяно-русской палеографии. Автор ценных трудов по различным областям знания, в том числе и библиографических.

²² *Коцебу* Август Фридрих Фердинанд (1761—1819) — немецкий писатель и драматург.

²³ *Кауниц* Венцель Антон (1711—1794) — австрийский канцлер в 1753—1792 гг.

²⁴ *Фальконе* Этьен Морис (1716—1791) — французский скульптор, автор памятника Петру Великому в Петербурге.

Предисловия к выпускам «Народных русских сказок»

Все эти предисловия были написаны в период с 1855 по 1871 г. и посвящены одной научной проблеме — выработке теоретических основ отечественного сказковедения. Они имели для автора программный характер, так как выдвигали задачу не только интенсивного сбора сказочных текстов, но и их сравнительного изучения в рамках мифологической школы. Основные положения предисловий были включены автором в работу «Поэтические воззрения славян на природу».

Предисловие ко 2-му изданию

Впервые в кн.: Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. 2-е изд. М., 1873, за подписью «А. А.».

Это предисловие было напечатано уже после смерти автора, но его текст во многом соответствует предисловию 1855 года, когда вышел первый выпуск «Сказок». Печатается по изд.: Афанасьев А. Н. Народные русские сказки в 3-х т., т. 1. М., 1984, с. 5—10.

¹ Афанасьев не совсем точно цитирует отрывок из письма А. С. Пушкина к брату Льву Сергеевичу, отправленного из Михайловского в первой половине ноября 1824 г. У Пушкина — «недостатки проклятого своего воспитания» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 10, с. 86).

² Типичная для мифологов концепция — «фольклор как отражение верований».

³ Один из основных постулатов «мифологической школы» — «сказка как осколок древнего мифа».

⁴ Сахаров И. П. Русские народные сказки. Спб., 1841.

Предисловие к примечаниям II выпуска I-го издания

Впервые: Афанасьев А. А. Народные русские сказки. Вып. II. М., 1856, без подписи. Печатается по изд.: Афанасьев А. Н. Народные русские сказки, т. 1. Л., 1936, с. 498—499.

Появление из печати первого выпуска сказок вызвало самые разноречивые суждения, касающиеся в основном принципов отбора и группировки текстов. Автора упрекали в отсутствии системы. В определенной мере это предисловие было ответом на критику, в котором Афанасьев изложил свои принципы классификации текстов.

Предисловие к IV выпуску I-го издания

Впервые: Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. Вып. IV. М., 1858, за подписью «А. А.». Печатается по изд.: Афанасьев А. Н. Народные русские сказки, т. 1. Л., 1936, с. 499.

В. И. Даль передал Афанасьеву более 1000 сказочных текстов, из которых в 4—7-м выпусках было опубликовано около двухсот. Данное предисловие прямо указывает на один из источников формирования основного корпуса собрания сказок.

¹ Часть этих текстов была позднее помещена в «Русских заветных сказках», изданных в 1872 г. в Швейцарии.

Впервые: Афанасьев А. Н. Народные русские легенды. М., 1859. Печатается по изд.: Афанасьев А. Н. Народные русские легенды/Под ред. И. П. Кочергина. Казань, 1914.

В предисловии к сборнику, который в 1860 г. был запрещен цензурой и не переиздавался вплоть до 1914 г., Афанасьев выделяет в фольклоре так называемый христианский миф, причудливо переплетающийся в народном сознании с языческими представлениями. По сути дела, народные легенды — памятники народного христианско-языческого двоеверия. Такая постановка проблемы вызвала резкие протесты со стороны духовенства, что и вызвало его запрещение. В предисловии Афанасьев обращает внимание на художественные особенности легенд, но умалчивает об их социальной и антиклерикальной природе, хотя такое представление объективно вытекает из текстов, помещенных в сборнике. Недаром еще раньше, чем в Москве, сборник вышел в Лондоне, в Вольной типографии А. И. Герцена.

¹ Имеются в виду *апокрифы* — средневековые повести о рае, аде, конце мира и т. п., сюжеты которых почерпнуты из легенд, Библии и житийной литературы.

² Двоеверие фигурирует во многих произведениях древнерусской литературы. Например, в памятнике XIV в. «Слово некоего христолюбца, ревнителя по правой вере» содержится призыв разделиться с «двоеверно живущими, верующими в Перуна, Хорса, Мокошь, Сима и Регла, в вилы, род и рожаниц» (Цит. по кн.: Яцимирский А. И. Хрестоматия по славянским древностям. Верования. Ростов-на-Дону, 1916, с. 64). Подобные упоминания можно встретить и в «Слове» Иоанна Златоуста, и в «Повести временных лет».

О переводе сказок Гриммов

Впервые: Книжный вестник, 1864, № 19, с. 379—382, за подписью «И. М — къ». Печатается по этому изданию.

Рецензия на русское издание сказок братьев Гримм (Народные сказки, собранные братьями Гриммами. Пер. с немецкого. Спб., 1863—1864) написана в тяжелый для Афанасьева период жизни. Увольнение со службы вынуждало его братья за любую литературную работу, в том числе и за мелкие рецензии. Однако даже в этих небольших по объему статьях Афанасьев оставался ученым, для которого научные интересы были главными. Статья не только излагает переводческое кредо самого Афанасьева, но и рассматрива-

ет общетеоретические задачи фольклористики — проблему издания фольклорных памятников, проблему текстологии фольклорных текстов и ряд других.

¹ Братья Вильгельм (1787—1859) и Якоб (1785—1863) Гримм — немецкие филологи, основоположники «мифологической школы» в фольклористике. Они собрали и издали в 1812—1815 гг. сборник немецких народных сказок «Детские и домашние сказки», о русском переводе которых и написана настоящая статья.

**Рецензия на сборник Е. А. Чудинского
«Русские народные сказки,
прибаутки и побасенки». М., 1864**

Впервые: Книжный вестник, 1865, № 1, с. 8—9, за подписью «И. М — къ». Печатается по этому изданию.

Небольшая рецензия на сборник Е. А. Чудинского «Русские народные сказки, прибаутки и побасенки» (М., 1864) продолжает исследование проблемы издания фольклорных памятников. Афанасьев на примере сборника Чудинского анализирует возможные принципы отбора текстов, утверждая главным критерием — народность. Противопоставление народа и челяди, «цивилизующейся около бар» или «самых издателей», обращало внимание собирателей прежде всего на те фольклорные произведения, которые бытуют среди народа и отражают мировоззрение народа.

¹ *Анучкин* — персонаж из комедии Н. В. Гоголя «Женитьба».

² Речь идет о сборнике «Великорусские сказки» известного фольклориста и революционера-народника И. А. Худякова. Три выпуска «Великорусских сказок» были опубликованы в Москве в 1860—1862 гг.

³ «*Письмовник*» — главный труд русского просветителя, педагога и издателя Николая Гавриловича Курганова (1725—1796). «Письмовник» представлял из себя антологию, где наряду с фольклорными текстами были помещены произведения литературного происхождения.

Сказка и миф

Впервые: Филологические записки, 1864, вып. I—II, за подписью «А. Афанасьев». Печатается по оттиску статьи: Афанасьев в А. Н. Сказка и миф. Воронеж, 1864, с. 2—68.

В данной публикации опущена первая часть статьи, поскольку она полностью повторена в работе «Происхождение мифа, метод и

средства его изучения» (см. с. 219 настоящего издания). Статья раскрывает мифологические первоосновы сказочного эпоса разных народов, который учеными-мифологами рассматривался как «осколок древнего мифа». Основные положения статьи вошли в работу «Поэтические воззрения славян на природу».

¹ *арийских народов* — т. е. индоевропейцев.

² *Хорутания* — славянское название Каринтии, провинции на юге Австрии. *Хорутане* — старинное название словенцев

³ *вилы* — в южнославянской мифологии женские духи, владевшие водой и колодцами; *роженицы* — архаические славянские божеества, олицетворявшие плодovitость — плодородие; *норны* — в скандинавской мифологии богини времени и судьбы.

⁴ *Эдда* — имеется в виду памятник древнескандинавской эпической литературы «Старшая Эдда». К нему примыкает авторское произведение XIII в. «Младшая Эдда» (своего рода учебник поэзии). «Старшая Эдда» — уникальный источник по общескандинавской и общегерманской мифологии, содержащий 10 мифологических и 19 героических песен. *Один* — в древнескандинавской мифологии верховный бог, властитель неба и земли, бог войны и победы, покровитель павших в бою героев. Души погибших героев обитали во дворце Одина Валгалле, куда их уносили с поля брани воинственные девы-богини валькирии.

⁵ *Брунгильда и Зигурд* (точнее — Сигурд) — герои германо-скандинавской мифологии и эпоса. Фигурируют в эддических песнях и в «Песни о Нибелунгах».

⁶ *Бальдур* (точнее — Бальдр) — в древнескандинавской мифологии юный прекрасный бог, сын верховного бога Одина.

⁷ *Вейнемейнен* (Вяйнямейнен) — главный герой карело-финского эпоса «Калевала».

⁸ *Лоуки* (Лоухи) — в «Калевале» хозяйка Похьёлы (Страны Севера).

⁹ *Ригведа* (букв. «Веда гимнов») — первый ведический сборник древнеиндийской литературы.

¹⁰ *Тифон* — в древнегреческой мифологии сын Геи и Таргара, стоголавое огнедышащее чудовище, побежденное Зевсом.

Наузы. Пример влияния языка на образование народных верований и обрядов

Впервые: Древности. Труды Московского археологического общества, т. 1, кн. 1, 1865, за подписью «А. Афанасьев». Печатается с отдельного оттиска статьи, изданного в том же году в Москве (с. 3—28).

Статья посвящена изучению народных обычаев, обрядов и верований с помощью новых для того времени методов исследования, предложенных сравнительной филологией. Предпринятая Афанасьевым реконструкция от языка к мифу показала возможности сравнительного языкознания в плане воссоздания давно исчезнувших мифологических, социальных и иных структур. Статья затрагивает и множество других проблем лингвистики, правоведения (в историческом плане), этнографии и фольклористики. Многие ее части вошли в «Поэтические воззрения славян на природу», а последний абзац статьи является заключительной частью фундаментального труда Афанасьева.

¹ «Русская Правда» — свод русского права XI—XII вв., собрание постановлений, уложений, выработанных на основе обычного права. Впервые текст «Русской Правды» был обнаружен русским историком В. Н. Татищевым в 1738 г.

² *Барберини Рафаэл* — представитель знатной итальянской фамилии. В 1564 г. посетил Москву с рекомендательным письмом английской королевы Елизаветы к Ивану Грозному. В 1565 г. выпустил книгу о своем пребывании в Московии. Книга была составлена в виде писем сына к отцу со сведениями о русской экономике и торговле. В 1842 г. журнал «Сын отечества» (№ 6—7) опубликовал в русском переводе выдержки из книги Барберини.

³ *Гваньини Александр* (1538—1614) — итальянец, служивший в армии польских королей Стефана Батория и Сигизмунда III. Принимал участие в войнах против России, был комендантом г. Витебска. Автор книги «Описание всей страны, подчиненной царю Московии...», изданной в 1581 г. на латинском языке, где приводятся сведения о природе, государственном устройстве, религии, быте и образе жизни русских. Отрывки из книги Гваньини были опубликованы в журнале «Отечественные записки» в 1825 г. (ч. 25).

⁴ *черемисы* (устар.) — прежнее название марийцев.

⁵ *инвеститура* — в средние века церемониальный ввод вассала во владение феодалом. Акт передачи сеньором земли сопровождался символическими обрядами (например, передачей горсти земли).

⁶ *Гефест* — в древнегреческой мифологии бог огня и кузнечного искусства. *Киприда* — одно из имен древнегреческой богини красоты и любви Афродиты, данной ей по острову Кипру, на который она вышла, родившись из морской пены. *Арес* — в древнегреческой мифологии бог войны.

Впервые: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. Т. 1. М., 1865, с. 5—55. Печатается по этому изданию.

Первая глава трехтомного труда, в которой излагается методология сравнительной мифологии, а также теория генезиса мифа. Глава носит концептуальный характер и является теоретическим осмыслением многовекового процесса мифообразования. Именно реализации основных положений данной главы посвящены все последующие разделы труда, наполненные обширнейшим фактическим материалом.

¹ *Аргус* — в древнегреческой мифологии сын Гея, великан-сторож, тело которого было покрыто огромным количеством глаз, из которых одновременно спали лишь два.

² *Феб* — в древнегреческой мифологии второе имя бога солнца Аполлона. Феб буквально значит «лучезарный». *Гелиос* — в древнегреческой мифологии бог солнца.

³ *Бэкон* Фрэнсис (1561—1626) — выдающийся философ, основоположник английского материализма.

⁴ *Мюллер* Макс (1823—1900) — английский филолог, специалист по санскриту и истории религии. Выпускник Берлинского университета, он в 1848 г. переехал в Англию, где вел научную работу в Оксфордском университете. Основоположник так называемой солярной теории происхождения мифа (источник мифов — солнце как божество), автор теории возникновения мифа из «болезни языка», основоположник сравнительной мифологии. Оказал значительное влияние на русских мифологов и, в частности, на Афанасьева, который в данной главе цитирует русский перевод одной из работ Мюллера (Лекции по науке об языке. Спб., 1865).

⁵ *Пиктэ* Адольф (1799—1875) — швейцарский лингвист, основоположник лингвистической палеонтологии. В упомянутом труде попытался воссоздать культуру и быт индоевропейцев.

⁶ *Веды* (букв. «знания») — древнейшие памятники индийской литературы. В четырех книгах Вед были изложены основы древнейшей религии Индии — ведизма.

⁷ *Шива* — первоначально второстепенный бог ведической мифологии. Позднее стал одним из главных богов индуизма (Брахма — Вишну — Шива). *Вишну* — сначала, как и Шива, второстепенный бог ведического пантеона. В так называемый «эпический период» — верховное божество. *Магадева* (точнее — Махадева) — буквально «ве-

ликий бог», одна из восьми ипостасей Шивы. Употребляется как один из эпитетов Шивы.

⁸ *Пураны* — памятники санскритской литературы, священные тексты средневекового индуизма. Наряду с культовыми текстами содержат большое количество легенд, сказок, а также трактаты по поэтике.

⁹ *теогония* — мифы о происхождении богов.

¹⁰ *Гезиод* (Гесиод) — древнегреческий поэт VIII—VII вв. до н. э. В поэме «*Теогония*» впервые была предпринята попытка систематизации древнегреческого пантеона божеств.

¹¹ *Коляда* — в древнеславянской мифологии божество, связанное с новогодним циклом.

¹² Речь идет о статье Ф. И. Буслаева «Русские пословицы и поговорки. Дополнение к изданию И. Снегирева «Русские народные пословицы и притчи». М., 1848. — В кн.: Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым. Кн. II, половина II. М., 1854, с. 1—176.

¹³ *Кирилл Туровский* — древнерусский писатель конца XII в. Автор торжественных «Слов», написанных по поводу различных церковных праздников.

¹⁴ *Григорий Богослов* (ок. 330 — ок. 390) — один из видных представителей христианской догматической философии, активно выступавший в своих проповедях и гимнах против язычества. Многие фрагменты из его произведений вошли в состав церковных песнопений.

¹⁵ *Вайсгант* (точнее — Вайжгантас) — у древних литовцев божество льна.

¹⁶ *Индра* — в древнеиндийской ведической мифологии бог грозы, дождя и молнии. Позже стал почитаться как верховный бог.

¹⁷ *Тор* — в древнескандинавской мифологии бог грома, бури и плодородия, вооруженный громовым молотом Мьельниром. Сын бога Одина.

¹⁸ «*Стих о Голубиной книге*» — одно из произведений песенного фольклора, носящее религиозный характер. В «Стихе» заключались вопросы царя Волотомана Волотомановича и ответы царя Давида, которые тот вычитал из выпавшей из тучи на землю «Голубиной» книги.

¹⁹ *Вафтруднир* (букв. «сильный в запутывании») — великан из «Старшей Эдды». Великаны считались древнее богов и потому были искушены в древнем знании и мудрости.

До гимназии и в гимназии
Московский университет (1844—1848 гг.)

Впервые: Русский архив, 1872, № 3—4, стлб. 809—852 (о детских и гимназических годах) и Русская старина, 1886, № 8, с. 357—394 (о годах учебы в университете). Печатается по изд.: Афанасьев А. Н. Народные русские легенды/Под ред. И. П. Кочергина. Казань, 1914, с. VII—LXXX.

Поскольку в воспоминаниях Афанасьева дается подробная характеристика каждого из преподавателей университета, то в примечаниях приводятся краткие сведения об упомянутых лицах.

¹ *Строганов* Сергей Григорьевич (1794—1882) — в 1835—1847 гг. попечитель Московского учебного округа, в 1859—1860 гг. московский военный генерал-губернатор.

² *Нахимов* Платон Степанович (1790—1850) — в 1834—1848 гг. инспектор Московского университета.

³ *Терновский* Петр Матвеевич (1798 — ?) — протоиерей, настоятель университетской церкви.

⁴ *экзерциргауз* (нем.) — здание, в котором происходило строевое обучение солдат.

⁵ О Д. П. *Голохвастове* см. примеч. к ст. «Об археологическом значении «Домостроя».

⁶ *Редкин* Петр Григорьевич (1808—1891) — в 1835—1848 гг. профессор юридического факультета Московского университета.

⁷ *Орнатский* Сергей Николаевич (1806—1884) — с 1848 г. профессор юридического факультета.

⁸ *Лешков* Василий Николаевич (1810—1881) — профессор, основатель и председатель Юридического общества.

⁹ *Иноземцев* Федор Иванович (1802—1859) — известный хирург, профессор Московского университета.

¹⁰ *западная партия* — т. е. «западники».

¹¹ *не женируясь* (фр.) — не стесняясь.

¹² *Крюков* Дмитрий Львович (1809—1845) — специалист по римской словесности, профессор университета с 1835 г.

¹³ *Крылов* Никита Иванович (1804—1879) — с 1835 г. профессор римского права.

¹⁴ *Чивилев* Александр Иванович (1808—1867) — историк, статистик и политэконом. Профессор университета с 1838 г.

¹⁵ *Нибуэр* Бартольд Георг (1776—1831) — немецкий историк античности.

¹⁶ *Савиньи* Фридрих Карл (1779—1861) — немецкий юрист, специалист по истории римского права.

¹¹ *пандекты* — свод классических сочинений юристов Древнего Рима по вопросам права, имевший силу закона.

¹⁸ *Корш* Валентин Федорович (1828—1883) — журналист и историк литературы. В 1856—1862 гг. редактор газеты «Московские ведомости», в 1863—1874 гг. — редактор «Санкт-Петербургских ведомостей».

¹⁹ *Ростовцев* Яков Иванович (1803—1860) — русский государственный и военный деятель, генерал-адъютант. Возглавлял управление военно-учебными заведениями России. Активный участник подготовки крестьянской реформы 1861 г.

²⁰ *Мюльгаузен* Федор Богданович (1820—1878) — профессор университета.

²¹ *Бодянский* Осип Максимович (1808—1877) — крупный славист и археограф, профессор университета с 1849 по 1868 г.

²² *Августин Блаженный* (354—430) — крупный христианский теолог.

²³ *Морошкин* Федор Лукич (1804—1854) — с 1833 г. профессор университета, специалист по гражданскому праву.

²⁴ *Баршев* Сергей Иванович (1808—1882) — в 1837—1876 гг. профессор уголовного права.

²⁵ *Блудов* Дмитрий Николаевич (1785—1864) — государственный деятель и дипломат.

²⁶ *Кошут* Лайош (1802—1894) — борец за независимость Венгрии, руководитель революции 1848—1849 гг.

²⁷ *Малов* Михаил Яковлевич (1790—1849) — профессор права Московского университета. Об известной «маловской» истории подробно рассказал А. И. Герцен в «Былом и думах».

²⁸ *Рулье* Карл Францевич (1814—1858) — профессор биологии университета, сторонник эволюционизма.

²⁹ *Линовский* Ярослав Альбертович (1818—1846) — талантливый ботаник, зоолог и агроном, профессор университета с 1844 г.

³⁰ *Кудрявцев* Петр Николаевич (1816—1885) — историк и литератор, один из друзей Т. Н. Грановского.

³¹ *Леонтьев* Павел Михайлович (1822—1874) — профессор университета, специалист по «римским древностям».

³² *Давыдов* Иван Иванович (1794—1863) — профессор латинской словесности и философии.

³³ *Клеванов* Александр Семенович (1826—1883) — историк-славист и переводчик.

³⁴ Речь идет об издании полного перевода книги английского дипломата Джила Флетчера «О государстве русском». Перевод появился в 1848 г. в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских при Московском университете», но был изъят цензурой и запрещен вплоть до 1905 г. В связи с публикацией сочинения Флет-

чера Бодянский был уволен из Московского университета (в 1848—1849 гг.).

³⁵ *Андреевна* Елена Ивановна (1819—1857) — балерина, первая русская исполнительница заглавной партии в балете «Жизель». В 1843, а также в сезонах 1844/45 и 1848/49 гг. гастролировала в Москве.

³⁶ *Санковская* Екатерина Александровна (1816—1878) — балерина, «душа московского балета», как ее называли современники. Среди ее восторженных почитателей были Белинский, Герцен, Фет, Салтыков-Шедрин и другие. Особенно популярна была среди демократического московского студенчества.

М. С. Щепкин и его записки

Впервые: Библиотека для чтения, 1864, январь — февраль, с. 1—16. Печатается по изд.: Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество в 2-х т., т. 2. Современники о М. С. Щепкине. Из дневников и переписки. Воспоминания. М., 1984, с. 312—322.

¹ *Ростопчина* Евдокия Петровна (1811—1858) — русская писательница. Автор повестей, комедий и стихотворений. Ее литературно-художественный салон в Москве посещали известные писатели, музыканты, художники.

² *Рашель* (наст. фамилия и имя — Феликс Элиза Рашель), (1828—1858) — великая французская трагическая актриса. В 1853—1854 гг. гастролировала в России. Ее сценический талант высоко ценил Щепкин.

³ *«Скупой»* — пьеса Ж.-Б. Мольера.

⁴ *«Сорока-воровка»* — повесть А. И. Герцена.

⁵ *Соллогуб* Владимир Александрович (1813—1882) — русский писатель, автор знаменитого «Тарантаса». В рассказе «Собачка» (1845 г.) был наиболее близок «натуральной школе».

⁶ *Хлобуев* и *Кошкирев* — персонажи из второго тома поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

⁷ *Нащокин* Павел Воннович (1801—1854) — один из ближайших друзей А. С. Пушкина.

⁸ *Кокошкин* Федор Федорович (1773—1838) — драматург и переводчик, директор московского театра (1823—1831 гг.); *Шаховской* Александр Александрович, князь (1777—1846) — драматург и режиссер; *Аксаков* Сергей Тимофеевич (1791—1859) — русский писатель, автор «Семейной хроники». Занимался и театральной критикой (в 20—30-х гг.).

⁹ *Сосницкий* Иван Иванович (1794—1871) — выдающийся рус-

ский актер; *Соленик* Карп Трофимович (1811—1851) — украинский актер.

¹⁰ *Толстой* Федор Иванович, граф (1782—1846) — участник Отечественной войны 1812 г., авантюрист, карточный игрок и бретер. Во время путешествия с И. Ф. Крузенштерном был высажен на Алеутских островах (отсюда и его прозвище — «Толстой-Американец»). Друг П. А. Вяземского, Д. В. Давыдова, знакомый А. С. Пушкина. Послужил прототипом для героев многих литературных произведений XIX в.

¹¹ *Жихарев* Степан Петрович (1788—1860) — русский литератор, переводчик и театрал. Член литературного общества «Арзамас», где он познакомился с А. С. Пушкиным. Автор мемуаров «Записки современника», первая часть которых называется «Дневник студента».

ПИСЬМА

Переписка Афанасьева сохранилась лишь частично. Первый биограф ученого А. Е. Грузинский воспроизвел в биографическом очерке, посвященном Афанасьеву (*Грузинский А. Е. А. Н. Афанасьев (Биографический очерк)*. — В кн.: *Афанасьев А. Н. Русские народные сказки*, т. I. М., 1897), выборочные тексты писем, адресованных Афанасьеву. Что же касается писем самого Афанасьева, то они стали появляться на страницах научных изданий лишь сравнительно недавно. Это относится к публикации писем Афанасьева к П. П. Пекарскому, М. Ф. де-Пуле (см.: *Из истории русской фольклористики*. Л., 1978) Г. Н. Геннади (см.: *Порудоминский В. И. Я полюбил Пушкина еще больше...* — В кн.: *Прометей*, т. 10. М., 1974) и ряда других.

Предлагаемая в настоящем издании подборка писем Афанасьева публикуется впервые и отражает практически все этапы научной деятельности ученого. Тексты писем хранятся в различных фондах Центрального государственного архива литературы и искусства (ЦГАЛИ СССР).

И. И. Срезневскому

ЦГАЛИ СССР, ф. 436, оп. 1, ед. хр. 1160 (фонд И. И., В. И. и О. И. Срезневских).

Срезневский Измаил Иванович (1812—1880) — крупнейший русский славист, автор фундаментальных исследований в области славянских древностей и лингвистики. Первый в истории России доктор славяно-русской филологии.

№ 1

¹ С 1852 по 1863 г. Срезневский редактировал «Известия Академии наук по Отделению русского языка и словесности» (вышло 10 томов); вокруг этого издания группировались лучшие научные силы отечественной славистики.

² К сожалению, из текста письма не ясно, кому принадлежат эти записи песен — самому Афанасьеву или кому-либо из его корреспондентов. Судя по географии записей (Москва и Воронежская губ.), авторство Афанасьева вполне возможно.

№ 2

¹ Неосуществившийся замысел Афанасьева.

² Статья Афанасьева «Несколько слов о соотношении языка с народными поверьями» была опубликована в «Известиях Академии наук по Отделению русского языка и словесности» за 1853 г.

№ 3

¹ Таким образом, первоначальное название этой статьи было иным.

№ 4

¹ Речь идет о материалах для словаря древнерусского языка, которые Срезневский собирал в течение многих лет. Им была собрана и систематизирована огромная картотека лексикографических материалов, куда помимо собственных выписок Срезневского включались словари к древним памятникам, составленные его многочисленными учениками (например, словарь к Ипатьевской летописи был составлен Н. Г. Чернышевским). Видимо, с предложением участвовать в составлении картотеки Срезневский обратился и к Афанасьеву. Монументальный трехтомный лексикографический труд «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» (Спб., 1893—1912) вышел в свет уже после смерти И. И. Срезневского.

² Следовательно, до февраля 1854 г. Афанасьеву все еще не удалось получить из Русского географического общества тексты сказок, хотя до выхода 1-го выпуска «Народных русских сказок» оставался всего лишь год.

№ 5

¹ Важное свидетельство о собственных записях сказок Афанасьевым.

² Видимо, одновременно с работой над выпусками сказок велась работа над сборником «Народные русские легенды».

³ Таким образом, первый выпуск сказок стал печататься в конце августа 1855 г.

№ 6

¹ Письмо устанавливает точную дату выхода первого выпуска «Народных русских сказок» — 26 октября 1855 г.

№ 7

¹ О своем желании послать собственные списки сказок Срезневский сообщал Афанасьеву в письме, опубликованном Грузинским (см.: Грузинский А. Е. Указ. соч., с. XL). Следовательно, среди опубликованных Афанасьевым текстов были и сказки, присланные Срезневским.

² В указанном выше письме Срезневский советовал Афанасьеву выпустить сборник сказок для детей. Письмо от 18 ноября 1855 г. является ответом на послание Срезневского и объясняет причину, по которой Афанасьев воздерживался от публикации сборника для детей.

³ Речь идет об оттиске из «Ученых записок, издаваемых вторым отделением Академии наук» под названием «Повесть о Цареграде. Чтение академика И. И. Срезневского». Спб., 1855, который был прислан Афанасьеву в благодарность за первый выпуск сказок. Становится ясным подтекст красочного пожелания, которое содержалось в известном письме Срезневского: «В это широкое море пустились Вы в добрый час и в доброй ладье, запасшись, как для Цареграда, и снастями и брашном, и верно вывезете из-за него не одну дорогую багряницу. Дай бог Вам всего хорошего на всем Вашем пути» (Грузинский А. Е. Указ. соч., с. XXXIX).

№ 8

¹ И. В. Базунов — владелец книжных магазинов в Москве и Петербурге.

А. Н. Пыпину

ЦГАЛИ СССР, ф 395, оп. 1, ед. хр. 257 (фонд Пыпина Александра Николаевича).

Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) — лигатуровед, этнограф, фольклорист и археограф, автор более 1200 работ

по различным областям науки. Двоюродный брат Н. Г. Чернышевского.

В 1858 г. Афанасьев прилагает всевозможные усилия, чтобы привлечь к изданию «Библиографических записок» наиболее талантливых ученых. Именно поэтому в его переписке за этот период постоянно поднимается вопрос о сотрудничестве в новом журнале.

¹ Речь идет о статье Пыпина «Староверческий стих об Андрее Денисове», напечатанной во втором номере «Библиографических записок» за 1852 г. под рубрикой «Заметки о рукописной литературе простого народа». В этой же рубрике была помещена статья Афанасьева «Адская газета».

² В д. *Давыдково*, расположенной на западе от Москвы на левом берегу р. Сетуни, в 40-х гг. жил на даче Т. Н. Грановский, где, возможно, и состоялась первая встреча Афанасьева с Пыпиным. Ныне Давыдково находится в черте Москвы.

³ Имеются в виду рецензии Пыпина на выпуски сборника сказок, напечатанные в «Отечественных записках» (1855, № 12; 1856, № 2, 4); в них Пыпин предлагал печатать «типические тексты», созданные на основе сведения воедино «несовершенных» текстов.

⁴ *Краевский* Андрей Александрович (1810—1889) — журналист, издатель «Отечественных записок».

⁵ *Полторацкий* Сергей Дмитриевич (1803—1884) — известный библиограф и библиофил, много сделавший для популяризации русской литературы за рубежом. Собрал почти полную коллекцию русских периодических изданий XVIII в. Значительная часть огромной библиотеки Полторацкого находится ныне в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина в Москве и Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

А. А. Хованскому

ЦГАЛИ СССР, ф. 538, оп. 1, ед. хр. 12 (фонд Хованского Алексея Андреевича).

Хованский Алексей Андреевич (1814—1899) — писатель, издатель и редактор «Филологических записок» и «Воронежского телеграфа».

№ 1

¹ *Котляревский* Александр Александрович (1837—1881) — филолог и историк широкого профиля, член-корреспондент Академии наук. Автор более 100 научных работ по различным отраслям зна-

ний — этнографии, археологии, фольклористике, лингвистике. В 1862 г. был арестован по подозрению в антиправительственной деятельности (по тому же делу, что и Афанасьев) и подвергнут годовому тюремному заключению.

² «Филологические записки» — авторитетный научный журнал, выпускавшийся с 1860 г. шесть раз в год в г. Воронеже Хованским Единственным из русских провинциальных журналов, посвященный филологическим наукам. Просуществовал до 1917 г. Среди его постоянных авторов помимо Афанасьева были Я. К. Грот, А. А. Котляревский, И. А. Бодуэн де Куртене, Ф. И. Буслаев и многие другие. В письме речь идет о статье «Сказка и миф» (Филологические записки, 1864, вып. I—II), первой работе Афанасьева в журнале Хованского.

³ Оттиски вышли в г. Воронеже в типографии В. Гольдштейна под заголовком «Сказка и миф. Статья А. Н. Афанасьева».

⁴ Статья «Народные поэтические представления радуги» появилась в 1-м выпуске «Филологических записок» за 1865 г. За период 1864—1865 гг. две статьи из четырех, посвященных проблемам сравнительной мифологии, были напечатаны в воронежских «Филологических записках».

№ 2

¹ После увольнения со службы в связи со стесненным материальным положением Афанасьев был вынужден в последние годы жизни менять квартиры.

² В № 3—5 «Филологических записок» за 1868 г. была напечатана статья Афанасьева «Болезни по славянским преданиям».

³ После увольнения из архива Министерства иностранных дел Афанасьев с большим трудом поступил на службу. Работа секретарем в городской думе, а затем в мировом съезде отнимала почти все время, и упоминание о нехватке времени часто встречается в его письмах этого периода.

Н. Л. Тиблену

ЦГАЛИ СССР ф. 395, оп. 1, ед. хр. 761 (фонд Пылина Александра Николаевича).

Тиблен Николай Львович (1825 — г. смерти неизвестен) — петербургский издатель и типограф. Издания его носили демократический характер (в частности, издательство Тиблена выпустило сочинения Г. Т. Бокля, Ф. Гизо, Г. Спенсера, Ж.-Ж. Руссо, первое полное издание «Горе от ума» А. С. Грибоедова и ряд других). В результате

постоянных судебных и цензурных преследований издатель разорился и в 1868 г. был вынужден эмигрировать.

¹ Речь идет о ежемесячном литературном, научном и политическом журнале «Современное обозрение», издававшемся Н. Л. Тибленом с января по июнь 1868 г. (до эмиграции издателя). Среди участников журнала были П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский, А. К. Шеллер-Михайлов и другие.

² По всей видимости, имеется в виду стихотворение А. В. Кольцова «Русская песня» (с посвящением В. П. Боткину) с резким антимонархическим содержанием. Цензура не пропускала текст, где главный герой —

«Царь-ханжа летит, как вихорь,
С саранчою удалыцов,
Москву-матушку пилатить —
Кушать мясо и пить кровь».

(Кольцов А. В. Стихотворения. Воронеж, 1969, с. 193—194).

³ *Кетчер* Николай Христофорович (1809—1886) — писатель, переводчик, врач, один из представителей русского «западничества». Вместе с А. Д. Галаховым им было подготовлено первое полное собрание сочинений В. Г. Белинского (1859—1862 гг.). Кетчер намеревался издать собрание сочинений А. В. Кольцова.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Л. Налепин. Археолог славянских древностей . . . 3

СТАТЬИ

Дополнения и прибавления к собранию «Русских народных пословиц и притчей», изданному И. Снегиревым	27
Дедушка домовый	33
Об археологическом значении «Домостроя»	48
Религиозно-языческое значение избы славянина	63
Два слова о журнальной сатире прошлого века	76
Об исторической верности в романах И. И. Лажечникова	81
Адская газета	94
Литературные труды княгини Е. Р. Дашковой	97
Предисловие ко второму изданию «Народных русских сказок»	120
Предисловие к примечаниям II выпуска первого издания «Народных русских сказок»	123
Предисловие к IV выпуску первого издания «Народных русских сказок»	129
Предисловие к сборнику «Народные русские легенды»	130
О переводе сказок Гриммов	136
Рецензия на сборник Е. А. Чудинского «Русские народные сказки, прибаутки и побасенки». М., 1864	141
Сказка и миф	142
Наузы. Пример влияния языка на образование народных верований и обрядов	196
Происхождение мифа, метод и средства его изучения	219

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

До гимназии и в гимназии	259
Московский университет (1844—1848 гг.)	287
М. С. Щепкин и его записки	319

ПИСЬМА

И. И. Срезневскому	333
А. Н. Пыпину	337
А. А. Хованскому	337
Н. Л. Тиблену	339
Примечания	340

Александр Николаевич Афанасьев

НАРОД-ХУДОЖНИК

Редактор Е. Г. Кожедуб
Художественный редактор Г. В. Шотина
Технические редакторы Г. П. Мартянова, Л. А. Фирсова
Корректор М. Е. Козлова

ИБ № 4591

Сдано в набор 26.12.85. Подписано в печать 21.05.86. А02336. Формат 84×108/32. Бумага типогр. № 1 (на вкл. мелов.). Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 19,43 (в т. ч. вкл. 0,11). Усл. кр.-отт. 19,43. Уч.-изд. л. 20,87 (в т. ч. вкл. 0,05). Тираж 25 000 Заказ 1001.
Цена 1 р. 10 к. Изд. инд. ЛХ-76.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

